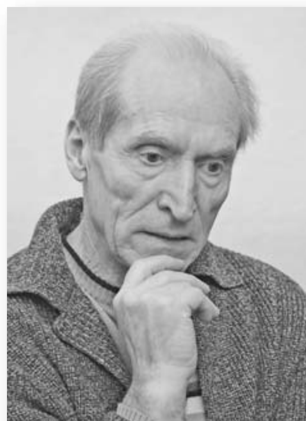


ОЛЕГ ЖДАН

Государыня и епископ

Роман

Екатерина Великая и Георгий Конисский, обер-комендант Родионов и предводитель дворянства Ждан-Пушкин, городничий Радкевич и капитан-исправник Волк-Леванович и многие иные, не менее замечательные люди, встретившиеся в г. Мстиславле 17 января 1787 года.

Нарочный от губернатора. Ордер из Сената Империи

В полдень 10 июня 1786 года в город Мстиславль из Могилева явился нарочный от губернатора Николая Богдановича Энгельгарда. Прибыл на тройке почтовых и со станции тотчас направился в Благочинное уездное управление. Вручив обер-коменданту господину Родионову пакет со шнурами и сургучными печатями, он тотчас возвратился на почтовую станцию, потребовал сменить лошадей и отправился в город Кричев, где все повторилось: почтовая станция, Благочинное управление, обер-комендант, пакет. Можно предположить, что после этого нарочный снова направился на почтовую станцию и потребовал лошадей, чтобы отправиться дальше или в обратный путь, а может быть, пошагал в уездный гостиный двор, чтобы, наконец, отдохнуть и уже утром продолжить путь. Как бы то ни было, следы его здесь теряются и даже имя не сохранилось в истории, хотя весть он привез и в Мстиславль, и в Кричев важности чрезвычайной. По крайней мере, Мстиславский обер-комендант, господин Родионов, сняв шнуры и прочитав ордер, вскочил со стула, словно в двери возникло большое начальство, и стоя перечитал текст ордера еще раз, а может, и два. Затем взволнованно зашагал по комнате, отхлебнул уже слегка подкисшего березового кваса из кувшина и, немного успокоившись, позвонил в колокольчик, вызывая слугу-скорохода.

— Всех! — приказал он.

Скороход, крепкий молодой парень, с готовностью кивнул.

— Понял, ваше благородие! — гаркнул с удовольствием, как на плацу: редко обер-комендант поручал какое-либо важное задание.

Всех — означало сбор в управе благочиния главных людей города: городничего, предводителя дворянства, капитана-исправника, уездного казначея, председателей нижней и верхней расправы, градского лекаря и подлекаря, уездного стряпчего, гильдейского старосты и даже обоих православных батюшек и обоих — кармелитов и иезуитов — ксендзов.

А еще *всех* без указания времени означало немедленно, или как можно скорее.

И через час-полтора самые заметные люди города и уезда собрались в управе, не явились лишь лекарь и подлекарь — ходили по мещанским вызовам, — ну, они и не слишком были нужны.

У всех на лицах была тревога и некоторая ирония: что там могло случиться? Пожар? Потоп? Однако обер-комендант пока ни словом не обмолвился о причине, ждал, когда соберутся все. Собрание в управе благочиния — совсем не то, что сеймики, которые управляли городом и уездом в королевстве Польском, обер-комендант был строг, от него можно было ожидать и пакостей, посему все сочли за благо подчиняться. Единственная вольность, которую позволяли себе, это перемещаться от группы к группе, вполголоса переговариваясь о каждодневных делах. За пятнадцать лет, прошедших после присоединения к России, все привыкли к новым порядкам, а кто не привык — помалкивал, поскольку обратного движения не предвиделось. Да и зачем? Дворянские вольности императрица подтвердила, ни католическое, ни униатское исповедания не ущемляла — большего пока и желать было нельзя. Хотя, конечно, некоторое предпочтение православию отдавала — сама была православная. Большинство собравшихся толпились у широкого окна, поскольку очень уж хороший вид открывался из него — на городской сад, так сказать, в регулярном стиле, который обер-комендант устроил по образцу Могилевского, а Могилевский был устроен губернатором Энгельгардом, как говорили, по образцу некоего Петербургского, — но, разумеется, каждый по средствам, то есть скромнее.

— Прошу, господа, — произнес, наконец, обер-комендант, кивнув на середину комнаты, и все тотчас расселись — кто к столу, кто у стены.

Все сели, но Родионов продолжал стоять. Взял некую бумагу со стола, и глаза его потеплели, словно он испытывал удовольствие от предстоящей минуты. Вот это-то и заинтересовало присутствующих больше всего, поскольку удовольствие — это такое чувство, которое хочется тотчас позаимствовать.

— С нарочным от Николая Богдановича Энгельгарда, — произнес обер-комендант и, показав лист, писанный крупным превосходным почерком, сделал паузу, предоставляя догадываться о его содержании.

Ордер от губернатора заинтересовал еще больше: могло быть в нем и сообщение о начале очередной войны и, следовательно, требование людей, денег, но могло быть и что-то вроде Устава благочиния или Жалованной грамоты императрицы.

— Матушка наша, императрица Екатерина Алексеевна, в следующем году проедет через Мстиславль в Тавриду…

Что угодно и кого угодно могли ожидать люди в этом городе, только не императрицу, потому и не сразу отозвались на сообщение. Какие-то неясные слухи после присоединения Крыма ходили о ее предстоящем путешествии, но если и в самом деле шла подготовка к поездке государыни, то почему через Мстиславль?

А с другой стороны, почему бы и нет? Чем наш город хуже других, через которые ей предстоит проехать? Чем мы хуже? Увидеть императрицу — большое счастье. В истории же города такое событие останется на века. Это будет событие, равное посещению города Петром Великим, когда он перед битвой со шведами у села Доброго молился в Тупичевском монастыре. Все обрадовались, улыбались, еще минута и обнялись бы, но тут обер-комендант сказал:

— И еще ордер, из Сената Империи…

И зачитал. К приезду императрицы должно было построить почивальный дворец, просторное здание для общей трапезы с поварней и хлебней, поскольку свита будет значительная, должно продумать, где и как разместить на ночь важных гостей: примерно тридцать — а может, и больше — персон ближайшего окружения и примерно двести — сопровождения. Должно выко-

пать колодец вблизи дворца, устроить дороги без ям и рытвин — на десять верст в сторону Хославичей и примерно столько же в сторону Кричева, до деревни Лобковичи, приготовить костры через каждые тридцать метров, на случай, если кортеж будет двигаться ночью, и, конечно, убрать те избы вдоль дороги, которые *наводят зрению неприятное безобразие*. Прилагался и чертеж-рисунок, по которому следовало строить двухэтажный дворец. Было и особое указание: приготовить для смены пятьсот пятьдесят лошадей. Причем, разумеется, не о крестьянских клячах шла речь, а о сытых, укормленных красавцах.

Да-а, подумали все, Петр Великий ничего такого к своему приезду не требовал. Неизвестно даже, где ночевал, где обедал. Промчался по городу на длинных ногах, так что свита языки высунула, и даже молился в Тупичевском монастыре торопливо, словно озабоченный чем-то иным. И в самом деле, было чем озаботиться: сражение предстояло не потешное...

— Обдумаем, господа, как нам лучше и успешнее приказ сей исполнить, — произнес обер-комендант, и голос его прозвучал вдохновенно и строго. — Встретимся завтра в девять утра.

— В девять у меня совестной суд, — подал голос городничий Радкевич. — Давайте после обеда.

— В девять, — тихо повторил обер-комендант, и это говорило о том, что обсуждения не будет.

Все недовольно поерзали на своих сиденьях: в самом деле, когда еще поедет императрица… А после обеда было бы в самый раз.

Разошлись дружнее, нежели собирались, и все были в хорошем настроении: понесли родным и знакомым интересную весть. Задержался у обер-коменданта только предводитель уездного дворянства Ждан-Пушкин. Именно он вместе с православными священниками и ксендзами составлял записку академику Габлицу о городе и окрестностях и получил благодарственное письмо от него. А задержался потому, что считал себя вторым, если не первым, лицом в городе и уезде и должен был все конфиденциально с обер-комендантом обсудить.

— Что скажете, господин Ждан? — спросил обер-комендант, когда все ушли. Таким сокращенным вариантом шляхетской фамилии он обращался к нему, если был чем-то недоволен, а недоволен был тем, что торопился домой, рассказать о событии супруге, а предводитель большой любитель поговорить. Впрочем, иногда по такой же причине обращался «господин Пушкин».

— Великая честь для нас, полковник!

Ждан-Пушкин в свою очередь, если недоволен, называл Родионова «господин комендант», а «полковник» — это уже предложение дружбы.

Родионов кивнул, но посмотрел с подозрением: и это все? Впрочем, он знал, что предводитель никогда сразу не говорит главного. Помолчит, подумает — хитрован еще тот, — оценит выгоды и опасность, тогда скажет. Так и теперь:

— Однако нелегко придется. Охо-хо!

А вообще ничего особо удивительного не было: императрица много раз путешествовала по России.

Родионов снова взял со стола ордер.

— Три тысячи выделит Комиссия экономии на встречу.

— Интересно, — невразумительно отозвался предводитель: не мог сразу сообразить, много это или мало.

— Дворец будет стоить больше. А трапезная? А дороги? Колодец? Вода у нас глубоко, тридцать аршин надо копать.

— Если не больше.

— Еще будет забота — обед, — сказал обер-комендант.

— Обед? — И тут дипломатическое выражение на лице предводителя наконец сменилось подобием некоей мысли: — Моя Марфочка так приготовит — Екатерина Алексеевна пальчики оближет.

Возможно, это было так, Ждан-Пушкин, известный любитель вкусно поесть и выпить, постоянно подыскивал, выбирал и менял поварих, как правило, молодых и хорошеньких, но Родионов лишь рукой взмахнул:

— Вы понимаете, что говорите, Петр Алексеевич? Свита будет за двести человек, а вы — Марфочка… Выписывать из Могилева будем поваров с поварятами!.. Кроме того, — продолжал он, — где взять посуду для государыни? Это ведь не соседей принимать. Слышно было, у Радкевича хорошая посуда.

— У городничего? Видел его посуду! Песком не ототрешь! Срам!

Конечно, измышление. Посуда у Радкевича была как раз новая — привез из Могилева к свадьбе дочери, просто городничий и предводитель недолюбливали друг друга. Посуда неплохая, но ведь не императрице же в ней подавать! В самом деле, где взять? Да и не только об императрице речь. Огромная свита будет с ней!

Впрочем, до Судного дня еще далеко.

На стене у Родионова висела доска с заповедями Устава благочиния:

Не чини ближнему, чего сам терпеть не можешь.

Не токмо ближнему не твори лиха, но твори ему добро, колико можешь.

Буде кто ближнему сотворил обиду личную, или в имении, или в добром звании, да удовлетворит по возможности.

Что-то в этих заповедях смешило предводителя дворянства. И всякий раз, если хотел слегка досадить обер-коменданту, он останавливался перед доской, как бы внимательно вчитываясь, и, наконец, громко, с чувством прочитывал:

В добром помогите друг другу, веди слепого, дай кровлю не имеющему, напой жаждущего!

Сжалься над утопающим, протяни руку помощи падающему!

— О, именно так: сжалься! — возглашал. — Протяни!

Блажен кто и скот милует, буде скотина и злодея твоего спотыкнется, подыми ее.

С пути сошедшему указывай путь!

Одобрительно кивал головой, значительно поднимал палец. Очень раздражало все это обер-коменданта.

Расставшись с предводителем, Андрей Егорович Родионов направился домой сообщить о послании губернатора супруге: такое событие неким образом повышало его авторитет в ее глазах. И то, что несет нечто важное, она, заметив его в окно, поняла по выражению лица, а главное, по походке: сильно выбрасывал вперед раненую на турецкой войне ногу.

— Новость! — произнес он громко, словно желая, чтобы услышали в доме сразу все. — Императрица наша, Екатерина Алексеевна, едет в Таврию и остановится в Мстиславле!

Впечатление от сообщения оказалось именно таким, на которое рассчитывал: в глазах супруги замерли и вопрос, и удивление, и неопределенная радость.

— Екатерина Алексеевна? — только и смогла она произнести.

— Да, государыня императрица!

Дочь и сын тоже вышли навстречу, и в их глазах он увидел вопрос: хорошо ли это? И то, что походя приласкал каждого, явилось ответом: хорошо.

Была еще одна разгадка воодушевления Родионова, и Теодора Францевна ее понимала: такое событие могло повлиять на службу супруга. Он любил Мстиславль, но с радостью отправился бы снова в Могилев, где жил до нынешнего назначения.

Прощаясь с ним, Энгельгард дал понять, что если служба в Мстиславле окажется успешной, карьера его продолжится. Но что считать успешностью?

Конечно, первейшее и самое трудное — преуспеть в сборе податей и недоимок. Второе — обеспечить законопослушание и порядок в уезде. И, разумеется, следование всем параграфам Устава Благочиния.

В первый же год он приказал выкопать три новых колодца, устроить на Вихре плотомойни, дабы облегчить женщинам стирку, обязал горшечников и стеклодувов, а также дужников, тележников, ставить клейма, купцам, торговавшим тканями, приказал отмерять ткань только казенным аршином с печатями на железных наконечниках... Особым распоряжением напомнил о трехлетнем сроке обучения для подмастерьев и устроении испытаний для них, а еще ввел правило играть на Замковой горе в трубы и бить в барабаны зорю, обвещая утро и вечер, напоминая людям о порядке и власти. Да и много иных незаметных, но важных для города дел.

— Представляю, сколько будет у тебя забот, — сказала Теодора и обняла его.

Собственно, ради этих слов и короткого объятия Родионов и спешил домой. Супруга его была умна, красива, а главное, молода, и мнением ее он дорожил.

Родионов познакомился с ней на балу у губернатора Энгельгарда, который тот давал в честь победы российских войск и пригласил всех офицеров, принимавших участие в военных действиях. Сделал предложение — как в омут бросился, и когда она произнесла — да, не поверил: «Если это правда, я погиб, — сказал он, — если неправда, тоже». Он еще не знал, что способствовал ему сам Николай Богданович, боевой офицер, участник Семилетней войны, тоже вышедший когда-то в отставку полковником.

Городничий Радкевич и капитан-исправник Волк-Леванович вышли из Благочинного управления одновременно и вместе отправились по городскому саду, по песочным дорожкам, между цветущих клумб, которых было, быть может, слишком много, мимо зацветающих лип, которых тоже насадили здесь слишком густо, желая вместить всю возможную и доступную городу красоту. Оба шли молча, наверно, потому, что им было о чем подумать.

— Как тебе это нравится? — спросил Волк-Леванович по-польски.

— Так же, как тебе, — тоже по-польски отозвался Радкевич.

Были темы, обсуждать которые они предпочитали на польском, то есть государственном в недалеком прошлом языке.

— Родионов просто счастлив, — заметил Волк-Леванович.

— Еще бы, — отозвался Радкевич.

— Русский, — сказал Волк-Леванович.

— Православный, — уточнил Радкевич.

Они прошли мимо Свято-Троицкой церкви, построенной уже после присоединения, мимо иезуитского коллегиума и остановились перед костелом кармелитов.

— Какой он православный! — воскликнул Волк-Леванович. — В церкви бывает только на Пасху.

Это было несправедливо, Родионов каждое воскресенье посещал Богоявленский храм, немало жертвовал на его нужды, но Радкевич с удовольствием согласился.

— Это верно, — сказал он. — Супруга его Теодора посещает чаще. Зря она перешла в православие.

— Ясно, зря.

Когда-то оба они верой и правдой служили Речи Посполитой, но переменилась жизнь, приходится служить России. Что делать? Сила солому ломит, — говорят русские. Так же говорят и поляки. Служили, однако, не хуже православных русских. Но что уж так радоваться приезду императрицы? Что изменится? Жили на краю Речи Посполитой, теперь на краю России. Есть свой образ жизни у здешних людей, ему они и следуют из поколения в поколение, а власть — одна ли, другая — помочь не может, она способна лишь усложнить жизнь. К примеру, все бумаги писали по-польски, теперь пишем по-русски. Сложность не сложность, а кровь портит еще как. Три писаря сразу ушли из Благочинного управления, троих пришлось отправлять учиться русскому письму в Смоленск. А как повалил народ из униатства в православие, особенно в первые годы после присоединения? Слава Богу, католичества это не коснулось, кто верил Святому Престолу, тот верит. Вот и они, их семьи, родители и дети, что бы ни случилось, будут верны своей церкви.

Не сговариваясь, вошли в храм, заняли привычные места, Радкевич слева от царских врат, Волк-Леванович справа. Ксендз сразу заметил их, оживился, кивнул. Они были дружны и после мессы часто встречались, чтобы обменяться словами и слухами. Служба была рядовая, верующих мало. Волк-Левановичу хотелось продолжить разговор с городничим и он раз за разом поглядывал на него, но Радкевич, похоже, погрузился в молитву или в какие-то мысли, которым очень способствовал и голос ксендза, и мягкий свет, падавший на лица верующих. Он вышел и направился проверить посты городовых, затем на съезжий двор. Городовые были каждый на своем месте, а на съезжем дворе только что выпороли известного городского пьяницу Хомку. Порол его экзекутор Прушинец, да, видно, слабо порол, пожалел дурака. По крайней мере, Хомка стоял у топчана, подтягивая штаны, и виновато улыбался. Хомке совестной суд за кражу четверти вина у Семена Баруха присудил двадцать розог, и если бы Прушинец постарался, было бы Хомке не до улыбок.

Хотелось поговорить с обер-комендантом, обсудить предстоящее событие, выяснить, какие изменения внесет оно в полицейскую жизнь.

Впрочем, особых изменений в его жизни не вызвало даже вступление российских войск в Варшаву. Следить за порядком в городе он должен при любой власти. Было у него трое городовых и два писаря — они заботились, чтобы приезжие тотчас объявлялись в полицейской канцелярии, чтобы отъезжающие сообщали время отъезда, чтобы хозяева сообщали о вновь принятых на работу и требовали надежных порук, чтобы домовладельцы регистрировали гостей даже на одну ночь. Ну а если требовалось выпороть кого-либо за нарушение порядка, было в городе несколько мужиков, которые являлись по первому зову и за малую плату охотно выполняли такую работу.

Он заглянул в канцелярию — оба писаря тотчас оторвались от своих бумаг. Судя по любопытным глазам, слух о приезде императрицы проник уже и сюда. Однако Волк-Леванович ничего не сказал им.

Радкевич в это время вышел из костела, огляделся и, не увидев капитан-исправника, вздохнул с облегчением. Не в том было дело, что, когда Волк-Леванович уходил из костела, он, Радкевич, слишком углубился в молитву, а в том, что чувствовал опасность, и опасность эта исходила от него, старого

друга. Давно знал, что Волк-Леванович не примирился с разделом Польши и очень надеется, что вот-вот все вернется, снова возникнут в мире и Речь Посполитая, и Великое Княжество Литовское. Но Радкевич в такой поворот не верил. Матка Боска, какой поворот, если сам Станислав Понятовский, король, после отречения преспокойно живет в Петербурге, танцует на придворных балах с императрицей и больше не помышляет о королевской мантии. Ну, если не танцует — все ж таки пятьдесят пять лет, то играет в карты, пьет французское вино, посещает императорский театр и оперу — мало ли у них, вельмож, способов приятно проводить время? Опасность Радкевич видел в том, что Волк-Леванович не слишком скрывал свои взгляды, а правильнее — болтал почем зря, славя покойную Речь Посполитую и Великое Княжество. При Родионове, правда, помалкивал, но, как говорят немцы, то, что знают двое, знает и свинья, и Волк-Леванович вполне может поплатиться должностью. А он, Радкевич, с ним заодно, как друг и союзник. В конце концов, Волк-Леванович не прав: уж если они служат империи, то что говорить о прошлом? Оба они из мелкой шляхты и жить без жалованья было бы грустно. В общем, до приезда императрицы лучше всего прекратить эти разговоры и как можно старательнее исполнять свою городскую службу.

Немца надобно.
Моше Гурвич и Ривка

Первоочередными делами были — дворец и мост. Обычно два моста соединяли город с Россией: один в стороне Пустынского монастыря и Монастырщины, другой в нескольких верстах ниже по течению Вихры в сторону Хославичей. Однако больше трех-четырех лет мосты не выдерживали: разбивал и сносил их весенний ледоход. Так и теперь город остался без обоих мостов, переправлялись при большой надобности на пароме из бревен и досок, натянув пеньковый канат меж берегами, или на лодках. Три года назад строил эти мосты могилевский немец Иоганн Фонберг с сыном Юргеном, и уже тогда требовал денег на ледорезы, но — поскупился город, и мосты снесло, один через два года, второй — через три. Теперь следовало построить хотя бы один, но — где, в Пустынской стороне или Хославичской? С какой стороны будет ехать императрица?

Еще вопрос: где строить дворец? Ходили по городу втроем: Родионов, Волк-Леванович, Ждан-Пушкин, приглядывались к окрестностям, словно впервые видели. И здесь нехорошо, и там плохо. На выезде к Кричеву — хорошее место, тихое, но здесь еврейская улица с синагогой, и хотя строить и содержать синагоги императрица не запрещает, не известно, как относится к самим иудеям. Хорошее место на Замковой горе, вид оттуда редкостный — на реку Вихру, на леса за нею, но крута дорога, подъемного моста давно нет, трудно будет лес доставлять, трудно и подниматься кортежу императрицы. В конце концов решили пожертвовать городской красотой, построить в саду, рядом с управой благочиния, на одинаковом примерно расстоянии от православной церкви, кармелитского и иезуитского костелов. Здесь же и дом-трапезную с пристройкой-кухней и хлебней. Ледники для хранения продуктов были у многих, надо лишь только зимой нарубить побольше льда на Вихре.

Работы начались немедленно. Крепостные пана Кочубы отправились в Дуброву резать строевой лес, в Святозерском лесу нашли подходящие дубы на угловые штандары; возить бревна к мосту, а затем и ко дворцу должны

мужики пана Радкевича, крепостных Тупичевского Свято-Духова монастыря послали собирать и возить песок и камни, мостить шлях.

Бревен навозили к берегу Вихры быстро, за две недели, но тут работа остановилась, поскольку ни почивальный дворец для императрицы, ни мост городские мужики-плотники не решались строить.

— Немца надо, — неуверенно говорил десятский, местный еврей Моше Гурвич, хотя три года назад работал вместе с Фонбергами и, как строят мосты, знал.

Не шла работа и на будущем почивальном дворце. Вкопали штандары под углы и словно задумались. Во-первых, вброд через Вихру бревна не повезешь, глубока и быстра река, во-вторых, и мост, и дворец — ответственное дело. Немца надобно, то есть инженера, теперь об этом говорили все. Правда, называли их, инженеров, здесь по старинке, *розмыслами.*

Вдруг обер-комендант Родионов решил, что все же надо строить два моста. Во-первых, хозяйственная жизнь города требует связи с деревнями с обеих сторон, во-вторых, губернатор, скорее всего, пришлет инженера и когда еще представится такой случай, в-третьих, и это главное, возможно, удастся воспользоваться средствами, которые выделит казна. Опасность была в том, что неясно, на сколько хватит отпущенных денег: как бы не застрять на полдороге. Посоветоваться и разделить ответственность он пригласил предводителя дворянства и городничего — оба поддержали его с радостью. Еще бы: у всех имеются деревни и в Хославичской, и в Пустынской стороне. Недоимок там из-за отсутствия мостов набралось наверняка на тысячу рублей.

* * *

Николай Богданович Энгельгард, губернатор Могилева, человек был крайне беспокойный. Станешь, однако, тревожиться, если речь идет об императрице, о ее приезде в вверенный ему город Мстиславль. Надежен ли мост через Вихру, по которому предстояло ехать кортежу, да и устоял ли он после бурного нынешнего ледохода, как и где поставят дворец, в котором императрица будет отдыхать? Ему тоже предстояло ехать в Мстиславль, встречать императрицу на границе со Смоленской губернией и провожать до границы Черниговской. Посему, получив от мстиславского обер-коменданта сообщение, что мосты не устояли во время ледохода, что строить их своими силами не решаются, а потому просят прислать инженера, решил отправить в город кого-нибудь из Фонбергов, могилевских немцев во втором или третьем поколении, двое из которых уже работали в Мстиславле. Старший Фонберг сообщил, что поедет его сын Юрген.

Качество дорог тоже особо волновало Энгельгарда, поскольку прежде дорогами в губернии занимался генерал-аншеф Чернышев, наместник императрицы в Белоруссии, и, уходя в отставку, конечно же, доложил императрице, что во вновь приобретенных землях повсеместно наведен порядок, — так что и Энгельгарду нынче не хотелось уронить себя. Он лично приказал Юргену Фонбергу ровнять и спрямлять пятнадцать верст в сторону Смоленска, пятнадцать — к Кричеву. Слава Богу, дворец в Кричеве не придется строить, поскольку там почивать императрица будет во дворце князя Потемкина, содержится который в полном порядке и красоте.

Инженер — человек полезный, нужный, а порой просто необходимый, но в табели о рангах птица невелика; посему не на губернаторской же тройке с колокольцами ему мчаться — обойдется перекладными. Впрочем, подорожную Юргену Фонбергу составили надежную, дабы не было нигде мучительных остановок, а канцелярия, как обычно, выписала на путевые расходы — за

каждую версту требовалось уплатить 12 копеек — сто верст, соответственно, 12 рублей. Ну и, как водится, на жилье и пропитание. Обратную дорогу ему, когда придет время, оплатит местная мстиславльская Комиссия экономии, она же заплатит ему и за труды.

Юрген Фонберг человек еще совсем молодой, поездке такой даже обрадовался: не каждому человеку посчастливится оказать услугу — пусть и анонимно — самой Императрице Великой. Ну и особо доволен был тем, что пригласил на личный разговор губернатор.

Человек он был аккуратный, скорый на приготовления и собрался за несколько дней. Главный объект в Могилеве, которым они с отцом занимались в то время и который заботил весь город, от простого мужика и бабы до губернатора, была городская баня. Однако основная работа уже выполнена, оставалось устроить печи, а опыта у Фонберга-старшего поболе, нежели у кого-либо.

Иоганн Фонберг, увидев подорожную, подписанную губернатором, возгордился, долго рассматривал ее со всех сторон, читал и про себя, и вслух, приглашал и мать порадоваться за младшего сына. Отпускали они его, хотя и тревожась, но легко. Тем более что в этом городе и Иоганн, и Юрген бывали — строили мост через небольшую, но полноводную речку, и привезли благодарность от тамошнего обер-коменданта, городничего и предводителя дворянства. А вот девица Луиза Пфеффель отпустила его с сомнениями: с одной стороны, такое задание могло весьма полезно сказаться на карьере Юргена, с другой — любовь и время противоречат одно другому. Была еще одна причина, по которой Юргену хотелось побывать в Мстиславле: когда строили мост, обед Моше Гурвичу к реке приносила дочка Ривка, подросток, и если бы не испуганные глаза ее, светящиеся даже в темноте, он бы ее давно забыл. Теперь она, конечно, замужем, еврейки рано выходят, тем более такие красавицы, но увидеть ее хотелось. Вообще-то интерес Юргена был праздный: Луиза Пфеффель была его помолвленной невестой, и родители с обеих сторон уже поговаривали о свадьбе. Однако приглашение в Мстиславль оказалось настолько почетным и важным, что вместе с Пфеффелями решили отложить торжество. Итак, через неделю с тем самым сундучком, с которым когда-то ездил учиться строительному делу в Кельн, в котором он хранил приобретенные в Германии ватерпас, угольник, отвес, рейсшину, шнуры отбивать линии, карандаши, линейки и прочие мелочи, он уже катил на почтовых в Мстиславль.

Выехал ранним утром, а к вечеру, переменив лошадей в Рясне, уже въезжал в город. Спрашивать, где находится Благочинное уездное управление да кто обер-комендант, ему не требовалось, все помнил, а перемены такого рода случаются редко. Вошел, доложился в канцелярии, а уж они, канцеляристы, доложили обер-коменданту. Ну а тот, по-видимому, его так ждал, что не стал звать к себе, а вышел навстречу сам. Да еще и улыбаясь, как родственнику. Что ж, понятно, установить дистанцию и завтра не поздно, а вдохновить человека на большой труд необходимо сразу, сейчас. Однако руки не подал. Впрочем, Фонберг руки его и не ждал — доложился, получил объяснения и задания и отправился в номера, то есть в новые меблированные комнаты, устроенные в городе лет десять назад.

«Малая горсть епископии Белорусской…»

Сообщение о предстоящей поездке Екатерины Алексеевны в Тавриду получил из Священного Синода и Георгий Конисский, архиепископ Белорусский. Мстиславль находился в его епархии, и преосвященный тоже взволно-

вался: встреча с императрицей — огромное событие и в его жизни, и в жизни православной Мстиславщины.

Впервые в Мстиславле Георгий Конисский побывал в 1755 году, вскоре после хиротонии во епископа и переезда из Киева в Могилев. Он заранее сообщил время прибытия, чтобы не ставить в неловкость и городских, и церковных начальников, посему обе православные церкви и монастыри Тупичевский, Пустынский, Онуфриев приготовились к встрече, убрались во дворах, тем более что слух прошел о требовательности молодого епископа. Однако на въезде в город не поставили сторожевых монахов и — проглядели его карету, не приказали звонарям бить в колокола, отчего отец Феодосий, священник Богоявленского храма, едва не впал от стыда в отчаяние. Преосвященный его успокоил: не за почестями он приехал в древний город. Хотел лично увидеть храмы, в каком они состоянии, чем располагают в ризницах, а еще — почувствовать дух людей города. Много ли ныне их, православных, поддержат ли его в борьбе, которую он начинает. Много ли инославных: католиков, униатов. Как ведут себя иезуиты, поддержанные императрицей вопреки папе Климентию XIV. И особенно — как они, униаты? Далеки ли уже от веры отцов?

Известие о том, что прибыл епископ, разлетелось в один час по городу — в Богоявленской церкви было не протолкнуться, пришли поглядеть на преосвященного и католики, униаты, иезуиты. Православные поглядывали на них с подозрением, но и гордостью: епископ был молод, крепок, вел службу внятно и уверенно. «Пришло время отстоять нашу веру! — произнес на проповеди. — Пришло время заблудшим овцам возвратиться в свои стада».

Он остановился у отца Феодосия, и после литургии они ходили по городу, взобрались на Замковую гору, побывали у Девичьей, не без зависти поглядели на кармелитский и иезуитский костелы, построенные за огромные деньги на долгие века, широко и вольно, в расчете на многочисленных прихожан, на окончательную победу над православием. Подходили верующие за благословением — со слезами на глазах, с надеждой в лицах. В том числе униаты — торопливо, оглядываясь. Это был замечательный день. Оба они вдохновились, думая о будущем, оба согласились, что главная теперь задача — возвратить Мстиславских униатов в веру отцов.

Закончив знаменитую Киево-Могилянскую духовную академию с особенной похвалою, Георгий Конисский был назначен преподавателем там же по классу красноречия, затем префектом академии и профессором философии, а затем и профессором богословия, но будущее ему суждено было иное. Осенью 1754 года скончался преосвященный Иероним Волчанский, епископ Могилевский. Смерть его вызвала у одних печаль: «В таком несчастии прибегаем до вашего святейшества… чтоб удержать сию малую горсть епископии Белорусской…» — обращался к Священному Синоду иеромонах Братского Могилевского монастыря Митрофан; но у других воодушевление: употребить все «старание, вспоможение и ревность… чтоб новый схизматической епископ на Могилевский престол возведен и поставлен не был, но толь наипаче всякого схизматического епископа, яко насильника, вовсе выгнать…» — сие из письма папы Бенедикта XIV. Только при поддержке российской императрицы Елизаветы удалось удержать православное епископство на краешке Белоруссии, в епархиях Могилевской, Мстиславской, Оршанской.

Новым епископом стал архимандрит и ректор Киево-Могилянской академии Георгий Конисский.

Начало его служения во епископстве было светлым. Барабанным боем с раннего утра при огромном скоплении верующих встречали его у архиерейского дома в Могилевском местечке Печерск. Ликующее народное шествие двинулось по Виленской улице к Королевской Браме, где его приветствовал городской магистрат. Здесь же он произнес свое первое архипастырское благословение. Много было в тот день говорено речей, совершена божественная литургия архиерейским чином в Братской Богоявленской церкви, была устроена общая трапеза духовенству, членам магистрата и именитым гражданам города. Играл оркестр местного братства…

Однако очень скоро увидел он картину иную. *Жалка, угнетена и зело страждуща* оказалась его епархия. «*Подъехавши к Могилеву, я прежде всего узнал свою кафедру по великому безобразию и бедности ея сравнительно с римскими костелами…»* — вспоминал он. Смех иноверных вызывал внешний вид православных храмов. *«Могли вы еще видеть некое число церквей православных, но и те сараям паче и хлевникам скотским подобны, а не храмам христианским».*

В кафедре он нашел лишь несколько служек, но и этим негде было жить, нечем кормиться. Не плачено было и мирским людям по нескольку лет.

Священники за редким исключением не знали даже числа Божьих заповедей и Таинств церковных, не говоря уже о Законе Божьем, были неграмотны и с трудом могли написать собственное имя. «*И сами впадают в ров погибели, и других за собою ведут».*

Чтобы просветить служек, а там и вырастить новое поколение священников, нужно было устроить семинарию — найти помещение, пригласить из Киева или Петербурга учителей. Это потребовало бы немалых денег. Но на переезд и первые расходы он получил от киевского митрополита лишь пятьсот рублей.

В крайней бедности прошел год, и другой, и третий. Дважды он обращался к Священному Синоду с просьбой о помощи, наконец послал в Петербург своего ходатая иеромонаха Тудоровича — требовать и просить…

В конце концов Синод постановил выдать *на достройку каменной церкви в Могилеве 1000 рублей, на содержание архиерейского дома и семинарии 500 и 100 рублей и хлеба ржи ста четвертей.* Но это было ничтожно мало. Жалованья ни он, ни люди при кафедре по-прежнему не получали. *«…Я же с людьми при мне обретающимися сколько больше без такового жалованья живу, столько в крайнее оскудение и немогущество при себе потребных удержать людей прихожу».* Постепенно преосвященный терял терпение и надежду получить трехлетнее жалованье.

Впору было впасть в уныние. Однако уныние, как известно, грех, и он попросил Синод разрешения произвести в пользу Могилевской епархии сбор от *доброхотных дателей*, а еще просил выдать хоть какую-нибудь сумму из Синодальной конторы Экономического правления и переслать в Могилев по векселю какого-либо добронадежного купца…

Подобно все это было на глас вопиющего в пустыне.

Но как может существовать епископия без помощи?

Юрген Фонберг и Ривка-хромоножка

Бревнышки для дворца нарезали одно к одному, ошкурили и сложили на берегу Вихры до времени, когда возведут мост и можно будет проехать. Тем временем соорудили высокие козлы, начали нарезать доски для пола. Самых

мастеровитых мужиков Юрген Фонберг поставил готовить дверные косяки и оконные рамы.

Мужиков на строительство моста пригнали много. Плотничали человек десять, двадцать — поздоровее — забивали сваи. Течение здесь было довольно быстрое, и чтобы забивать сваи, сделали просторный плот, веревками растянули-прикрепили его к берегам, подняли столб на краю высотой четыре-пять метров, перебросили через железный блок веревку. Перед блоком к основной веревке крепилось десять дополнительных, и каждый конец держал обеими руками крепкий мужик. «И-и ррраз!» — пронзительно кричал Моше Гурвич, и все мужики одновременно тянули веревки, поднимали копер, а подняв, бросали на сваю. Работа была медленная, трудная. Через каждый час людям требовался хотя бы небольшой отдых. За день удавалось забить две сваи.

Казалось, ничего не изменилось за три года: все так же полноводно текла Вихра, звенели топоры и пилы, ухал копер, бегал по берегу Моше Гурвич, стоял на берегу он, Юрген Фонберг... Течение воды чем-то походило на течение времени: завораживало и печалило. Почему? Все в его жизни было хорошо и благополучно, у него нужная специальность, почетное назначение. Живы отец-мать, есть братья и сестры, имеется завидная невеста… Когда-то он пробовал поделиться подобными размышлениями со старшим братом Фридрихом, но тот выслушал его равнодушно: не надо много думать, посоветовал он, надо много работать. Размышления — признак неуверенности, а они, немцы, здесь, в хорошей, но чужой стране, должны быть уверены в себе и других. Юрген вполне согласился с ним, но все же порой снова накатывало. Отец и мать сильно постарели за тот год, что он учился в Германии. А само время — оно тоже стареет? А воды рек, уплывшие в неизвестность?.. «Прекрати, — требовал старший брат. — Тебе двадцать пять лет. Такие мысли до добра не доведут».

До города от Вихры недалеко, полторы версты, до еврейского поселка, где жил Моше Гурвич, около двух, но город на крутом холме, времени, если ходить на обед домой, надо много, поэтому Ривка, как и прежде, приносила отцу еду в торбочке-собирайке к реке. Юрген Фонберг не сразу узнал ее — выросла, по-женски оформилась, из подростка превратилась в красивую девушку. А еще не узнал потому, что шла она, сильно прихрамывая на левую ногу, причем хромота была, видимо, привычной, шагала довольно быстро. Она не поздоровалась с ним, даже не кивнула, напротив, заметив, тотчас опустила голову, отвернулась. Впрочем, и прежде они были мало знакомы. Моше Гурвич ел торопливо, поглядывая и на дочку, и на Фонберга. А когда она, спрятав посуду в собирайку, ушла, опять же, не попрощавшись и не взглянув на инженера, Моше Гурвич сказал:

— Хромоножка она теперь. Хорошая девочка, жалко.

— А что случилось?

Моше Гурвич безнадежно махнул рукой, дескать, что уж теперь вспоминать. Но позже все же признался:

— Под карету пана Чубаря попала. Слава Богу, жива осталась.

— Давно это было?

— Да уж два года тому.

— А что Чубарь?

Моше Гурвич не ответил.

Юрген Фонберг Чубаря знал. Известен он был своими породистыми татарскими лошадями, которых ему пригоняли из Астрахани. Мстиславль город небольшой, но ездил Чубарь всегда на тройке и только галопом. Проскачет, к примеру, до Пустынского или Онуфриевского монастырей, постоит у въезда и, не помолившись, поворачивает обратно. Кучера, однако, не держал, правил сам.

Проследив, как идет работа на мосту, Юрген Фонберг отправлялся в город, к строительству дворца. Поскольку наблюдать за двумя объектами требовалось каждый день, обер-комендант Родионов выделил ему бричку с резвой лошадкой. В один из дней Фонберг погнал лошадку. Как только Ривка, накормив отца, подошла к подножию холма, где ей, хромоножке, подниматься было трудно, придержал лошадь.

— Садись, Ривка.

Но она лишь только испуганно взглянула на него и круто повернула к тропинке.

— Ривка! Ты меня не п-помнишь? Я инженер Юрген Фонберг, немец. С твоим отцом работаю…

Нет, не отозвалась. А тропинка, по которой пошла, была еще круче.

— Ривка!

Хромота ее, когда шла вверх, была менее заметна.

Постоял, глядя вслед, тронул лошадь.

Жил он по-прежнему в номерах, а завтракал-ужинал в корчме Семы Баруха. Для Семы Юрген Фонберг был почетным гостем, он сбрасывал для него цену обедов, бурно радовался, когда тот появлялся, и говорил: «Я пана розмысла готов даром кормить три раза в день». Огорчало его только то, что Юрген совсем не пил вина, не хотел даже пригубить, отодвигал, если Сема ставил на стол бесплатную чарочку. «Юрген, ты лучше любого еврея», — говорил Барух с сильным еврейским акцентом. «Ну что ты, — возражал Фонберг с сильным немецким, — лучше еврея может быть т-только еврей».

Обедал он чаще всего в одиночестве, а во время ужина к нему, как правило, подсаживались мужики: очень интересно было поговорить с грамотным немцем. Ставили на стол штоф крепкого хлебного вина и тоже дивились ему, не пьющему. «Что, все немцы такие? — спрашивали. — И даже задаром? А если свадьба или, к примеру, поминки?» Однако заняться по вечерам было нечем, и порой Юрген Фонберг засиживался в корчме, а иногда под шумный восторг Семена Баруха и мужиков все ж таки позволял себе рюмочку. «Бедные немцы, — говорили вокруг. — Ни большого запоя, ни малого. Что за жизнь у них?» — «Что есть большой запой?» — интересовался Юрген Фонберг. «Это если на весь месяц!» — «А малый?» — «Неделя! От воскресенья до воскресенья».

Выглядел Семен Барух смешно: в обычной для евреев ермолке, длинной посконной рубахе, а на поясе широкий кожаный ремень с карманом для денег и нож в кожаном чехле.

— А нож тебе зачем? — спрашивали новые посетители.

— А чтоб не зарезали, — отвечал. — Я и сплю с ножиком.

Такой разговор был всем понятен: в Кричеве тем летом зарезали и обобрали корчмаря.

— Неужто можешь убить человека?

— Ха! А что тут трудного? Чик и нету!

Слушали и посмеивались: непохоже, чтобы Сема был такой смелый и ловкий.

Помогали ему в корчме жена и дочка Циля — обе крепкие, поворотливые.

— Ага? Видал? — обращался Семен к Юргену. — Зачем тебе Ривка? Разве Циля хуже?

Интерес Юргена к Ривке был скоро замечен и разнесся по городу.

— Так ведь ты не отдашь ее за меня, — улыбался Юрген.

— Почему не отдам? Отдам! Попроси хорошо! Подарок принеси!

— Дорогой п-подарок?

— Ну! Посмотри на Цилю! Можно такую девушку взять за дешевый?

Циля и в самом деле была хорошенькая, от слов отца вспыхивала, сердилась и становилась еще красивее.

Предлагал Семен посвататься и другим посетителям, но если вдруг кто-то из них в самом деле проявлял интерес к девушке, тотчас хлопал в ладоши: «Иди отсюда, — прикрикивал по-еврейски. — На кухню!»

Помещение корчмы вплотную примыкало к дому Семена. Кухня находилась в доме, дверь в дверь с входом в корчму. Во время обеда посетителей было всегда мало, но к вечеру становилось тесно и шумно. В праздничные и базарные дни корчма и вовсе превращалась в пьяное, а порой и разбойное место, и Юрген снял комнату у купеческой вдовы Зоси. Пришел он к ней поздно, темнело, но Зося, обрадовавшись возможности получить малую денежку, тотчас побежала в полицейскую канцелярию сделать соответствующую запись в книге приезжих. «А как же, — пояснила Юргену. — Пан исправник у нас строгий, если что — на съезжую и — кнутом». Была она рада и денежке, и тому, что в доме появился человек. «Скучно мне, пан Юрген, ох, как скучно!..»

Женщина она была молодая, аккуратная, плату попросила умеренную, готовила хорошо — Юрген был полностью удовлетворен. Во время ужина она ставила и себе тарелочку, садилась напротив, ела подчеркнуто аккуратно, поминутно утирая яркие крупные губы платочком, и порой хитро интересовалась: «Чего у тебя слова какие-то кривые? Говоришь понятно, а слова кривые». — «Немец я». Зося улыбалась. «А что молчишь? Нравится тебе моя еда или нет?» — «Нравится». — «Ну так похвали. Мой хозяин помер, некому похвалить. Женщина без похвалы жить не может». — «Очень вкусно». Смеялась: «Мне нельзя держать тебя на постое, а я держу. Я еще женщина молодая, могу и замуж выйти, а то, что ты у меня живешь, — нехорошо. Что могут подумать. А ты не боишься, что подумают?» — «Нет, не боюсь». — «Конечно, чего тебе бояться, ты мужчина…»

Умолкала, грустила. Дом был большой и пустой, ни мебели, ни одежды, все лишь самое простое и грубое: лавка у стены, табуретки, два кое-как сбитых деревянных топчана. Самое ценное — огромный резной рундук, на котором можно и сидеть, и спать. В устьице, на припечке большой «русской» печи, два чугунка, большой — ведерный, чтобы согреть воды, и малый — сварить щи на двух-трех человек. Не было и живности, кроме поросенка да кошки. Жила Зося уж очень скромно, питаясь тем, что приносил небольшой, около десяти соток, огород. Позже Зося объяснила причину бедности: муж ее, купец третьей гильдии, был православный, а староста гильдии — униат, всех мстиславских купцов он перетащил в унию, а ее Семен в унию не захотел. Начал староста прижимать его: если хороший заказ — не давал Семену, если тяжелый — посылал. А тут еще Семен пристрастился к крепкому вину и стал разгильдяем, сперва из купцов попал в возчики, затем в лакеи, а там и умер от перепоя и тоски. А ведь когда женились, пятьсот рублей внесли в казну на приписку к гильдии, было у них четыре коня, свинья с поросятами, пять овец, две козы с козлом, держали конюха и бабу-работницу — все пришлось продать, чтобы выжить… Она считала себя виноватой перед мужем: не смогла родить детей, потому и попивать начал. Когда его разгильдяили, она не ругалась и даже не плакала, а пошла к старосте Рогу и плюнула ему в лицо. А когда умер Семен, хотела поджечь хату старосты, уже и сухую паклю приготовила, да внуков пожалела его. Не может она слышать, когда дети плачут.

«Скучно мне одной, немчик, — произнесла однажды. — Женщине трудней жить. Когда хороший хозяин, тогда легче, а когда нет — трудней. У тебя

невеста в Могилеве есть?» — «Есть». — «Как ее зовут?» — «Луиза». — «Ага, Лизка, значит. Ну и что она? Хорошая?» — «Хорошая». — «Вот видишь. А ты у меня живешь…» — «Так мне уйти?» — «Нет, поживи еще. Все равно никто не сватается».

Все более и более внимательно вглядывалась она в его лицо, старательно ухаживала за обедом и ужином. «Я тебя по-нашему буду звать, Юркой, ладно?» — спросила однажды. «Ладно». — «А ты меня зови Зоськой», — смеялась каким-то собственным мыслям или догадкам. «А хочешь, я тебе спою?» — и тут же начала вполголоса некую длинную печальную песню. «Хорошо пою?.. Могу и веселые песни, но если веселые — надо плясать, а я не могу, толстая. Сплю, наверно, много, потому. Люблю спать. — Опять смеялась с каким-то непонятным значением. — А немцы толстых не любят?..» — «Почему, всяких любят». Могла посреди разговора подняться и, не прощаясь, отправиться спать. А могла среди ночи разбудить странным вопросом: «А песни тебе наши нравятся? У немцев — какие?» — «Я здесь родился, мало их знаю». — «Жалко. Наши песни для вас чужие. А вообще, какие вы, немцы? Как евреи или другие?» — «Другие». — «А веры вы какой?» — «Как кто. Наша семья — лютеране». — «Хорошая вера?» — «Хорошая». Умолкала, о чем-то думая, размышляя. «Нет, этого мне не понять». А порой ставила еду на стол и надолго уходила из дому. Сквозь сон он слышал, как она возвращалась, разбирала постель, тихо вздыхала. Деревянный топчан долго поскрипывал под ее крупным телом. «Тебе там, на топчане, не мулко? — однажды среди ночи спросила она. — Узкий топчан, только сидеть. Хозяин мой сбил на случай запоя, чтоб не мешать мне. Хороший был человек. — И вдруг сердито добавила: — А коли мулко, полезай на печь».

Тут вопли и рыдания…

Однако не только деньги были проблемой для православной жизни в Могилевской губернии и вообще в Великом Литовском княжестве. Со времен Унии, которая лишь поначалу изображала примирение православия и католичества, уже почти двести лет не было покоя на этой земле.

Некоторое время после приезда в Могилев епископа Георгия и католики, и униаты, казалось, присматриваются и прислушиваются к его проповедям и делам. Но не прошло и года, как виленский католический епископ Михаил Зенкевич, пользуясь влиянием на короля, добился запрета на ремонт православных храмов по всей Белоруссии.

«*Мы хотим молиться Христу по своему благочестивому закону, своими словами, в своих храмах*, — взывал Георгий Конисский. — *Хотим креститься пред Ним троеперстием, а не ладонью, хотим петь свои православные гимны. Что здесь неправильного, несправедливого, обидного для вас, инославных?»*

А вскоре в Могилевской губернии появились и «псы Господни», доминиканцы, силой отнимавшие храмы православных, принуждая их, безропотных и униженных, носить на себе огромные деревянные кресты с еловыми венками.

Конечно, он сообщал обо всем этом Священному Синоду, а Синод обращался в правительство. Правительство, как водится, посылало в Варшаву ноту протеста, — все безрезультатно. Сие, разумеется, окрыляло его врагов.

Тем не менее, надо было продолжать служить Богу и православию. Летом своего четвертого года во епископстве Георгий Конисский, посещая приходы епархии, прибыл в Оршанский Кутеинский монастырь. «*Не от Христа посланы на нашу землю и униаты, и доминиканцы*», — с горечью сказал он во время литургии.

Фраза эта понеслась по городу. На другой день, когда преосвященный вознамерился посетить самую Оршу, чтобы служить литургию в православной церкви, его при въезде в город встретила толпа вооруженных шляхтичей. «*Поп, холоп, схизматик!*» — кричали они. Прогнали звонарей из православной церкви, дабы не было колокольного звона в честь епископа, ворвались в храм, стали изгонять прихожан вон, били тех, кто уходить не хотел, и вынудили епископа бежать в монастырь. Неизвестно, как закончилось бы все это, если бы не настоятель, который вывез его на крестьянской телеге, накрыв широким рядном и забросав поверху навозом.

Год спустя плебан Михаил Зенович с иезуитами, вооруженные ружьями, саблями, с камнями и дубинами, ворвались в архиерейский дом и семинарию. Было ранено несколько учеников, а сам епископ Георгий нашел спасение в подвалах своего дома.

В Мстиславском воеводстве силой обратили в унию целое селение. Жена мстиславского воеводы пана Сапеги в своем родовом поместье передала православную церковь со всем приходом священнику-униату.

В местечке Костюковичи… В Кричеве… В Горках…

Уния продолжала свои победы. 164 церкви и пять монастырей покинуло православие с 1686 года, со времени Договора о вечном мире между Россией и Польшей. Изменивших вере отцов можно было понять: в унии под покровительством Папы Римского и королевства Польского было легче жить, в православии — труднее: к примеру, доступ к государственной службе православным был закрыт. Православные шляхтичи впадали в бедность. Многие были неграмотны, работали, одевались, питались уже неотличимо от крестьян.

Безденежье угнетало все сильнее. Одно за другим епископ посылал доношения Святейшему Синоду. Ничего и не оставалось, как вопиять.

И вдруг, когда преосвященный совсем отчаялся и даже ждать перестал, посчитав, что сие испытание послано ему Богом, в Могилев в сопровождении военного конвоя на нарочно выделенных подводах прибыли из Петербурга три бочонка серебра. Кроме денег кафедра получила три экземпляра новоизданной Библии, а преосвященный лично — Настольную архиерейскую грамоту — в голубой тафте, на золотом пергаменте, за синодской печатью красного воска, на золотом шнуре, положенную в серебряный ковчег. Оказалось, Священный Синод обратился за помощью к императрице Елизавете, и она полностью удовлетворила его просьбы и требования. «*Задолженность за прошлые четыре года выдать немедленно и без задержек... и впредь жалованье епископу Георгию выдавать без задержки и всякого для него ущерба*». Георгий Конисский был почти счастлив. Теперь он мог рассчитаться с изнемогшими в нищете людьми, достроить храм, а еще приобрести тройку хороших выездных. А как еще было ему добираться в уезды губернии, коих насчитывалось двенадцать и многие в немалом удалении от Могилева?

В день рождения императрицы Екатерины, будучи в Вильне, он произнес в Свято-Духовом монастыре проповедь-обращение, проповедь-просьбу, мольбу, заклинание о православных. «*…Ныне кому неизвестно, в каком жалком виде наша благочестивая вера в сем государстве? В Литовском Великом княжестве хотя и осталась последняя епархия Белорусская, однако и сия большею частию расхищена. Пленивши душу и тело, и совесть железными узами обложить хотят: веру православную в последней нищете и простоте исповедать не допускают. Гонят православный народ, как овец неимущих пастыря, или до костелов, или до униатских церквей, — гонят не точию из домов, но из церквей наших…*»

Но не только к людям в храме и с жалобой к Богу на небесах обращался епископ Георгий. Тайным, хотя и недостижимым адресатом его была она, императрица Екатерина Алексеевна, взошедшая на престол 28 июня 1762 года. Не услышит она его слова, но, может быть, неким чудным образом почувствует то, что чувствует он и вся православная паства Речи Посполитой.

«Тут вопли и рыдания, каковы, может быть, токмо во время избиения младенцев от Ирода слышаны были… Молчу о пастырях бедных, священстве нашем. Сколь многие из них изгнаны из домов; сколь многие в тюрьмах, в ямах глубоких, во псарнях вместе со псами заперты были, гладом и жаждою моримы, сеном кормлены; сколько многие биты и изувечены, а некоторые и до смерти убиты…»

Стоял апрель 1767 года.

Воссоединение с Православной церковью всех отторженных от нее епископ Георгий считал своей главной жизненной задачей. Иначе зачем он ходит по земле?

Обидел девку.
Ривка или Луиза?

Николай Богданович Энгельгард передал с Фонбергом обер-коменданту Родионову личное письмо, в котором настойчиво просил раз в десять дней сообщать по почте, как идут дела приготовления. Он и получил через десять дней сообщение, что инженер прибыл, работы начались, строится мост, вкопаны штандары под фундамент и размечены стены будущего дворца, ремонтируются дороги. Еще обер-комендант сообщал, что известие о приезде императрицы произвело на жителей хорошее нравственное впечатление, но после этого Родионов замолчал. Прошло и еще десять дней, и три недели, и месяц, — город молчал. Что, может быть, заболел обер-комендант? Как-то он жаловался на головные боли, но есть в городе городничий, капитан-исправник, есть предводитель дворянства. В чем дело? Конечно, позже придется ехать самому с инспекцией, хотя и вполне доверял Родионову, но пока рано. Каждый день ждал письма, но прошло и еще две недели, а никакого сообщения не поступало. Он уже начал сердиться, хотя и понимал, что, наверно, есть причина у обер-коменданта молчать, что еще хуже. Николай Богданович уже собрался было ехать в Мстиславль, как наконец получил подробное письмо. Причина молчания была проста: когда мосты были построены, — каждый с двумя ледорезами, а стены дворца и трапезной вполовину возведены, стало ясно, что деньги, отпущенные казной, заканчиваются. Между тем, предстояло еще накрыть дворец и трапезную гонтом, купить и доставить из Смоленска мебель, чтоб не стыдно было перед императрицей, кроме того, староста городской купеческой гильдии обещал привезти для императрицы обеденный сервиз из Москвы… А еще нужно было иметь про запас двести-триста рублей, чтобы заплатить шляхтичам и купцам за лошадей, требуемых в ордере. В Петербурге предполагают, что лошади будут бесплатные, что по одной лошади от тридцати живых душ приведут купцы и мещане и по одной каждые пятьсот крестьян. Да, приведут, но какие то будут одры!

Конечно, лошади пойдут только до следующей станции, то есть до Новгород-Северска, а затем вернутся, но не приведи Господи не выполнить это распоряжение. Пришлось созывать дворянское собрание, заседателей Совестного суда, торговых депутатов, церковных и костельных старост, старшин богатых — стеклодувов и горшечников — купеческих гильдий, чле-

нов мещанской управы — требовать в непредвиденных расходах участия… Собрали по уезду почти полтысячи, но и этого, по всему видно, не хватит.

Тут еще дело и в сроках: как сообщали друзья и приятели из Петербурга, подготовка шла полным ходом, особенно в южных краях империи, в Таврии. Пятнадцать миллионов отпустила казна на путешествие, почему же Мстиславлю только три тысячи?

* * *

Однажды вечером Зося, хозяйка Фонберга, долго молчала за ужином, словно раздумывала о чем-то, и вдруг сказала:

— А я тебе, Юрка, нашла другую квартиру… Не надо тебе жить у меня. Хорошая там хозяйка, лучше, чем я. Старушка. Чисто у нее, хорошо. А то уже говорят люди. Ты еще молодой, и я не старая. Плохо мне с тобой. И тебе плохо, правда? И нельзя ничего такого, правда? Лучше тебе уйти, да?

— Как скажешь, Зося. Мне у тебя было хорошо.

— Нет, плохо. Я знаю. — Но тут же и передумала: — Ладно, поживи еще. Платишь хорошо, а мне деньги нужны.

По вечерам, словно взяв за правило, он стал гулять по длинной еврейской слободе, поглядывая на окна дома Моше Гурвича. Иногда ему казалось, что увидел отодвинувшуюся занавеску в окне. Настойчивость его была вознаграждена: однажды, звякнув дужкой ведра, вышла из дому Ривка, направилась к колодцу.

— Ривка, — сказал Юрген, — д-дай мне ведро, я тебе помогу.

Она не ответила, и Юрген пошел рядом.

— Ты зря меня боишься, — продолжал он. — Ты к-красивая девушка, и я хочу говорить с тобой. Я помню, какой ты была т-три года назад. А теперь ты совсем взрослая.

Однако Ривка молчала.

Обычно по воду ходят днем, и чаще всего никто им по дороге не встречался.

— Почему ты не хочешь, чтобы я помогал тебе п-подняться в гору? Я в это время езжу обедать к Баруху. Боишься?.. Что я могу тебе сделать плохого? А может, ты п-по-русски не понимаешь?

— Понимаю, — неожиданно произнесла она, не поднимая головы. И голос ее тоже очень понравился Юргену.

Колодец был рядом, дошли за считанные минуты. Но вода в Мстиславле стоит глубоко, обычными «журавлями» здесь не пользовались, каждый приходил со своей веревкой, привязывал к ведру и к барабану, выкатывал наверх за железные ручки. Сворачивали веревку, возвращались… Было заметно, что нести ведро и веревку Ривке тяжело.

— Позволь, я понесу.

Она покачала головой.

— Или дома не хотят, чтобы мы разговаривали с тобой?

— Не хотят, — ответила Ривка.

— Кто не хочет, отец?

— Все, — ответила она и круто свернула к дому.

Как странно, что в его немецкой судьбе появилась российская императрица Екатерина, еврейская девушка Ривка, этот город и речка… Как странно, что когда-то его предки приехали жить в Великое Княжество Литовское, ставшее позже Польским королевством, теперь — Россией. «Нас это не касается, — говорил отец. — Наше дело — работа». Эту фразу отец повторял едва

не каждый день, она наскучила всем, как сверчок в щели, но и возразить было невозможно: как же иначе? Да, наше дело — работа, потому все тотчас умолкали, а отец, наверно, считал, что очень убедительно высказался. И вообще, продолжал он свою главную и любимую мысль, нет в жизни мужчины ничего иного, кроме работы, и ничего лучшего, чем работа. Только работа приносит радости, все остальное — разочарование и печаль. Никому из трех сыновей Иоганна не нравилось такое мнение, а меньше всех самому младшему, Юргену: как же, а праздники, друзья, девушки? Но и он молчал, потому что старший, Фридрих, когда-то яростно спорил с отцом, а теперь, женившись и построив свой дом, только задумчиво покуривал трубку и помалкивал. Он очень много работал, когда строил свой дом, так много, что отвык говорить, и лишь иногда можно было услышать его неопределенное: да-а, работа, работа… Для того, чтобы Юрген, понял, что есть работа в жизни мужчины, отец взял его с собой в Мстиславль на строительство мостов, затем отправил учиться на родину предков. После учебы взял на строительство городской бани, — и, кажется, не напрасно: понял младший сын или смирился с тем, что ничего нет в жизни, кроме работы. Оставалось сыграть свадьбу с девицей Пфеффелей, и тогда его, отца, главная роль и назначение в этой жизни будут исполнены.

Некоторое время Иоганн Фонберг сомневался, кого послать в Мстиславль и не поехать ли самому, — все сыновья умели работать, но в конце концов решил послать одного Юргена: пришла пора его личной ответственности. Кроме того, Иоганна Фонберга беспокоил заметный недостаток сына: Юрген слегка заикался, по-видимому, от излишней скромности. Иоганн надеялся, что самостоятельная работа и жизнь помогут ему избавиться от этой досадной особенности.

Конечно, выбор невесты — отнюдь не только для молодого человека задача. Это дело семейное. Дочь портного Пфеффеля — хорошая девушка, привлекательная внешне, умная и строгая. Вот только была она старше Юргена, крупнее и выше ростом. При встрече она всегда смотрела прямо в глаза, как будто именно сейчас ждала от него чего-то важного.

Отец последнее время слишком часто нахваливал ее. Однажды от таких разговоров Юргену стало невыносимо скучно, и он сказал: «Да, хорошая девушка. Пускай бы Фриц В-вернер женился на ней. Я ему п-посоветую». Отец промолчал, заметно было, что не согласен с мнением сына. И мать, внимательно прислушивавшаяся к их разговору, тоже не согласна. Хорошая девушка, очень хорошая. Хотя… Вся немецкая слобода знала о скупости портного Пфеффеля. Знала, что, договариваясь о шитье, торгуется до последней копейки, а еще хранит даже мелкие обрезки тканей, делает из них коврики и продает на рынке. Понятно, что так же экономна будет и дочь Луиза. Как бы не посадила всех на голодный паек. «Очень хорошая девушка, — повторил отец. — Идет — улыбается… Не знаю никого лучше». Что ж, улыбка у нее в самом деле была хорошая. И добрые серые глаза. «Ну, а главное, — говорил отец, — вы помолвлены. Какие теперь могут быть сомнения? Мы — немцы. Слово надо держать».

Нежданно-негаданно в Мстиславль приехала Луиза, и не одна, а с немецкой нянькой своей, такой же высокой, как Луиза, но тощей как вобла, по имени Ирма. Ну, это понятно, что не одна: дорога далека, город чужой, мало ли что может случиться. С ней, строгой и неулыбчивой Ирмой, было надежно. Конечно, поездка такая обойдется дорого, но есть вещи, которые дороже денег.

Ирма воспитала четырех девочек в семье Пфеффелей и не собиралась покидать их, пока не выдаст всех замуж. Луиза, старшая среди сестер, была первенцем также и для нее, няньки, и потому Ирма считала себя особенно ответственной за ее будущее. Сопровождала Луизу даже на праздники, но на глаза людям не лезла, а стояла где-либо за деревьями, чтобы в нужный час встретить и проводить к дому.

Они легко узнали, где работает немец-инженер, и сразу направились к дворцу. Юрген очень удивился, увидев их, может быть, так он не удивлялся еще никогда. Смотрел, как Луиза, улыбаясь строго и смело, приближается, и ненарочно пятился назад. Но вот и стена дворца, пятиться больше некуда.

— Здравствуй, Юрген! — произнесла по-немецки.

Голос у нее был красивый, звучный, и все мужики, работавшие на дворце, оборотились посмотреть, кто это так интересно заговорил. Увидели Луизу, сообразили, что к чему, и тотчас согласились: хорошая пара. Жаль только, что высоковата для Юргена и уж больно мощна, если что — зашибет. К этому времени все знали, что Юрген не женат, и если приехала откуда-то девушка, значит — невеста.

Они пошли по дорожке сада между пышных клумб, устроенных по распоряжению обер-коменданта Родионова, и шаг у девушки был уверенный, словно не впервые здесь, знает, куда идти. Августовское солнышко клонилось к закату, было уютно, тихо, и судя по всему, Луизе очень нравилось идти рядом с Юргеном и разглядывать на клумбах цветы. Плохо было лишь то, что Юрген как всегда молчал. Луиза тоже говорила мало, но все же порой раздавались немецкие слова. Например:

— Твоя мама передала тебе немного колбасок по-немецки, а моя мама хорошего зельца. А еще твоя мама передала тебе кусочек бараньей ноги, а моя мама кусочек говядины в сметане…

Стало понятно, что их с Ирмой поездка — семейная идея и решение. Да иначе и быть не могло. Судя по весу узла, что привезли они, мама не отрезала, а отвалила кусок бараньей ноги, а может, и всю ногу. Придется искать ледник, чтобы сохранить мясо, и сделать это надо сейчас же.

Зося и обрадовалась, и удивилась гостям из Могилева. Подсказала, где есть ледник, служивший почти всей улице, и тотчас взялась разжигать небольшую летнюю печечку во дворе, чтобы вскипятить воды для молодых немцев. Заметно было, что Луиза ей понравилась, а с Ирмой они сразу нашли общий язык. Юрген и Луиза говорили то по-русски, то по-немецки, и Зося вслушивалась в звучание немецкого языка, как вслушиваются в слова незнакомой песни.

Пристроили мясо в ледник, попили чаю с Зосей, и молодые отправились гулять по городу, а Зося и Ирма остались продолжать пить чай, обмениваться мнениями о жизни в Мстиславле и Могилеве и обсуждать слухи о путешествии царицы Екатерины.

Юрген прежде всего показал Луизе православные и католические храмы, сводил на Замковую гору, чтобы увидела звездное небо над Мстиславлем, которое оттуда казалось — рукой подать, затем повел к Тупичевскому монастырю, где тоже открывался загадочный вид окрестностей. А когда совсем стемнело, Луиза предложила пойти к реке и смыть дорожную пыль с тела. Она разделась перед ним не смущаясь, смело вошла в воду, хотя стояла уже вторая половина августа, шумно и с явным наслаждением поплыла, а когда выходила — крупная, белая, мощная — и широким шагом уверенно шла к нему в слабом лунном свете, он подумал, что смотреть на нее очень приятно, но душа его не отзывается на серебристый блеск ее мокрого тела. После купа-

ния ей стало холодно, и он отдал ей свою свитку, а она из благодарности и, возможно, других, более сильных чувств, все старалась по дороге коснуться сильным плечом его плеча.

Она тоже родилась в Могилеве, хорошо знала русский язык, но сейчас говорила только по-немецки, ей казалось, что родной язык сближает их с Юргеном.

Жили они почти по-соседству и знакомы были с детства, но поскольку Луиза была немного старше, а главное, выше почти на голову, Юрген всегда понимал ее как соседку, у которой своя, малоинтересная для него жизнь. Правда, был все же день, когда он с любопытством взглянул на Луизу. Было это на весеннем празднике бельтайн, когда Луизу выбрали королевой, а королем его друга Фрица Вернера, но на танец райген она вдруг оказалась рядом не с Фрицем, а с ним, Юргеном. А чуть в стороне, среди зевак, стояли родители и дружелюбно посматривали на них. Очень скоро ему предстояло ехать в Германию учиться, и родители, словно торопясь, устроили семейную встречу, и мама повторяла одну и ту же фразу: «Ах, какая девочка, какая девочка!» А отец не то шутя, не то серьезно бормотал: «А какая хозяйка! Кто еще так приготовит гороховый суп? Никто! Разве что твоя мать!»

Возвратились поздно, но Зося и Ирма ждали их. А дождавшись, тотчас удалились в маленькую комнатку, обычно пустую и соединявшуюся с большой узким проходом с занавеской, без двери. На топчане Юргена призывно белела свежая простынь.

— Это тебе, — сказал Юрген и, поскольку второго топчана не было, прыгнул на лежанку печи.

Зося и Ирма все еще обменивались жизненными впечатлениями, но занавеска время от времени приподнималась: как там молодые люди, чем заняты?

Луиза долго сидела не раздеваясь, печально молчала. Наконец улеглась и она. Ирма устроилась на огромном сундуке, когда отовсюду послышалось сонное дыхание.

На работу Юрген отправился как всегда на рассвете, а когда вернулся к обеду, оказалось, что гости уже уехали. Почтовая карета в Могилев отправлялась утром, и они торопились, не стали и завтракать, и с собой ничего в дорогу не взяли. Хотели рассчитаться за постой, но Зося у хороших людей денег не берет.

— Луиза мне что-нибудь передала?

— Нет, только плакала все утро. Хорошая девушка.

Зося казалась более разочарованной, нежели Луиза.

— Я думала… а ты… не… так не годится… Обидел девку… Зачем?

— Обидел?

— А как же. Полез на печку, даже не посидел с ней. Мне она понравилась. Красивая. Лучше, чем эта жидовочка.

— К-какая жидовочка?

— Да ладно, Юрка. Весь город знает. Ходишь вечером по Слободе — как не знать? Только они ее тебе не отдадут. Их вера не позволяет. Могу сказать, что мне ее, Ривку, больше, чем твою Лизку, жалко. Ногу ей пан Чубарь поломал, а лекарь мстиславский с подлекарем не смогли поправить, — будет хромать девка всю жизнь.

Для порядка и совести ради Юрген сходил на станцию: вдруг отменили поездку или не хватило в карете мест, — может, сидят в уголке. Почему-то слова Зоси о ее слезах взволновали больше, нежели вчерашнее купание при луне.

Нет, на станции их не оказалось. На всякий случай он обратился к смотрителю: «Уехали девушка с женщиной — высокая девушка, светловолосая?» — «Да, была такая. Все плакала».

Вот как. А он и не знал, что Луиза любит плакать. Или в самом деле она так сильно огорчена?

«Пойди и обличи его…»

Некоторые отдаленные города и местечки преосвященный Георгий долго не мог посетить, хотя были дела, требовавшие его участия. Загляни он хотя бы ненадолго, на день-другой, в Шкловский монастырь, не случилось бы, скорее всего, преступления, которое взволновало весь город: лишил себя жизни игумен Иосиф, и что послужило причиной, осталось тайной. Может быть, удалось бы остановить иеромонаха Любавичского монастыря Виктора, драчуна, а можно сказать — разбойника, который кончил тем, что отдали в солдаты. Хотя, конечно, слово епископа часто пролетает мимо ушей грешника, не достигает сердца. Не раз и не два увещевал он горького пьяницу иеродиакона Могилево-Братского монастыря Нифона. Сколько покаянных слез пролил иеродиакон, но так и не смог справиться с собой. Все пропил, даже рясу и клобук, и в конце концов умер от запоя.

Нынче пришло несколько доношений — из Рясны, Мстиславля и Костюковичей. Теперь преосвященный решил не откладывать. Из Рясны доносили о пьянстве и драчливости священника Агафона, из Мстиславля — об убийстве настоятеля в Тупичевском монастыре, из Костюковичей — о прелюбодеяниях священника.

Ехать решил на своих лошадях, поскольку денег как всегда не было, а лошадки у него были хорошие, крепкие, хотя, конечно, простой местной породы, то есть вовсе беспородные. На почтовых ехать быстрее, но и много дороже, а на тот момент у него было больше времени, чем денег. Путь долог, но если лошадок кормить хорошо и позволить отдохнуть после каждого переезда, то с Божьей помощью можно добраться и до самого дальнего местечка — до Костюковичей. Правда, есть еще одна опасность: лихие люди на дорогах, могут и коней отнять, и жизни лишить, но тут уж остается положиться только на наперсный крест и удачу.

Возчик Тимофей сильно удивился, когда узнал о предстоящей поездке: «А… а…» Долго не мог закрыть рот. «Не страшно тебе, батюшка?» — произнес наконец. «Нет, не страшно. Бог поможет, если что». — «Тебе, батюшка, ясно, поможет, ты под ним ходишь, а мне?» — «Я за тебя заступлюсь». — «Ну, разве что», — вздохнул Тимофей, и заметно было, что такой ответ его не удовлетворил. Покойный епископ, у которого Тимофей служил почти всю жизнь, редко предпринимал дальние поездки, а последние годы из-за слабости и болезней вовсе никуда не ездил.

Выбрались в Рясну на рассвете, ехали не торопясь и к обедне были на месте. Священник, конечно, никак не ждал такого гостя, стоял у ворот и молча глядел, как выходит из кареты епископ, как приближается, казалось, запамятовал даже имя его, лишь тихо повторял: «Владыко… владыко…» Был он невысокий, тщедушный, под глазом темнел синяк, точнее, желтяк, вид имел виноватый и крайне растерянный. Видимо, был из тех людей, которые знают свои грехи, не забывают о них и всегда ждут наказания. Уже с трех шагов пахнуло на епископа дешевым хлебным вином. Заношенной была и ряса на нем, а наперсного креста вовсе не было.

— Ну что ж, отец Агафон, пойдем в храм…

Священник тотчас сорвался с места и кинулся к дому, точнее, к своей покосившейся хате, через минуту появился с ключами в руке и, не задержавшись около епископа, промчался к церкви. Преосвященный вошел следом.

Бедность увидел впечатляющую. Единственная иконка Иисуса украшала храм, два пятисвечника у левого и правого клироса. Покосилась одна половинка царских врат. Правда, было чисто — наверняка заботами прихожанок. Больше разглядывать было нечего.

Отец Агафон стоял в углу у левого клироса, где его почти не было видно, словно желая раствориться во тьме.

— Где ты, отец Агафон? — позвал преосвященный. — Выйди на Божий свет.

Он тотчас вышел и остановился в пяти шагах, склонив голову.

— Где крест твой наперсный?

Молчал, как семинарист, не подготовивший урок.

— Пьешь, отец Агафон?

— Пью, — согласился тот и вдруг заплакал.

— Не можешь без вина?

— Не могу, ваше преосвященство. Дьяволы меня искусили, видно, на всю жизнь.

— Плохо Бога просишь о помощи.

— Прошу, ваше преосвященство. Каждый день-вечер прошу! Не слышит он меня, грешника.

Опять замолчал.

— А дерешься в храме зачем?

— Так не слушают меня! Шумят, богохульствуют. Третьего дня Степан Силин, кузнец, кота принес в мешке! Как мне это терпеть?

Агафон умолк. Судя по желтяку под глазом, в драке с кузнецом ему досталось крепко.

Храм этот, по названию Крестовоздвиженский, был единственный православный храм в городке. Но был еще один, отнятый в прошлом на унию. Преосвященный пригласил Агафона пройти по улицам, показать этот храм. Как и ожидал, вид у него был исправный, наверно, прихожане-униаты оказались щедрее или богаче, нежели православные. Или перепадала храму толика от доходов и богатств Папы Римского.

— Как жертвуют православные? — спросил преосвященный, хотя ответ знал.

— Плохо, ваше преосвященство. Едва хватает на хлебушек. И на свечи не хватает. Воск на свечи подарил Антон Худога, бортник наш.

— А на вино хлебное хватает?

Агафон виновато молчал.

— Сколько тебе за наперсный крест дали?

Опять заплакал Агафон.

Побывал преосвященный и в его доме — ужаснулся запущенности и нищете. Два жалких закопченных горшка на загнете печи, миска с деревянной ложкой на столе, деревянная бадейка с водой и большой деревянной кружкой на табурете. Песок на полу, давно не беленая печь, немытые окна… Воистину мерзость запустения, реченная пророком Даниилом. Единственное утешение — высоко в красном углу за вышитым рушником — скорее всего, подарок прихожанки — пряталась иконка Богоматери.

— Один живешь?

Тоже можно было не спрашивать. Скорее всего, не успел до рукоположения подыскать достойную звания матушки супругу, а теперь уже не имел права.

— Вызовем тебя на спрос в консисторию, — сказал, прощаясь, преосвященный. — Будешь пить вино — извергнем из сана.

Агафон мелко затряс головой, дескать, понимаю, принимаю, согласен.

Надо бы немедля расстричь пьяницу, но найти походящего священника на его место тоже непросто. Храм без священника — хороший повод для униатов привести своего.

Был и еще грех у Агафона: лазал по деревьям с бортями, воровал мед и у шляхты, и у крестьян. Но особо строго Конисский его не увещевал: и без того был уже наказан — свалился с дерева, искусанный пчелами, отлеживался весь месяц.

— Воруешь медок, Агафон, у крестьян?

— Нет, владыко! — вдруг запротестовал тот. — Только у шляхтунов!

— А у шляхтунов можно?

Молчал, свесив голову набок.

Когда вышел из дома, увидел, что за воротами собрались прихожане, в большинстве женщины: слухи разлетаются в таких городках быстро. «Благословите, ваше преосвященство!» Он охотно и щедро благословил. А еще спросил: «Знаете, кому отец Агафон продал крест?» — «Знаем, святой отец, знаем! — ответил хором. — Камейша это, бондарь. Ходит с его крестом в церковь, похваляется! Уж мы его срамили, денег собрали, чтоб выкупить крест, только смеется…» — «Передайте, чтобы вернул крест. Иначе останетесь без священника. Нельзя служить без креста». Еще раз благословил женщин.

Женщины плакали от умиления, глядя на епископа, а отец Агафон бежал следом за каретой, и лицо у него было счастливое, словно преосвященный его облагодетельствовал. Похоже, не поверил угрозе извержения из сана: добрыми были лицо и голос преосвященного. Конисский и сам знал за собой такую слабость, но кроме прирожденной доброты была ей еще причина.

На третьем году обучения в Киево-Могилянской академии он подружился с Васей Гудовичем, мальчиком-соземцем, с которым знаком был еще по Нежину. Вася был на год или два моложе, робок душой и тщедушен телом, он прилепился к Георгию, как к старшему брату, да и Георгий относился к нему, как к родному человечку: хвалил, журил, помогал в учебе, в которой Вася был не силен, а по-видимому, и не хотел учиться. Был момент, когда руководство академии вознамерилось и вовсе отправить его обратно в Нежин, к родителям, было устроено собрание для решения судьбы, — тогда-то во спасение друга и предложил Георгий в качестве последней меры подвергнуть его телесному наказанию — дать тридцать розог, что и было сделано в тот же день. Экзекуция производилась в нарочно отведенной для этого маленькой комнатке, в которой имелся лишь голый деревянный топчан, обтянутый телячьей кожей, для наказуемого да бадейка с водой для розог на маленьком столике. Георгий стоял у входа, уже страдая, совестясь от своего предложения, прислушивался, но ни звука не долетало из-за плотно закрытой двери. Он надеялся встретиться с Васей и со слезами простить друг друга, ибо «*если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших*». Но открылась дверь, Гудович вышел, увидел Георгия и отвернул заплаканное лицо. Конисский долго потом, представляя его тощие исполосованные до крови розгами ягодицы, проклинал себя за торопливые необдуманные слова. Было в тех словах нечто постыдное, к судьбе Васи отношения не имевшее, себялюбное — хотел выделиться перед лицом ректора духовной академии и возвыситься над иными учащимися. Снова и снова пытался подружиться с Василием, призывал словами Евангелия от Матфея: «*Если же согрешит против тебя брат*

твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего», — я, я, твой согрешивший брат, обличи меня!

Но Василий Гудович оказался гордым, не захотел простить, а скоро и вовсе покинул академию.

В Мстиславском Тупичевском монастыре месяц назад случилась беда: убили настоятеля. Как стало известно, настоятель давал деньги в рост — и своим монахам, и приходящим мирским. Шила в мешке, говорят, не утаишь, молва о его богатстве разошлась по городу, нашелся и лихой человек. Но следов преступления не было. Преосвященный собрал всю братию. «Не только убиенного, но ваш это общий грех. Забыли, что говорит Псалтирь? *«Господи! кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного!»* Стыдно перед униатами и католиками. Стыдно перед Богом. Долго теперь придется вам замаливать этот грех, чтобы заслужить прощение — и людей, и Бога». Говорил он страстно и долго, и братия в полной тишине, но, показалось, равнодушно, слушала его.

Теперь монастырь оказался вдовствующим, то есть без настоятеля. Относился он к Киевской епархии, и Конисский был не вправе назначать или предлагать настоятеля, мог он лишь наблюдать за поведением монахов и при надобности сообщать об этом Киевскому митрополиту.

Остановился преосвященный у отца Феодосия, и вечером к нему пришел монах Сергий. Пример настоятеля оказался заразительным, сообщил он: еще один монах — отец Антон, грешит тем же, что покойный настоятель. Правда, ведет себя осторожнее, в келье никого из мирских не принимает, встречается с ними в городе или где-либо в ближнем лесу, якобы выходя по грибы-по ягоды. Но доказать все это нельзя, ни улик, ни свидетелей нет. Может, и не один Антон грешен сребролюбием…

С печалью в сердце слушал Сергия преосвященный. Что делать? Можно было бы посоветовать Киевскому митрополиту перевести Антона в другой монастырь, но — не уличен. Многие монахи тяжело переживают такие перемены, особенно если родились в ближних краях.

Сребролюбие — один из самых коварных, труднопреодолимых грехов. Сие одинаково и для русских, и для поляков, и для евреев. Вот и Ицхак Леви едва не в каждой проповеди твердит своим иудеям одну из заповедей Торы, на его взгляд, едва не самую важную: «Серебра своего не давай в рост и за лихву не ссужай своего хлеба».

Дом у отца Феодосия был довольно просторный. Имелось несколько больших спален: одна для дочерей, вторая для сыновей, третья для родителей, и особая спаленка для гостей. В каждой комнате стояла грубка, тщательно выбеленная, а в большой комнате печь была обложена зеленым немецким кафелем. Стоял дом при церкви, был обнесен забором: все ж таки не должно духовное лицо обретаться на виду у всех жителей. Имелся при доме сарай для коровы с подтелком, конюшня для рабочей лошади и двух выездных коней, хлевушок для овец и свиней. Был глубокий погреб с ледовней. Имелась и банька, которая порой использовалась как медоварня. Жители города были небогаты и потому прижимисты, так что рассчитывать приходилось прежде всего на себя и свою семью.

У монаха физических удовольствий не так много, и одно из них — баня. Потому, если случалось бывать во Мстиславле, преосвященный не отказывался от всегдашнего предложения благочинного Богоявленского храма Феодосия. Случалось ему бывать в банях Киева, Варшавы, Санкт-Петербурга и,

конечно, Могилева, но лучше всего — физически и душевно — было у Феодосия. Благочинный был славный человек, добрый и гостеприимный, может, разве слишком молчаливый, но и преосвященный не любил сыпать словами. Он же, благочинный, выступал в роли банщика. Укладывал преосвященного на живот, делал на его спине веником три креста, а потом уж угощал хорошим паром. Попарившись и помывшись, они садились за стол, подолгу в тишине прихлебывали обжигающий чай. Матушка Анна заваривала чай с лесными травами, подавала маковые пряники с медом, пироги с яблоками или вишнями. Утолив первую жажду, снова отправлялись «допариваться». Вот тут-то и происходила главная экзекуция, на которую епископ соглашался покорно и молча. Благочинный выкладывал на его спине четыре дубовых веника и, пробормотав «прости, святой отец, прости Господи», угощал преосвященного такой водичкой, какую не выдержать, если б не плотные веники. А тогда уж, накинув на себя простыни, галопом на Святое озеро, если пора года оказывалась летней, а время суток темным. Озеро рядом, на краю города, доезжали за четверть часа.

Входили, оглядевшись, чтобы никто не заметил их за таким не грешным занятием, в нательных рубахах в теплую воду, молча наслаждались покоем и тишиной. Тишина здесь всегда стояла, как в первый день творения, а небо, звезды говорили о вечности и призывали к себе. Для верующего во Христа человека этот зов особенно внятен. Существовала легенда, что уже в христианские времена провалилась православная церковь по какой-то причине и на ее месте возникло хорошее озеро с чистой и мягкой водой. Поговаривали, что в праздничные дни, особенно на Святую Троицу, доносится колокольный звон из его глубин — однако услышать его может лишь безгрешный человек после причастия. Так это или не так, но и благочинный, и преосвященный нет-нет да и внимали: не послышится ли?

Однажды к ним присоединились предводитель дворянства Ждан-Пушкин, обер-комендант города Родионов, городничий Волк-Леванович. Пьяно шумели в бане, причем только обер-комендант вел себя пристойно, а Ждан-Пушкин стонал и охал, будто его стегали сыромятным кнутом, Волк-Леванович верещал, будто поднимали на дыбе. Ухали-охали за столом у матушки Анны, обжигаясь горячим чаем, потом понеслись на тройке к Святому озеру, плавали в темноте со смехом и воплями, наделали шума на все немалое озеро, а возможно, на весь город. Больше отец Феодосий не приглашал их.

Говорили преосвященный Георгий и благочинный Феодосий мало, однако обойти старую боль не могли: как противостоять кармелитам, иезуитам, униатам, которые тащат христиан в свои храмы? Только умной проповедью, проникновенной молитвой. Несчастье с настоятелем Тупичевского монастыря стало известно всему уезду. Как оказалась кстати эта печальная история мстиславским инославным, как подходяща для совращения православных!

Спал преосвященный в Мстиславле обычно спокойно и крепко. Но в этот раз не мог уснуть. Задремал лишь под утро, а проснулся — возчик уже запрягал коней. Позавтракали, матушка Анна, как всегда, положила щедрый узелок в кибитку — и в путь.

* * *

Путь предстоял дальний — в Костюковичи, где, по доношению, священник уличен в прелюбодеянии. Не столь уж редкий случай, хотя и наказывался этот любострастный порок всегда сурово. Год назад преосвященный лишил

иеромонаха Спасского кафедрального монастыря Палладия и священства, и монашества.

Ехали, однако, не торопясь, останавливались во всех малых городах, местечках и селах, где имелись церкви: когда еще выпадет случай побывать здесь, да и людям поглядеть и послушать епископа — немалое событие, а православию поддержка.

При въезде, конечно, колокольного звона не было, поскольку не знали, что едет епископ, но поняв, кто приехал, звонили долго и радостно, и скоро у церквей собиралось много людей, приходили и католики, и униаты. В этой стороне Белоруссии православие пока преобладало, и прихожане не без гордости глядели и на епископа, и на инославных.

Приехали в Костюковичи поздно, было темно, а человек, которого спросили о гостевых номерах, даже не знал, что это означает.

— Где можно переночевать? — взялся объясниться с ним возчик Тимофей.

— А кто вы такие?

— А тебе что за дело?

— Есть дело. Если хорошие люди — одно, плохие — другое. Православные или униаты? А может, иезуиты?

— Православные. Епископ Могилевский Георгий.

Тот молча осваивал новость.

— Быть не может! — Но, подумав, поглядев на хороших лошадей и карету с православным крестом, видно, поверил. — Нет, ко мне нельзя. Тесно у меня.

— А к кому можно?

— Не знаю. У всех тесно… Тебя к себе возьму, а епископ пускай к батюшке православному едет.

— У него не тесно?

— Как не тесно? Пятеро деток и хозяйка больная, лежит который год. Показать, как ехать?

Так преосвященный оказался в доме священника Тарасия.

Дом был из двух комнат и кухни. Первая, передняя, была разделена тяжелой домотканой занавесью на столовую и кухню. Здесь же на грубой деревянной кровати спал старший, лет двенадцати, мальчик. У окна стоял довольно широкий обеденный стол с табуретками. На подоконнике глиняный горшок с цветами.

Священник был молод, лет тридцати пяти. Он смело открыл дверь, не спросив, кто и откуда столь поздний гость, провел в дом и по облачению тотчас догадался, кто перед ним и по какой причине. Тем не менее его все это не смутило, он помог преосвященному разоблачиться, разбудил мальчишку и перевел в другую комнату, освободив кровать для епископа. Однако спать им в эту ночь не пришлось.

— Знаешь ли, отец Тарасий, зачем я к тебе приехал?

— Знаю, ваше преосвященство, — твердо и решительно отозвался тот.

Быстро и привычно принес из сенцев кувшин, налил кружку молока, достал из комода четверть каравая хлеба.

— Не хлопочи, батюшка, — сказал епископ. — Лучше поговорим.

Разговор их затянулся почти до утра. Оказалось, Тарасий закончил духовную семинарию в Киеве, завел семью сразу после окончания, рукоположил его покойный епископ Иероним Волчанский в Костюковичский приход, поскольку здесь жили отец-мать. Жена родила пятерых ребят, но уже три года не встает с кровати, помогать ему приходит хорошая православная женщина, — вот и получилось, что согрешил, и женщина эта родила ему дочку, которая для него — свет в окошке.

Разговор был неторопливый, откровенный, спать не хотелось, и неожиданно для себя преосвященный рассказал о своих покойных уже родителях, о городе Нежине, где родился в небогатой шляхетской семье, об отце, сотенном уряднике Нежинского казачьего полка, а затем и бургомистре Нежина, о доброй матери. О том, как решил посвятить жизнь Богу, услышав рассказ матери об одном из своих пращуров старце Иове Конисском, совершившем подвиг иночества в Пустынно-Николаевском монастыре. И о собственном торжественном пострижении, которое совершил Киевский митрополит.

На рассвете кто-то постучал в окно комнаты, где они сидели. Тарасий вышел, и преосвященный услышал неразборчивые слова: «Батюшка… батюшка… скорей, батюшка…»

Оказалось, зовут в одну из деревень на соборование старика. «К заутрени не успею», — сказал Тарасий, прощаясь.

Утром пришла женщина убираться и кормить детей, Конисский понял, что это и есть помощница Тарасия. Она тоже догадалась, что гость духовного звания, неуверенно попросила благословить. Первым делом она вошла в большую комнату, где лежала хозяйка дома, взялась ее обихаживать. Послышались и голоса детей. Преосвященный переоблачился в простую ризу, набросил на плечи омофор, не открывая дверь, перекрестил семейников отца Тарасия и вышел.

Такие города и местечки он видел не раз. Несколько улиц, излучина небольшой реки внизу холма, колодец-журавель, две старые церквушки, скорее всего, одна униатская. Люди из соседних хат с удивлением и почтением поглядывали на него.

Возле одной из церквей увидел свою карету и запряженных лошадей. Это, конечно, его возчик поднялся, собрался, разузнал, где православная церковь, и конечно, похвалился, кого привез, — вдруг начали звонить колокола, радостно, торопливо, взахлеб. Слух о приезде епископа уже распространился, люди собирались, чтобы взглянуть на него.

— Ваше преосвященство… батюшка наш… святой отец… — слышалось со всех сторон.

Он подошел к Тимофею.

— Рано запряг, — сказал ему. — Буду заутреню служить.

— Поесть бы! — сказал на это Тимофей. — Я с тобой, батюшка, опять совсем оголодал. Сам не ешь и меня заморил.

— Хозяин тебя не покормил?

— Ага, покормит. Я уже подумал — неправда, что православный, иезуит или униат… Молока дал с хлебом. А я бы каши две миски.

— Потерпи, покормимся после заутрени.

Прав был Тимофей: сам преосвященный мог забыть о еде на весь день.

Людей в церквушке собралось немало, и дети явились, и старики.

Церквушка была, конечно, бедной, но содержалась в чистоте и порядке. Светились лики Христа и Богоматери, Тайная вечеря напоминала прихожанам о последнем земном дне Спасителя, слева и справа стояли два многосвечника. Преосвященный с привычным удовольствием взял кадило, вышел к алтарю, взглянул на лица людей и сразу же почувствовал тепло, шедшее от них к нему.

Хор — несколько человек, — стоявший на левом клиросе, пел слаженно, видно, отец Тарасий любил церковное пение и занимался с певчими. Привычные слова молитв не мешали мелькать коротким мыслям.

Доношение о чьем-то грехе — не грех, — думал он. — Но кто из вас послал доношение на владыку Тарасия? Составлено оно было малограмотно, неуклюже, но все же писать человек умел. Кто? Может быть, доноситель

некий православный шляхтич, строго блюдущий евангельские заветы? Или кто-то из вас, глядящих сейчас на меня и нетерпеливо жаждущих наказания согрешившему иерею? А может, униатский священник, желающий овдовить приход, чтобы волей-неволей его прихожане оказались в унии?

— Аз грешный раб Божий припадаю к вам всем святым, приимите мя грешнаго и скквернаго и сохраните мя во вся дни и нощи и на всяк час на пути и в дому и в всяком месте... — С верой и любовью смотрели на него люди, с благодарностью, что он, епископ Белорусский, с ними. Наверно, для них это было предзнаменование, обещание если и не вечной жизни, то земного благополучия. Также и он пристально вглядывался, чтобы запомнить как можно больше лиц, дабы узнать их в грядущей жизни. — *Молитеся за окаянную ми душю Богу вседержителю, Ему же слава, честь и поклоняние...*

Отец Тарасий появился, когда заутреня завершалась.

— Благословите, святой отец, — тихо сказал он.

Преосвященный перекрестил его:

— Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Епитимья тебе — чтение Акафиста святому Ангелу Хранителю сорок дней и по сто поклонов до заутрени.

— Исполню, ваше преосвященство, — покорно ответил Тарасий.

Иоганн Фонберг, отец.
Пирог от Луизы

Известно, дни в сентябре короткие. Но мосты были построены, работы на дворце тоже заканчивались. Оставалось поднять стропила и накрыть гонтом. В приложении к чертежу дворца, присланном из Петербурга, указывалось, что крыша может быть и соломенной, дескать, Россия есть Россия, императрица будет довольна, но Родионов пришел в ужас от такого предложения: а если пожар? Сколько крестьянских хат сгорело на Мстиславщине за один год?! Что если императрица приедет на пепелище? Конечно, гонт — дополнительные расходы, за ним надо ехать в Могилев или Смоленск… да хоть в Москву или Петербург!

На всякий случай определили к дворцу двух сторожей: один наблюдал до середины ночи, второй — до утра. Стояла осень, время гроз миновало, но кто знает, как и почему загораются деревянные дома…

По вечерам, наскоро поужинав с Зосей, Юрген по-прежнему отправлялся на еврейскую слободу. Зося поглядывала на него укоризненно, а на слова «скоро вернусь» лишь молча пожимала плечами.

Еврейская слобода в такое время была пустынной, улица короткая, сразу за ней начинался небольшой перелесок — там они и встречались почти каждый вечер. Встречались ненадолго: полчаса и — бегом назад. Случалось, что уже и через полчаса ее ждала у дома некая темная фигурка — или мать, или отец, или кто-то из братьев. Юрген возвращался по другой улице.

Может, потому, что набрасывала на себя легкий шитый бисером еврейский камизольчик, руки у нее были всегда холодные, но лицо горело, и по-прежнему было непонятно, почему даже в полной темноте так светятся глаза. «Ты еще побудешь? Не уезжаешь?» — едва не каждый раз спрашивала она. Тревожно заглядывала в глаза, до боли сжимала его пальцы в холодных руках. Но иной раз твердила иное: «Уезжай. Уезжай поскорее. Я больше не могу». — «Ты п-поедешь со мной». — «Нет! — почти выкрикнула она. — Не могу. Не хочу». — «Остаться мне здесь?» И в ответ услышал почти такой же ответ.

Теперь Моше Гурвич никогда не смотрел ему в глаза, отводил взгляд, потупливался, если Юрген обращался к нему по работе.

Самым неожиданным для местных евреев оказалось то, что однажды Юрген пришел в синагогу. Сел в углу и просидел до конца моления, хотя, конечно, не понимал ни слова и ни с кем не пытался заговорить. Евреи озабоченно оглядывались, молодые сдержанно посмеивались, раввин… взирал на них осуждающе и доброжелательно на Юргена, по окончании моления хотел подойти, но тот сразу ушел. Разговоров об этом его посещении было так много, что Гурвичи перестали посещать синагогу. Но еще больше разговоров было среди православных. Городок малый, и слух о том, что Юрген ходил в синагогу, пошел по городу, что, конечно, у всех вызвало удивление и всем доставило радость. В работе на дворце мужики были послушны и уважительны к Юргену, но во всем остальном считали немца слабачком, если не простофилей, и тоже с удовольствием посмеивались над ним, как посмеивались и над евреями. Конечно, евреи умны, хитры, а все равно — куда им до православных, ни икон на стенах, ни алтаря, ни царских врат. Те же, кому посчастливилось побывать в Смоленске да в храме Успения Богородицы, вовсе ликовали: вот она, настоящая православная красота! А Бог красоту любит. У евреев же стоит посреди стол с Торой… Что это? Не на чем душу отвести. Но все же чем-то они с немцами схожи: у тех тоже ни икон, ни алтаря, ни царских врат… Каждый день интересовались у знакомых евреев: больше не приходил? Пробовали заговорить и с Юргеном: «Пан розмысл, наша вера лучше. Переходи к нам». «При чем тут вера, — говорили другие. — Девка там. Сила страшная для молодых».

По чертежу из Петербурга дворец должен быть довольно простым: на первом этаже обеденная зала, на второй собственно почивальные покои для императрицы с прислугой. Никаких украшений не предполагалось. Однако Юрген Фонберг, познакомившись с плотниками и узнав, что есть среди них мастер-резчик по дереву, решил сделать витые колонны при входе, небольшую смотровую площадку на втором этаже, резные наличники. Такая работа сильно задержала строительство и, конечно, удорожила стоимость. Обер-комендант Родионов был возмущен. «Что если императрица выедет из Петербурга завтра?» — «Завтра она не выедет, — отвечал Юрген Фонберг. — Нам сообщат о сроках заб-благовременно. Мы успеем». — «Но где взять денег на твои колонны и наличники?» — «Деньги есть. Вы п-платите мне сто золотых? Этого вполне хватит». Родионов с раздражением глядел на этого заикающегося упрямца. Прикажи дураку молиться, он и лоб расшибет, — говорило его лицо.

Почта работала исправно, и раз в неделю Юрген получал письмо от родителей, а то и посылку. Конечно, вся немецкая община знала, какое почетное задание выполняет в Мстиславле сын Фонбергов, гордилась таким выбором губернатора Энгельгарда, но знала и о поездке Луизы Пфеффель в Мстиславль, и даже о ее слезах, пролитых по дороге, хотя лично никто из могилевских немцев этих слез не видел. Вот об этом и написал отец Юргену, после того, как Луиза возвратилась. «Надеюсь, ты ее не обидел, — писал отец. — А если обидел, так напиши ей, что Фонберги люди надежные и все будет хорошо». Убеждать, что он не обижал Луизу, было бессмысленно, и отвечать Юрген не стал. Тем более что предстоял куда более серьезный разговор. Близился большой православный праздник, Воздвижение Креста Господня, то есть выходной день, и накануне его Юрген намеревался поехать в Могилев, поговорить с родителями о Ривке.

Поехать, однако, не довелось. Перед Воздвижением в город явился еще один нежданный здесь человек: Иоганн Фонберг. Он знал, где искать сына, и

сразу направился к дворцу. Явная тревога отражалась на его лице, в походке: то ускорял, то замедлял шаги, беспокойно вглядывался в лица встречных. Почтовая станция располагалась на краю города, но от центра недалеко. Вот и дворец: уже поднимались стропила. Сочно вгрызались в сосновые бревна топоры, звенели пилы — знакомая картина, всегда поднимающая дух. Однако нынче у Иоганна Фонберга были иные заботы. Он обошел вокруг дворца, отметив мимоходом и по привычке, что сруб выложен правильно, слои мха меж бревен достаточны, углы вырублены плотно, но выражение его лица по-прежнему минута от минуты менялось: то возникало удовлетворение, то его сменяла тревога.

— Где немец? — обратился к мужикам-плотникам, зная, что именно так называют сына в Мстиславле.

Посмотрели на него с интересом: что-то не свое почудилось и в коротком слове, и в голосе.

— На Печковском мосту. Балясины ставить, каб не свалился хто в речку на Здвиженне, — ответили не без лукавства в лице и голосе.

Где Печковка и как туда пройти, объяснять Иоганну Фонбергу не требовалось. Через четверть часа он уже подходил к окраине города. Оглядывался вокруг с интересом: ничего не изменилось за прошедшее время — и это хорошо. Ноги сами, казалось, отыскивали тропинки. А когда подошел к краю холма, на котором стоял город, и увидел далеко внизу ленту Вихры и мост, даже взволновался на минуту-другую: мало он пожил здесь, но то было хорошее время. Обер-комендант, все городские паны, господа, купцы и простой люд оказывали и ему, и сыну полное уважение.

Сына Иоганн Фонберг увидел издалека, но сразу подходить или окликать не стал, напротив, приостановился, наблюдая за ним, и снова менялось выражение его лица: радость сменялась заботой. Но так как одиноко стоящий человек тоже привлекает внимание, Юрген заметил отца и быстро пошагал навстречу. Встретились, коротко обнялись. Пока шел к отцу, сообразил, о чем неминуемо пойдет речь, так что озабоченность возникла и на его лице.

— Работай, — сказал отец, — вечером поговорим. — Отправился вдоль реки.

Когда слух о Юргене и Ривке достиг Могилева, а там и немецкой слободы, в семье Фонбергов состоялся большой совет.

— Он с ума сошел, — сказал брат Фридрих.

— Помешался, — сказала сестра Эльза.

— Рехнулся, — сказал брат Карл.

Остальным братьям и сестрам тоже было что сказать, может быть, не менее умное, а может, и глупое, но они пока воздержались и поглядели на отца: что скажет он?

— Нет, он просто заблудился. А заблудился потому, что не все знает. Он не знает, что мы, немцы, живем на этой земле уже сто лет и ни разу — слышите, ни разу! — ни один человек не изменил своему народу. Ни мужчина, ни женщина. Ни молодой, ни старый. — Он говорил негромко, неторопливо и глядел на всех поочередно. И все понимали, что слова его относятся не только к Юргену.

— Немцы должны жениться на немках, евреи на еврейках, литвины на литвинках. Люди должны точно знать, кто есть кто. «Вон стоит немец Пфеффель!.. Это пошла еврейка Роза!.. Это шагает белорусец Степа!» А если немцы станут жениться на еврейках, что получится? «Вон стоит немецкий еврей Пфеффель!.. Это пошла еврейская немка Роза!.. А немецкий белорусец Степан? А немецкий литвин Андрон или Софрон? Как вам нравится? Да спадобы, как говорят здешние люди?

По лицам сыновей и дочек было понятно — нет, не нравится, хотя и интересно.

— А тайны? — продолжал отец. — У каждой нации есть свои тайны. И разрушать их нельзя, потому что это тайны жизни. В них ответы на все вопросы, и в том числе, как одному народу жить рядом с другим! Как нам, немцам, среди белорусцев! Как — рядом с евреями! С поляками! Литвинами! И тот, кто эту тайну понял, будет еще сто лет спокойно жить на этой земле…

Три года назад, в это же время, Иоганн Фонберг шел по берегу, прощаясь с городом. Так же горели на холме березы и клены, а за рекой медью и золотом отливала стена молодых сосен. Он хорошо справился с работой, заслужил благодарность городских властей и жителей, был горд собой и своим сыном, вполне освоившим искусство строительства таких мостов и, следовательно, обеспечившим себе благополучное будущее. Сейчас Иоганн Фонберг еще больше гордился сыном, таких молодых мужчин в немецкой слободе в Могилеве больше не было, и единственное, что беспокоило отца, — слухи, долетевшие в Могилев о его молодом увлечении здешней еврейкой. Увлечение — это бывает, это нормально, а может, и хорошо, это естественное состояние молодого мужчины, которое, однако, может перерасти в опасное чувство и изменить жизнь. Вот этого допустить было нельзя, потому он и приехал сюда, истратив немалые деньги на почтовых лошадей. Портной Пфеффель, узнав, что он едет в Мстиславль, принес двенадцать рублей — половину суммы, требуемой на почтовых, но Иоганн отказался их принять: Фонберги свои проблемы решают сами. Теперь он ходил по берегу Вихры и думал о том, как и когда начать этот главный разговор.

Нет, ни гулять вдоль берега, ни работать не получалось. Очень скоро они сели в бричку и поехали в город, в корчму Семы Баруха. Увидев Иоганна Фонберга, Сема возликовал, а здороваясь, даже прижался лбом к его груди. Обслуживая столь желанных и почетных гостей, каждым жестом подчеркивал свое предельное уважение. Поговорить Сема любил, но видя, что отцу и сыну нужно побыть вдвоем, не приставал, лишь только поинтересовался:

— Надолго к нам, пан Фонберг?

— Нет, завтра обратно.

— Завтра? — с отчаянием переспросил он и воздел руки к небу. Впрочем, тут же уронил их, опустил тяжелые веки, дескать, что поделаешь, у каждого своя жизнь, свои заботы-хлопоты, но жаль, жаль…

Иоганн Фонберг был человек молчаливый. Не проронил за столом и десяти слов, а закончив обед, протянул сыну узелок, который привез и носил с собой.

— Пфеффели вчера приходили, — сообщил спокойно и, казалось, равнодушно. — Это Луиза испекла для тебя.

— Пока не хочется, — попытался было возразить Юрген.

— Попробуй, — настойчиво сказал отец.

Пирог оказался вкусным. Отец смотрел на Юргена, словно говорил: то-то и оно. Затем достал из узелка мешочек с сыром особого приготовления. Так в Могилеве делали сыр только Пфеффели.

— Тоже Луиза, — пояснил Иоганн Фонберг.

— Я сыт, отец.

— Попробуй. Вкусно? То-то и оно.

Но нет ничего важнее работы. Отобедав, Иоганн Фонберг отослал сына на стройку, сам же пошагал по городу, вероятно, имея собственную цель.

Вечером снова встретились. Теперь уже Юрген беспокойно вглядывался в отцовское лицо: очень явно удовлетворение запечатлелось на нем. Чем оно вызвано?

Переночевать Иоганн пришел к сыну, и Зося с радостью встретила его. Предложила щей, поставила самовар, принесла кулич собственного приготовления и буквально впивалась в глаза Фонберга-старшего, хотя и молчала почти весь вечер. Постелила ему на своей кровати, сама взобралась на печь, а плату за постой брать категорически отказалась.

— За что? Это никак не можно. Что ж я, совсем? Не, не могу…

Почтовая карета на Могилев отправлялась в шесть утра, и Зося, любительница поваляться в постели, поднялась рано, снова поставила самовар, приготовила кое-какой завтрак, а прощаясь, улыбалась и стояла на пороге, пока они с Юргеном не скрылись за поворотом.

— Вот это я понимаю, — повторяла она весь следующий день. — Вот тебе и немец! Вот это да…

В доме Моше Гурвича в тот вечер тоже состоялся интересный разговор:

— Ты еврейка, дочка, он немец. Зачем это тебе и зачем всем нам?.. К нему невеста приезжала, ты это знаешь? Очень хорошая девушка, у них уже сговор был. Что ты молчишь?

Но все дети в семье Моше Гурвича были воспитаны так, что если говорит отец, они молчат. И даже если закончил говорить, все равно молчат. Слово может сказать только мать, но и ей лучше молчать, потому что главное и мудрое уже сказано.

— Надо с этим немцем поговорить, — подал голос Нахум, старший брат Ривки, который славился на еврейской слободе нехорошим характером.

— А вот этого не надо, — тотчас отозвался Моше Гурвич. — Если у тебя чешутся кулаки, чеши их здесь. Мы тут живем двести лет и ни разу в холоднице не были. Ты хочешь познакомиться с капитан-исправником Волк-Левановичем? Ничего интересного в его холоднице нет. Суп дают раз в день, а ты любишь вкусно поесть. И платить за такой суп нужно много.

— Какой суп? — вступила в разговор мать: на эту тему ей позволялось выступить. — Дадут пареной репы — кушай. Ты хочешь пареной репы?

Нахум молчал, и отец успокоился.

— Приезжала не только невеста Юргена, приезжал Иоганн, отец. Мы с ним встретились и поговорили. Очень умный человек, никаких глупостей он своему сыну не позволит… И вообще, мало ли у нас на Слободе хороших парней? Чем тебе не хорош Давид-столяр? С ним крыша не потечет, в окна дуть не будет… Ави, — обратился Моше к младшему сыну, считавшемуся в семье самым умным, — скажи что-нибудь своей сестре!

Ави, прежде чем заговорить, прошелся по комнате и подумал. Он всегда долго думал, и потому слушали его внимательно.

— Я скажу, что моя сестра любит все красивое, — начал он. — Помните, какие у нее были куколки? А в какие платьица она наряжала их?.. Нет, абы в чем моя сестра на свидание к немцу не ходит. Она надевает бабушкин камизол, мама, шитый бисером, который подарил ей на свадьбу с дедушкой ребе Басс.

— Мне не жалко, — сказала мать. — У нас одна дочка, некому носить.

— А подпоясывается она парчовым брустехом, который подарил вам с папой на свадьбу дядя Яша из города Бобруйска.

— И брустеха не жалко. Ну, мать — понятно. Она согласится с чем угодно, только бы было тихо в доме.

— А еще я хочу сказать, что на дворе осень, холодно. Пускай моя сестра надевает вечером на голову праздничный харбанд с голландскими кружевами, который нашей прабабушке подарил прадедушка.

Вот такой был Ави: начнет говорить — не остановишь. Вспомнит все, что другие забыли. Уже давно стемнело, а он все говорил и говорил.

— И еще я хочу спросить: где они будут жениться? В синагогу немец не пойдет, ему там делать нечего. Значит, Ривка пойдет в немецкую церковь. Но немцы не православные, и немецкой церкви тут нет. Ладно, есть в Могилеве. И какая это будет свадьба? Во имя Иисуса?.. Жизнь у вас будет как сплошной праздник. Их Рождество и наша Ханука, наш Песах и христианская Пасха. А детки пойдут-побегут… Кто они будут? Какого народа детки? А? Что молчишь?

И тут все увидели, что Ривки в доме нет. Свечу сегодня не зажигали, и никто не заметил, когда она улизнула.

Пропало желание говорить. Беда в том, что упряма была Ривка — не переупрямишь.

— Ну и что с ней делать? — произнес Моше Гурвич.

Но и теперь все молчали, потому что если уж отец не знал, то что могли сказать все другие.

Что-то изменилось в лице Моше Гурвича после этого разговора. Печаль возникла, неуверенность. Казалось, что-то он потерял и никак не может найти.

Несколько дней спустя, улучив момент, когда плотники сели в стороне со своими обеденными узелками, Моше Гурвич подошел к Фонбергу.

— Отпусти ее, Юрген. Ты найдешь себе немецкую или русскую девушку. А мы найдем Ривке бедного еврея, и они будут хорошо жить. Мы ее не отдадим тебе. Да и сама она не захочет. Вы разве не говорили об этом?.. Мы знаем: счастья там, в Могилеве, у нее не будет.

В самом деле, зачем ему эта еврейка, хромоножка? Что, Луиза хоть в чем-нибудь уступает? Или жизнь его здесь, в Мстиславле, с Ривкой и евреями, будет интереснее и благополучнее, нежели в Могилеве с немцами и Луизой?

Холодным ветром веяло от их слов. Что же это? Почему ничтожная искра, попавшая в душу много лет назад, не погасла в сумятице дней, а живет непонятно где и зачем, тлеет, словно знает, что придет минута, мгновение, когда вспыхнет и зажжет и душу, и тело. И что теперь? Как погасить этот огонь, если от любого ветра он не гаснет, а лишь разгорается?

— Я здесь, в Мстиславле, останусь, — сказал Юрген.

— И здесь не будет. Бог ведь недаром разделил людей на евреев, русских, немцев и тысячу других народов. Надо жить так, как хочет Бог.

— Б-бог хочет, чтобы люди были счастливы, — сказал Юрген.

Но ни тем вечером, ни в следующие Ривка не вышла к нему.

«Боже, зачем ты создал евреев? — взывал к звездному небу Юрген, стоя на еврейской слободе напротив дома Ривки. — Особенно евреев-мужчин! Пускай все были бы немцами — и мужчины, и женщины! Пусть даже наоборот: пускай все будут евреями!»

Но даже калитка нигде не скрипнет на темной Слободе.

Тень вместо вещи, углие вместо сокровища

Была минута, когда преосвященный почувствовал, что устал. *«…Бедствуючи уже осьмой год тамо, немало повредил себе слух и очи и частые головные боли нажил, почему и управлятись по надлежащему не могу, для того отрешив меня от епархии, определить на безмолвное житие в какой-нибудь монастырь прошу…»*

Когда душевные силы иссякали, он обращался лицом туда, где, по его мнению, находилась Россия, а если стать лицом к северу, то находилась она

везде, и взывал: «Помоги же ты нам, православным, Россия!» Искал Петербург: «Помоги, царица!»

Священный Синод решил отозваться на мольбы Конисского и перевести его в российский город Псков, однако императрица Екатерина ответила коротко и строго: Георгий нужен в Польше.

А порой просто не хватало терпения. И *в рассуждении об умерительных средствах, коими мощию пресечение сделать обидам в Польше чинимым*, он предложил дать указание воинской пограничной команде схватить одного или двух главнейших гонителей православия и держать как заложников, *поколь протчие обидчики в страх достойный и надлежащее мирных с Россиею договоров хранение приидут…*

Душевная слабость, однако, была недолгой. Исполнилось ему в то время лишь сорок шесть лет.

Новый король Польши Станислав Понятовский должен был подтвердить полномочия епископа, и императрица Екатерина в рекомендательной грамоте предложила Конисского его вниманию и покровительству *на основании трактата… и по особливой к нам дружбе, дабы он по силе законов и прав непременно и безобидно сохраняем был в спокойном владении всего, что издревле к епархии Белорусской принадлежало… и чтоб вновь повелено было почитать и признавать его за сущего и настоящего епископа Белорусского, Мстиславского, Оршанского и Могилевского.*

Получил Георгий Конисский и очередную аудиенцию у императрицы. Прощаясь с ним, Екатерина Алексеевна изволила сказать, *чтоб он всем единоверным объявил, что Ее Императорское Величество начатой к ним милости продолжать не оставит.*

Преосвященный отправился в Варшаву. Ждал он сейма с нетерпением, и речь его была впечатляющей.

— Вера наша — единственное преступление, в котором нас обвиняют, — говорил он. — Мы христиане, но христианами же притесняемся…

Пять епархий имели право сохранить православие по договору 1686 года о вечном мире между Россией и Польшей, — ныне осталась одна, Могилевская.

Говорил на латыни, и многие паны наставляли ладони к ушам, пытаясь понять, чем недоволен православный епископ, о чем так страстно взывает. Отнимают у православных храмы? Но ведь передают их даже не католикам, а униатам, то есть церкви объединяющей. И разве могут они, униаты, забыть убийство в Витебске православными униатского архиепископа Кунцевича? Может быть, надо менять не положение православной конфессии, а главу епархии?

В ожидании королевских указов, составляя и раз за разом переписывая доношения и требования о восстановлении православных епархий, возвращения отнятых церквей, свободного обращения из унии в православие, Георгий Конисский продолжал жить в Варшаве. Он снова впал в крайнюю бедность и в очередном доношении обратился к Синоду с просьбой выслать ему хотя бы 500 злотых, «*…якож за самую голую квартиру принужден платить в месяц по двадцать червонцев… и если еще месяц хотя один проживу, то не будет чем и заехать в Могилев. В противном случае наставьте меня, как мне в таких трудных делах, в недостатке людей в помощь способных, да еще без денег, управляться. И если бы Ваше Святейшество благоволили по милосердию своему снять с мене это неудобоносимое бремя, под коим, видит Бог, уже совсем изнемогаю, то я бы таковому случаю далече больше, нежели каковым снабдением денежным, благодарнейший был*».

Тройку лошадей держал в Варшаве преосвященный и конюха-ездового из православных белорусов. Конечно, это дополнительные расходы, можно бы и пешком ходить по делам, но не должно ему, православному епископу, выглядеть забытым и брошенным российским Священным Синодом, совсем по-другому глядят польские паны и чиновники, если ездить на тройке. Однако похоже, что лошадей придется продать… Так же и одежды должны быть приличны.

Дома он носил старую рясу с подрясником, надевал крест и простую панагию с образом Христа, но если приходилось посетить российского посланника князя Репнина или королевские службы — полное епископское облачение: подризник, епитрахиль, саккос. Набрасывал на плечи и омофор с искусно вышитыми крестами, дабы напоминать всем о евангельском пастыре, несущем заблудшую овцу на своих плечах. Всем — и католикам, и униатам — было понятно, кого православный епископ считает заблудшими овцами. Панагию надевал бриллиантовую, ту, что когда-то подарила государыня императрица.

Комнат в его варшавском доме было пять: в одной он молился, в другой отдыхал, в третьей принимал гостей. Имелись обеденная комнатка и комнатка для бедных православных странников. И в каждой по две-три иконы Христа, Богоматери, святых апостолов. Но две иконы, Христа и Георгия Победоносца, висевшие в спальне, имели особое значение для него. Обе были подарены ему на рождение, Христа подарила мать, Георгия Победоносца отец, — заказывали образа местному нежинскому иконописцу, монаху Софронию. Может быть, и не слишком искусно выполнил Софроний заказ, но Георгий Конисский полюбил их с младенчества и никогда не расставался с ними. Впрочем, утро начиналось торопливой молитвой, хлопотами, день проходил в разочарованиях и надеждах, и только вечером он оставался наедине с Ними. Рассказывал, как прошел день, что намеревался сделать и что сделал, что не удалось и почему. Порой просто жаловался и просил помощи. И всякий раз после вечерней молитвы тихо повторял: «Люблю вас». Не так проста была жизнь православного в сугубо инославной стране. *«…укрепи во бранех православное воинство, разруши силы восстающих врагов, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится…»*

Нет, не презрение, не насмешки, но тайную, а порой и открытую иронию постоянно видел в глазах польских панов, чиновников да и простых ксендзов.

Куда бы ни направлялся, он всегда возил иконки с собой. Но когда ехал в Варшаву, через сорок, примерно, а может, и больше верст, вдруг вспомнил, что оставил их в Могилеве. «Назад! — крикнул Тимофею. — Поворачивай обратно!» Тот с полным недоумением оглянулся: так епископ еще никогда не кричал на него. «Назад! Назад!» — повторял Георгий почти в панике. Забытые иконы — недобрый знак. Они вернулись и остались еще на день. Вечером он долго молился, чтобы отвести беду, которую ему сулила такая забывчивость. Оставить Христа и своего ангела на долгие дни и месяцы — это был большой грех.

Потом, в Варшаве, уходя по делам, он всегда оглядывался в двери, словно хотел сказать: «Я скоро вернусь. У меня трудный день. Помогите мне». Возвратившись домой, первым делом шел к Ним: «Здравствуйте, — говорил тихо. — Я пришел. Думал о Вас и был с Вами». Казалось, лики на иконах светлели.

Он так долго жил с их именами, советовался с ними, что и Христос, и святой Георгий стали казаться родными. В трудные минуты спрашивал их: «Верно ли поступаю? Прав ли я, Господи? Не заблудился ли я, страстотерпче

Георгие?» И если не получал ответ, знал: не прав. Не так уж мало набралось вопросов, на которые он не получил ответа.

Порой он сожалел, что пошел по этому пути. Простые иереи служат Богу и людям, а что делает он? Говорит и говорит с чиновниками. Пишет и пишет жалобы…

Жить стало трудно, но и уехать нельзя: *сулят тень вместо вещи, а углие продают вместо сокровища.*

В это же время пришел рапорт из Могилевской консистории о новом насилии — отнятии церквей в деревне Осмоловичи близ Мстиславля *способом новым и доселе небывалым.*

Иезуиты во время нападения на православный храм сломали загодя ими же сделанный деревянный крест и обвинили православных *яко ругателей креста Господня, богоотступников и богоубийцев.* Суд, состоявший из католиков и униатов, присудил восьмидесяти православным или принять веру римскую, или будут четвертованы. Не должно казнить людей, даже соверши они такое преступление, но кто из крестьян знал законы? Спасаясь, прихожане кинулись в леса, но были пойманы и принуждены принять — одни католичество, другие — унию.

Обращались за поддержкой и с жалобами к Георгию Конисскому и православные Украины, и польские протестанты-лютеране, которым тоже приходилось несладко… «Господи, что же я могу сделать для вас? — взмолился однажды в душе преосвященный. — Я своим, родным православным не могу помочь!» Но жалобы продолжал принимать…

Главное, чего ради сидел в Варшаве Конисский, был Трактат о вечной дружбе, в котором было бы записано о свободе перехода в православие насильственно обращенным в католичество и униатство. Однако не поддержал его даже посол России в Польше князь Репнин. Возможно, то было решение императрицы, не желавшей новых политических осложнений с Польшей.

Время от времени, когда становилось ясно, как мало он сделал и может сделать для православия в Белоруссии, снова приходило желание передать свой епископский посох другому человеку, может быть, более сильному. Теперь он мечтал о тихой монастырской жизни в неприметном монастыре где-нибудь в лесах или на берегу реки, об опрятной маленькой келье с иконками Иисуса Христа и Георгия Победоносца. Ветхий и Новый Завет на столе, несколько старых рукописей — этого хватило бы на всю оставшуюся жизнь.

Вдруг понял, как легко, даже счастливо он жил до сих пор: учеба в академии, пострижение, преподавание… Как счастлив был, когда получил сообщение о назначении епископом в Могилевскую губернию. Грешно было так ликовать. Не что иное, как гордыня, было то ликование, — не смог смирить ее.

Порой казалось, что не только душевных, но и физических сил не осталось, чтобы продолжать борьбу.

«…прошу раболепнейше Ваше Императорское Величество повелеть освободить меня от звания моего епископского и дать в каком-нибудь из монастырей малороссийских уединенную келию, якож и силы моей совсем изнуренный больше мне тяжкого сего бремени носить не дозволяют».

Ответа не последовало.

Но Трактат о вечной дружбе был в конце концов составлен, и один из пунктов в нем гласил: *Кто бы от веры римско-католицкой перешел в иную, тот изгнанием из отечества будет казнен; те однак, которые учинили до сего времени, от казни всякой свободны.*

И тогда преосвященный разослал по всей Западной России призыв всем желающим перейти в православие, и сделать это срочно, до утверждения Трактата, заявив о своем желании в местных городских судах.

Через год сейм утвердил Трактат. Свобода вероисповедания в Польше обеспечивалась навечно.

Слава Тебе, Господи! Услышал нас.

Конечно, католичество было оставлено господствующей религией, измена ему считалась преступлением.

«Зде сейм завчера благополучно окончился, и дело наше вершено!»

Закончилось мучительное трехлетнее сидение в Варшаве.

Впрочем, опасения оставались. Ярость вызывал Трактат у многих католиков и униатов. Похоже, никто не собирался его соблюдать.

По дороге из Варшавы в Могилев епископ Георгий узнал об истязании православных в Старом Быхове униатами и католиками. Руководил ими Феликс Товянский, посыльный униатского Виленского епископа. Он же подбивал к выступлению шляхту Мстиславского воеводства. В Могилеве униаты скупили весь свинец и порох. По словам одного из могилевских иезуитов — порох уже на полку насыпан, остается только огонь приложить.

Но главное — было замыслено покушение на епископа Георгия, приуроченное к празднику Божьего тела. Предупредили об этом *достоверные люди.*

«Нет, скорее ты устанешь мучить меня, нежели я — терпеть мучения», — повторял про себя преосвященный Георгий слова Георгия Победоносца.

Несколько дней он отсиживался в Спасском монастыре, а затем «*тайно в полночь з города выехал и подвезенною гражданскою кибиткою денно и нощно в Смоленск бежал…».*

Возвратиться в Могилев он смог только через несколько лет, когда русские войска вошли на территорию Речи Посполитой. О, это была большая радость. Теперь он мог открыто признаться себе и другим, что всегда мечтал об этом. Именно о таком решении великой царицы он говорил на ее коронации: *«Спаси нас десницею твоею, и мышцею твоею покрый нас!»*

Когда Могилевская губерния вновь оказалась в составе России, и католики, и униаты испугались и затаились. Ждали: что будет дальше? Станет мстить Россия за унижение православия или нет? Похоже, что не станет. Да и зачем мстить, если один за одним униатские приходы возвращались к благочестию. Конечно, получал Георгий сообщения от священников, что смирение униатов показное, что прибегать к силе больше не решаются, но, как и прежде *при владении польском и раболепстве церкви нашей благочестивой, при каждом удобном случае обижают православных, кричат вслед, а то и в лицо всяческие оскорбления*. При том, что Трактатом это запрещено и грозит обидчикам телесным наказанием.

А в сентябре 1783 года случилось важное для преосвященного событие: он был возведен в сан архиепископа и назначен членом Святейшего Правительствующего Синода. *За претерпенные труды и непогоду…* Двадцати семи лет он был пострижен в монашеское служение Богу, на двадцать седьмом году служения стал архиепископом.

Однако спокойной жизни не получалось и нынче. Зимой и весной следующего года вдруг взбунтовались униаты Мстиславского уезда. В селе Подлужье шляхтичи взломали двери присоединившейся к православию церкви, привели униатского священника, приказали начинать литургию, а священный антиминс, лежавший на престоле, растоптали как схизматический.

Некий шляхтич Горлинский вместе с униатским попом избили священника Кострицкого, перешедшего в православие, а гвардиан, то есть, хранитель бернардинского монастыря Любавичей угрожал расправой прихожанам, *хотящим подписаться на дизунию.*

Напрасно! Целыми деревнями крестьяне возвращались в православие. Времена изменились, власть Речи Посполитой закончилась, ныне здесь земля великой России, значит, православная земля.

Поляк плохой и хороший

— Это что же, так и будем жить под рукой России? — произнес капитан-исправник Волк-Леванович, когда, как обычно, они с Радкевичем прогуливались по замечательному городскому саду.

Радкевич был большой любитель цветов, благодаря ему здесь каждую весну устраивали клумбы и засевали необычными для этих мест цветами. Причем предпочитал такие, чтоб, сменяя один другой, цвели и пахли все лето и осень. Прогуливаясь, он время от времени наклонялся, чтобы уловить аромат, и если запах был хорош и чувствителен, с улучшенным настроением шел дальше.

— Почему — под рукой? Мы теперь и есть Россия. Империя! — посмеиваясь, произнес он.

Но Волк-Леванович был равнодушен к цветам, и поклоны Радкевича его сердили. Тем более раздражал голос: судя по усмешкам, ему уже все равно — Польша, Россия… Только бы росли и пахли цветы. Значит, пятнадцати лет, прошедших со времени раздела Речи Посполитой, достаточно, чтобы переломить человека. Еще немного и станет он первым патриотом России.

Он, Волк-Леванович, уехал бы куда-нибудь ближе к Варшаве, но здесь, на Мстиславщине, ему принадлежали три небедные деревеньки, а что там? Здесь он капитан-исправник с хорошим жалованьем, а что — там? Что касается Радкевича, то его и силой отсюда не выгонишь. Сад и цветы на клумбах — только часть его непонятной страсти. Все знали, что и зимой, и летом по вечерам он то взбирается на Замковую гору, то идет к Тупичевскому монастырю, то в Лютненский лес — стоит над обрывами холма, глядит вкруг себя, дышит, как перед смертью, и улыбается неизвестно чему, почему и кому. Может, самому Богу? Или ангелам?

Волк-Леванович всегда подозревал Радкевича в малом патриотизме, в том, что он — плохой поляк, но что поделаешь, лучшего нет. Впрочем, Радкевич вовсе и не поляк, он литвин или белорусец, и слава Богу хотя бы за то, что католик. Не удивятся, однако, люди, если однажды поменяет веру, перейдет в православие.

— Империя! — повторил за ним Волк-Леванович, но морщась, будто хватил кислого. — Россия! И здесь Россия, и там Россия. И на севере, и на юге. Везде Россия! А главное, Сибирь — тоже Россия. Страшно!

— А морозы там, — сказал Радкевич, — птицы на лету падают. Но цветы выживают. Правда, там другие цветы. Интересно бы посмотреть. А как ты думаешь, скворцы в Сибири есть?

Ну вот, подумал Волк-Леванович, больше его не интересует ничего.

Самое смешное, однако, в том, что Радкевич приказал развесить скворечники в городском саду, и в тот период, когда они поют, подыскивая себе пары, он тоже приходил в сад и посвистывал вместе с ними. И получалось у него не хуже, чем у самых голосистых скворцов.

— Не позорься, — сказал ему Волк-Леванович на правах старого друга. — Свисти дома.

Но дома неинтересно. Иное дело — в саду, на рассвете, выбрав себе партнера и наслаждаясь весной.

— Идем, я тебе покажу место, где такой закат солнца — душа заходится, — вдруг предложил Радкевич. — Сейчас самое время. Это у деревни Здоровцы. Только быстрее надо. Пока дойдем… Успеть надо, чтоб только-только коснулось земли. Просто как ангелы его за край земли опускают. Осторожно так… На всю жизнь память.

— Не хочу я! — почти вскричал Волк-Леванович. — Что тебе эти закаты? Что — память? Нас, может быть, скоро заставят принять православие! Слышал? Епископ Конисский приедет. Думаешь, просто так? Показаться Екатерине?

Наконец Радкевич задумался.

— Нет, — возразил он, — Екатерина даже иезуитов поддержала. А Конисский уже приезжал в Мстиславль… Он только с униатами воюет.

— Разгонит униатов — возьмется за нас.

— Нет, этого не будет. Я был на его службе, когда приезжал прошлый раз. Ничего такого. Да и что он может? Наша вера — на весь мир.

Волк-Леванович загрустил: похоже, он терял приятеля.

— Послушай, — сказал он, — конечно, нам деваться некуда, нас уже проглотил этот левиафан. Но помнишь ли, что сказано в книге Иова? *Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов.*

— Ясно, помню. *Надежда тщетна: не упадешь ли от одного взгляда его? Нет столь отважного, который осмелится потревожить его.* Так что же ты хочешь? Что можем мы, слабые и одинокие? Христос заповедал учиться у Него смирению: *...научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем.*

— Надо хотя бы внутри себя помнить, кто мы. Если помнишь главное, тогда ничего не страшно. Тогда левиафан бессилен.

— А-а, это правильно, — с облегчением согласился Радкевич. — Это главное. В себе — это хорошо… Ну как, пойдем?

Но Волк-Леванович уже забыл, что предлагал Радкевич.

— Покажу тебе красоту. В самом деле, такого больше нигде нет. Главное, не опоздать. Пятнадцать минут — и нет его.

— Чего нет?

— Солнца. Осень впереди, глухая пора. Да и зима… Пойдем!

— Нет, — отрезал Волк-Леванович. — Мне надо по делам.

С сожалением глядел ему вслед. Что за страсти у него в голове? Будто можно насытиться красотой на всю зиму.

Ожерелье епископу

Вдруг стало понятно, что императрица выедет зимой, — дорога далека, всякие непредвиденные обстоятельства могут случиться, а князь Потемкин, конечно же, желает показать ей Тавриду, или, если по-татарски, *Кырым*, во всей южной красе. Однако — когда? Мысли об этом не оставляли Энгельгарда, тем более что он обязан был встретить императрицу на границе со Смоленской губернией и проводить до границы с Черниговской. Как ехать, через Мстиславль или Оршу?

Встречать государыню определенно захотят архиепископы Богуш-Сестренцевич, Ираклий Лисовский, Ленкевич и конечно Георгий Конисский.

Преосвященный уже не раз говорил пред ней — в Петербурге в 1762 году, на коронации императрицы, и в 1780 в Могилеве при заложении храма святого Иосифа, когда императрица приезжала на встречу с австрийским императором Иосифом Вторым, а также чтобы взглянуть на присоединенные белорусские земли. Во время закладки храма случилось неожиданное: ее жемчужное ожерелье упало в котлован. Ожерелье достали, и она тут же подарила его преосвященному Георгию на четки. А прощаясь, наградила бриллиантовой панагией. Видно, чем-то все же он особенно был ей по душе.

Генерал-губернатор Белоруссии Чернышев к приезду императрицы выписал итальянскую оперу, и Екатерина была весьма довольна. Семь дней провела она в Могилеве. Правда, дважды ездила в Шклов к своему бывшему фавориту Зоричу.

А вот к тогдашнему Могилевскому губернатору Петру Богдановичу Пассеку у нее нашлись претензии: более семи тысяч рублей недоимок насчиталось в губернии.

— Поедешь ли в Мстиславль, владыко? — спросил Энгельгард при встрече.

— Да! — ответил Конисский с вдохновением. — Известно уже, когда матушка выезжает из Петербурга?

— Нет, но думаю, после Рождества. Крайне — на Масленицу.

— Скорее бы! — воскликнул архиепископ. — И дай Бог ей счастливой дороги! — перекрестился.

Конисский многим был ей обязан. Конечно, и России, и ему, смиренному монаху, государыня Екатерина Алексеевна послана Богом. Однако он сильно был озадачен, когда она издала указ, отнимавший у монастырей и церквей земли. Были известны злые слова императора Петра Алексеевича о том, что многие бегут в монастыри не Богу молиться, а хлеб есть. Но ведь он, великий государь, не стал отнимать земли! Как теперь жить монахам?

Вся Россия следила за жизнью императрицы, но внимательнее иных лица духовного звания. Епископ Георгий Конисский — особо пристрастно. Некоторое успокоение приносило вспоминание о коронации Екатерины Алексеевны, о том, с каким вниманием слушала она его несовершенные слова. Когда государыня предприняла поездку во вновь присоединенные к России земли после раздела Польши и направилась в Полоцк, где особенно было много униатов, преосвященный заволновался по-настоящему: как поведет себя Екатерина Алексеевна в таком окружении? Многое зависело от этих дней. Скоро пришло известие, отрадное всем: и католикам, и иезуитам, и униатам императрица уделила равное внимание, но православному Богоявленскому монастырю сверх того подарила 500 рублей. Не одну благодарственную молитву вознес тогда преосвященный Богу. Не в достаточной сумме дело, а в том, что подчеркнула государыня свое душевное расположение.

Далеко от Могилева и Мстиславля до Петербурга, но слухи доходили исправно. По крайней мере, было известно, что к приезду императрицы в Тавриду итальянскому композитору и капельмейстеру Джузеппе Сарти заказали торжественную ораторию, что Екатеринославскому и Таврическому архиепископу Зертис-Каменскому лучшие писатели сочиняют приветственную речь для встречи императрицы. Оратория — ладно, возможно, в Петербурге не нашлось достойного русского композитора, а вот заказывать приветственную речь — это нелепо, он, Конисский, все речи, которые довелось произносить, составлял сам.

Однако пока он не представлял, что скажет ей, какую форму выберет для приветственного слова. В молодости, сразу после окончания Киево-Моги-

лянской духовной академии, он был назначен там же вести класс пиитики. Произнести речь почти по любому торжеству несложно, но говорить перед императрицей… Это будет его третье перед ней выступление. Императрица памятлива, имена и лица запоминает с первой встречи, тем более — столько обращений за последние годы направил он ей, спасительнице православия в Белоруссии! А посему задача его усложнялась, многое нужно сказать за несколько минут. И главное: никто больше не озлобляет нас, теперь мы, единоверные и иноверные, мирно живем. Это не так, но пусть государыня продолжает свой долгий путь со спокойной душой.

Кто нынче не плачет?
Две рюмки хлебного вина и тарелка супа

Дворец был построен. Оставалось освятить, призвать на него Божье благословение. Уже приходил к Родионову отец Феодосий, сообщил, что приготовил и святую воду, и свечи, и постное масло нынешнего года, и наклейки с крестами на четыре стороны дворца. Предлагал Феодосий собрать на освящение и трапезу после нее всех принимавших участие в работах, в том числе крестьян, но на такую заботу уже не было ни денег, ни времени.

Моше Гурвич в последний раз залез на крышу и прибил на коньке веселого резного петушка. Еще раз проверили, как открываются-закрываются двери, не скрипят ли полы, не дымит ли печь. Готова была и трапезная с хлебней. Погода выстояла, но заканчивался сентябрь, вот-вот начнется осенняя слякоть. Уездная Комиссия экономии выплатила Юргену Фонбергу оставшиеся деньги, скороход Благочинного управления принес благодарственное письмо, — можно было и прощаться с городом. Однако Юрген все тянул с отъездом.

— Что ты сидишь в Мстиславле? — спросила однажды Зося. — Все равно жидовочку тебе не отдадут. У них своя жизнь, у вас своя. Это правильно, не надо ничего путать. Живи со своей Лизкой, всем будет хорошо.

Наверно, она была права. Ему казалось, если бы удалось встретиться с Ривкой еще раз, он спокойно уехал бы в Могилев. Но встретиться не удавалось, Ривка больше не выходила на слободскую улицу.

Наконец Юрген собрался. Почему-то подумалось, что должен попрощаться с Родионовым. Он назначил себе день отъезда и накануне отправился в Благочинное управление. Однако Родионова не было. Он отложил отъезд еще на день, на два, три… Наконец, увидел возле управы карету обер-коменданта.

— Как, ты еще здесь? — удивился тот на бегу, сильно прихрамывая.

— Я хотел…

— Что? — досада прозвучала в голосе. Чем-то очень озабочен был обер-комендант.

— Уезжаю.

Родионов кивнул.

— Я хотел…

Опять досада проглянула в лице. Что еще надо этому немцу? Деньги за труды получил, благодарственное письмо ему от имени уездного дворянского собрания вручили. Что?

У Юргена пропало желание о чем-либо говорить с ним. Не прощаясь, он отвернулся и шагнул с крыльца. Решил заглянуть в корчму Семы Баруха.

Этот человек обрадовался ему, принес две рюмки хлебного вина и тарелку супа.

— Уезжаешь? Правильно! Что тебе здесь делать? Кому ты нужен?.. А Ривка — не твоя девушка. Даже не думай! Ну что ты! Нет! Какой ты веры? Лютеранской? Ну вот! А Ривка? Иудейка! Понял? — говорил, как будто торжествовал.

Все здесь знали о всех.

Больше прощаться было не с кем. Возвратился в дом, где прожил несколько месяцев, собрал свой сундучок. Однако почтовая карета уже отправилась.

— Поедешь? — обрадовалась Зося. — Правильно. Работу сделал? Ну и молодец. Больше ты никому тут не нужен, — повторила слова Семы Баруха.

Поднялся он на рассвете. Зося уже приготовила ему завтрак и торопливо пододвигала ложки-чашки, словно опасалась, что опять задержится здесь. Вышла с ним на порог.

— Женись, женись на Лизке, — заговорщицки твердила на прощанье. — Такая девка… Ого! Всем будет хорошо. Попомнишь меня!

Место в почтовой карете досталось ему удобное, у окошка, но очень пусто было на душе. Вспоминались озабоченный обер-комендант, Семен Барух, Зося, Ривка и немой вопрос в ее глазах. О Луизе не хотелось вспоминать. Было чувство, будто что-то важное могло произойти в его жизни здесь, в Мстиславле, — не произошло.

Между прочим: говорили — те, кто рано просыпается, — что Ривка бежала на почтовую станцию изо всех сил, как раз когда отъезжала карета. Да как ей догнать тройку сытых рысаков: хромоножка ведь. Говорили, что плакала. Так кто нынче не плачет? И Луиза плакала, и Юрген в карете плакал. И мать Ривки плакала, когда узнала, что Юрген уехал. «Слава Богу, слава Богу!» — раз за разом сквозь слезы повторяла она.

А еще — на еврейской слободе — говорили: ой, на этом не закончится, что-то будет… Вы что, не знаете Ривку? С ума сойти!..

Окончание следует.



МИКОЛА ЧЕРНЯВСКИЙ

А мне бы хоть листочек от «Венка»

Жаворонок

Твой голос
И в осенней стыни
И боль снимает,
И тоску...
Что не поёшь ты на чужбине, —
Никак поверить не могу.

Неужто ветер трель унес —
Тебя нигде
Не услыхать?
Неужто нет
Прозрачных рос —
На зорьке
Голос полоскать?

Нет, знаю сам:
И там есть песни
И луговых рассветов тишь.
Что ж,
Оторвавшись от Полесья,
За морем сдержанно молчишь?

Не по душе заморский рай?
Ты бережешь себя, видать,
Чтоб неба синь,
Чтоб милый край
Весною звонче привечать?..

* * *

Хочется мальчишке повзрослеть,
Старику же
хочется вернуться
В детство, чей уже простыл и след,
С чем успел давно уж разминуться.

Хочется мальчишке повзрослеть.
Стать самостоятельным и вольным.
Что душа желает —
заиметь,
Оказаться за порогом школьным.

Попрощаться хочется скорей
С вечною тоской — учить уроки.
Как там жизни потечет ручей —
Это не его еще тревоги...

Старику охота стройным стать,
С юностью далекой
повстречаться,
Не в калошах шаркать,
А — летать.
Бегать на свидания, влюбляться!

Только помнить следует и впредь,
Чтобы на судьбу не обижаться,
Что мальчишке —
Надобно умнеть,
Старику ж —
За разум свой держаться.

* * *

Когда бы мог, то жизнь бы начал как?
Что взял бы, что отбросил, будто камень?
Ошибок груз людей гнетет веками.
Когда бы мог, то жизнь бы начал как?

А может, зря себя терзаем сами
Тоской о том, что не вернуть никак?
Когда бы мог, то жизнь бы начал как?
Что взял бы, что отбросил, будто камень?

* * *

Носить венки — удел лауреатов.
А мне бы хоть листочек от «Венка»,
В котором бьется звонкой жилкою строка.
Носить венки — удел лауреатов.

Максим, он лавров славы не искал,
«Венок» сплетал из мук души крылатой.
Носить венки — удел лауреатов.
А мне бы хоть листочек от «Венка».

* * *

Отзвенело, ушло, отцвело.
Только в сердце осталась утеха.
Что исполнилось, что не сбылось, —
Не ответят ни память, ни эхо.

Пролетели экспрессом года.
Что в остатке, душе дорогое?
Черный хлеб
Да дорожная даль,
Щебет ласточек
По-над стрехою.

Отзвенело, ушло, отцвело —
Только в сердце былая утеха.
Что остаться собой помогло —
Не ответят ни память, ни эхо.

Перевод с белорусского
Андрея ТЯВЛОВСКОГО.

* * *

На седьмой мне десяток —
Не скрою.
Грозный возраст, —
Кружи не кружи...
Я хочу повстречаться
С тобою
На меже
Той, заветной межи.

На меже,
Где и сердце забьется
Так, что солнечно —
Пасмурным дням,
Где душа
Вновь душе отзовется, —
Весны давние
Вспомнятся нам.

Я хотел бы
С тобой повстречаться
На меже,
Где в полыни стою,
Где трава
Начала разрастаться
Вновь
Сквозь скорбную память мою.

* * *

Сентябрь, а кроны пасть готовы.
Листвой кленовой
Пахнет ночь...
Что принесет мне
День мой новый?
Все шепчет дождь,
Все шепчет дождь.

До дня дожить
Не так и долго,
А может, долго —
Мрачно все ж...
Опять молитве —
Для итога
Нас учит дождь,
Бессонный дождь.

Промокшим кленам и березам —
На размышленье эта ночь.
Вновь шорох
Ветром растревожен.
Все шепчет дождь,
Все шепчет дождь.

Пробился к нам из поднебесья —
И слышу: «Душу не тревожь...»
А тишина — и та, как песня.
Все шепчет дождь,
Все шепчет дождь.

Под эту музыку дождинок
Душа не хочет отдыхать.
Все шепчет дождь —
Зачин дожинок,
Что будем
После отмечать.

Но душу вновь
Сомненье гложет:
Терял ли то,
Что в ней берег?
Терял, терял,
Хотя, быть может...
Все шепчет дождь
И мне упрек...

Перевод с белорусского
Изяслава КОТЛЯРОВА.



АЛЕКСАНДР АТРУШКЕВИЧ

Два рассказа

Окурочек

Скрипели колеса, пытаясь, раз за разом, запеть какую-то жалостливую песню. Телеги, грузно переваливаясь с боку на бок, словно сонные толстобрюхие животные, не спеша ползли по узкой лесной дороге.

Народу набралось немного — возницы да шесть бойцов. Командир — мелкий дерганый мужичок при шляпе и в долгополом плаще, держался и ехал особняком. Старшой, как бойцы меж собою называли начальника, всю дорогу от города теребил полевую офицерскую сумку — просматривал какие-то бумаги, то и дело записывая что-то, судя по всему, особо важное, в тонкую ученическую тетрадку. Остальные, развалившись на сене в двух телегах, то дремали, то курили, лениво перебрасываясь ничего не значащими словами.

Стояли первые дни октября, когда осень, крася охрой лес, часто балует селянина погожими деньками: прозрачно-синим небом, лишь слегка помеченным проседью облаков; тянущимся к югу птичьим клином; дрожащей на легком ветерке паутинкой, изо всех своих малых сил цепляющейся за тонкую веточку. Грустная для сердца пора — бабье лето.

Сосновый лес неожиданно кончился, и дальше, уже до самой деревни, потянулся осинник, разбавленный березой и рябиной. Дорога вильнула влево, убегая от топкого болотца, и в просвете редколесья замаячили приземистые строения крайнего подворья. Обоз медленно въехал в безлюдную в этот утренний час деревню. Слышно было, как где-то, учуяв чужака, надрывно лая, рвалась с цепи собака.

— Правей держись, правей! — закричал, спрыгивая наземь, Старшой. Он пошел-побежал улицей, выглядывая по одному ему известным приметам нужный двор. Нелишней оказалась и синяя тетрадка, перекочевавшая в карман плаща, ибо, заглянув в нее, Старшой уже легко определился с выбором.

Дом стоял чуть в стороне от дороги, осмысленно глядя в мир четырьмя большими окнами. Под ними, купинами, росли высокие бело-розовые цветы. Старшой, не теряя времени даром, уже колотил кулаком в высокие ворота, крытые тесом, призывая хозяев. Обернувшись на подъезжающий обоз, закричал:

— Все, приехали! Выгружайсь...

Возницы, спешив людей, подогнали подводы ближе к ограждению, где лошади тут же стали щипать еще кое-где зеленую траву. Бойцы сгрудились у ворот. Из глубины двора послышались голоса, и наконец калитка распахнулась, явив свету хозяйку, еще довольно молодую женщину, одетую по-городскому. Из-за спины ее выглядывала, шмыгая носом, девчонка лет семи, почему-то очень коротко стриженая. Она с нескрываемым любопытством таращила темные глазенки на сбившихся в кучу мужиков.

— Хозяин дома? — задал свой вопрос начальник.

— А где ж ему быть? Вчера еще Мельников наказал со двора не идти. В сарае что-то ладит. Счас кликну...

Все прибывшие постепенно просочились во двор, огороженный со всех сторон строениями. Появился и хозяин — узколицый и худой, напоминающий клоуна из-за непомерно широких и коротких штанов и огромных тупорылых ботинок. Подошел молча, стал рядом с женой.

— Согласно Декрету Совета народных комиссаров за номером 36 предлагаю немедленно сдать государству продовольственные излишки. В противном случае... — и Старшой не спеша, внятно выговаривая слова, дочитал до конца весь текст Декрета.

Хозяин молча выслушал сказанное, откашлялся и, глядя под ноги, ни к кому конкретно не обращаясь, заявил:

— Ничего у нас товарищи-граждане нету. Все что могли сдали на продналог еще по прошлому месяцу. Об чем и справку при печати имеем в наличии.

— Ты, Воронков, нас справкой не жалоби, ты на печать не ссылайся. Мы с тобой об излишках речь ведем. Это, понимай так, первое. А второе то, что за твоим хозяйством недоимка в двадцать пудов. Чистый непорядок, как он есть. Именем Российской республики, по причине нехватки продовольствия для армии рабочего пролетариата, повторно предлагаю — добровольно сдать хлеб в казну. В случае несогласия изъятие будет совершено вполне законным образом — путем обыска и реквизиции. Вопрос ясен? — Закончив говорить, Старшой оглядел всех присутствующих, ясно давая понять: все что надо уже сказано. Дальше будет уже не слово, а дело.

— Ничего у нас больше нет. В закромах — шаром покати. Детей нечем кормить... — объявилась со своим словом и хозяйка.

— Раз есть закрома, то есть в них и добро. По-другому быть не может. Это, как говорил мудрец древности Декарт, аксиома, — невесело пошутил Старшой.

— Делайте что хотите, а перед законом ответите. Нету у вас таких правов, чтоб последнее отымать. Товарищ Троцкий говорил...

Но что говорил один из вождей пролетариата, узнать не удалось, так как Старшой оборвал хозяина на полуслове:

— Ты еще наших правов не знаешь. Правов-то у нас предостаточно, гражданин хороший. Народ в городе, значит, голодует, а он, как баран, одно твердит — не отдам! Отдашь как миленький. Да еще и в Сибирь загремишь как злостный враг, значит, рабочего класса и, соответственно, Советской власти.

Атмосфера накалялась, бойцы продотряда, переминаясь с ноги на ногу, покуривали, ничем не выказывая своего отношения к происходящему. Оно и понятно — люди подневольные. А потому нечего ум ломать, на то, чтоб все знать, как и чего, начальство есть, ему завсегда виднее.

Старшой, устав от пустой болтовни, махнул рукой, как отрубил:

— Советскую власть забижать душа не позволяет... Таким образом и действовать будем — по рабочей совести и пролетарскому духу. А потому, Гавриленко и Отчик, ваша задача хату проверить-перепроверить. Подполье и так далее, печки-подпечки... Враг хитер. Будьте бдительны. Трудовой народ и партия в нас верит, а потому... Шомпола взяли? — вдруг спохватился Старшой.

— Взяли, взяли... — заверил кто-то из бойцов.

— Хаткевич с Сидорком подсобные помещения будут осматривать. Ну, давай, братцы, давай, дело не терпит.

«Что-то здесь не так, определенно не так», — думал Юрка, а официально — старший боец продовольственного отряда «Заря коммунизма» Юрий Михайлович Хаткевич. Еще на подъезде к деревне, после мостика через ручей, Юрка почувствовал смутное беспокойство, тревожность какую-то, что ли? Словно в зону повышенного напряжения въехали. И эти хозяева тоже не очень на артистов похожи. Но, с другой стороны возьми, они же на то и актеры, чтоб выглядеть натурально. Но сейчас надо об ином думать, чтобы приз выиграть, надо кровь из носу, а тайник найти. И Юрка чувствовал, всей своей кожей чувствовал, — найду, найду, сегодня мой день. Посмотрим еще, кто кого обхитрит да объегорит. Посмотрим...

Чтобы ясность в дело внести, надо кое-что растолковать. А то ситуация неясная получается, непонятная, если большего не сказать. Ввязался Юрка в игру, вычитал в рекламной газете объявление: «Найди и выиграй». Сейчас время непростое, все на нервах, все через стресс, особенно если трудишься, скажем так, в сфере бизнеса. Съездил Юрка разок на военную игру, пейнтбол называется. Мероприятие вроде бы спортивное, а как собрались игроки — смех один. Как будто их специально для клоунады навербовали — один другого толще и бестолковей. А в продотряде все по-другому, все иначе — не столько бегай да стреляй краской друг в друга, сколько думай, головой работай. Старшой так и сказал: мол, дурака легко вокруг пальца обвести, а умному человеку чем задача сложней, тем почетнее ее решить, результата добиться. И главное, все честь по чести — костюмы, декорации, артисты. Посмотришь иной раз и сам в происходящее верить начинаешь, уж больно картинка реальная, так уж все достоверно у них происходит. Прошлый раз старуха какой спектакль разыграла, Шекспир бы позавидовал. В ноги бросается, плачет... С голоду, говорит, пухнем, а три мешка жита да полбочки сала, как ни крути, из ямы в огороде бойцы изъяли. Конечно, денег стоит игра, и немалых, но впечатления... Порой чувствуешь — адреналин в чистом виде по артериям бежит. Это тебе не театр драматический — смотришь на артистов да действу не веришь. А здесь тебе за реальные деньги — реальное шоу. Есть у нас еще артисты, есть... Свои роли они отрабатывают от души, это бесспорно, но за то и вознаграждение получают. Ну, и мы свое дело тоже неплохо знаем, уж поверьте. Сегодня бы еще повезло — и, считай, в дамках — вышли в финал. И что интересно, директор фирмы сказал: заметите какое-либо несоответствие временное, какие-либо претензии к атрибутике — аргументируйте, докажите, и сразу освобождаетесь от оплаты за игру. А деньги-то, по любым меркам, контора немалые в карман кладет. Игра непростая, а еще не проще люди, что играть подключились. Вот Юрка прошлый раз невзначай окурочек во дворе подобрал. Думал — все, прокололись артисты. Да не тут-то было. Окурочек аккуратно развернул — ан нет, мала газетка, но пару-тройку слов разберешь, прочитаешь... Тот еще это окурочек, тех времен... Их на простом не поймаешь, лисы хитрющие... Опять же, подхватил Юрка гвоздик ненароком, глядь, а и гвоздик-то непростой — квадратный, кованый. Даже такую мелочь продумали, подстраховались. За натуру и бабки приходится платить... И сегодня непростого клоуна подставили, семейку подобрали... Но ничего, как Старшой говорит: пролетарское чутье в нашем деле первый помощник.

Мысли мыслями, а в сараюшке крайнем ничего толкового нет, рухлядь одна. Юрка еще раз внимательно осмотрел подворье, наметил перспективу — теперь длинное строение, где, судя по всему, когда-то держали коня. Разломанная телега, бочки какие-то, хлам... Прялка, черная от времени, цепи ржавые-перержавые, корыто разбитое... На кой ляд все это нужно хранить?

Но мы все на зубок попробуем, все десять раз проверим-перепроверим. Советскую власть в обиду не дадим... «Что ж это делается, — остановил себя Юрка, — какая дребедень в голову лезет...»

Все как будто на своих местах. Кирпич сложен — зачем, для чего? Может, печь перекладывали? Но ничего, найдем, слава богу, голова еще работает... Конечно, они, может быть, и в хате мешки спрятали, но что-то подсказывает — повезет сегодня Юрке, повезет... Думать только надо, думать...

А здесь что у них? Куры? А корову где держат? Да и есть ли у них эта корова? В последний раз старуха кричала, мол, и корову со двора свели... Перегиб, сочиняет старая, чем же они всемером питаются, если даже хлеба на столе нет? Врет, как пить дать врет старая, все они норовят игрока на жалость взять. А здесь вроде бы все на своих местах. Но что-то подсказывает, что не так все просто, — хитер хозяин, хитер. Никто не заметил, а от Юрки не спрячешься — видел, как он разок на ребят глянул, казалось, в клочки бы порвал. И девчонка эта стриженая, утка подсадная, прямо светится, бледная да бесцветная. Ясное дело, грима не пожалели, подмазали да подкрасили. На жалость нашего брата берут, на жалость...

И в следующем сарае ничего подозрительного не оказалось. Напарник, Юрка с ним еще в паре не работал, бестолково носился из угла в угол, то и дело проверяя шомполом землю. «Дурак, — отметил Юрка, — мы это уже проходили. Так умные люди не прячут».

— Есть! — закричал, забился в радости Сидорок. — Есть!

Он лихорадочно тыкал шомполом в присыпанный соломой земляной пол, нащупав что-то на глубине полуметра. Юрка сбегал во двор за лопатой. Разбросав плотную землю, понял — пустое, обманка. Всего-то старый полусгнивший горбыль, неведомо как утонувший в земле.

Со двора слышны крики, маты-перематы. Девчонка навзрыд плачет... Может, нашли уже что-либо? Хозяин справкой машет, бормочет что-то свое. Отрабатывает артист кровные денежки, слезами и потом отрабатывает. А чего уж в такой ситуации начальнику орать да психовать? Его дело простое — привез отряд, увез. Чего перед нами выкаблучиваться, на артистов волну гнать?

В сарае длинном тоже ничего нет, это понятно. Юрку не проведешь... А здесь что у них? Дрова под навесом, будка собачья, а собака-то, собака... Хозяин говорит, в лес сбежала. Хорошо, очень хорошо... А мы эту будочку чуток в сторону своротим. А земля, земелька-то под будочкой свежевскопанная, рыхлая земелька... И кто же ее перелопатил и зачем? Не знаете? А Юрка уже в одну минуту все понял. Нашел схоронку, нашел, мамой клянусь! Лаз досками перекрыт, по размеру будки. Думала хозяйская голова, думала! Но и мы не лыком шиты, не пальцем деланы.

За спиной уже собрался служивый народ. А лаз горбыльком обшит, вроде блиндажа военного. И ведет ход под навес, считай, прямо под дрова складированные. И шомполами, хоть век ищи, такой тайничок не обнаружишь. На собаке хозяин прокололся, на собаке.

— Эй, хозяин, фонарь-то дай, — не то попросил, не то приказал Старшой. Он находился у лаза с первой минуты, нервно потирая руки и подергивая плечом, будто сбрасывая не видимый наблюдателю груз.

— Черта тебе лысого, а не фонарь. Керосина власть не нагнала...

— И это запишем. И это в дело пойдет, — заверил Старшой. — Оно-то правильно, хлеб от власти прячешь, а керосину дай? Вот она, кровь кулацкая, чему учит. Разберемся, не ты первый, не ты последний.

Юрка, пригнувшись, нырнул в лаз, чиркнул зажигалкой. Метра через два огонь высветил обшитую горбылем каморку. По всему видать, помогала она

хозяевам в их деле до сего дня исправно. Мешков с зерном было не много, но они были. «Шесть», — сосчитал Юрка. Самовар угольный, судя по всему, старинный. Зачем? Для чего прятать? А в уголке, в мешковину винтовочка завернута — сквозь ткань хорошо прощупывалась казенная часть оружия.

Перекочевал наверх самовар с привязанным тряпицей краном, сволок Хаткевич к свету и все шесть мешков с зерном. Но в последний момент, почему-то передумав, ружье наверх передавать не стал. Хлеб нашли, задачу поставленную вроде бы выполнили. А ствол — то не наше дело. Он нам вовсе ни к чему, ствол этот. Лишний базар... Сами разберутся, если надо, а мы за свое сражаемся, нам уже о финале думать надо.

Мешки погрузили на подводу к начальству, туда же он забрал почему-то и самовар. Слышно было, как где-то в доме рыдала и причитала хозяйка, хотя, по большому счету, к чему уже весь этот концерт? Стоял и молчал потерянно чудаковатый хозяин. Видно было, что на исход событий сегодняшнего дня у них были свои особые планы.

До города добрались лишь к вечеру. Пересели в микроавтобус и, уже с ветерком, помчались в центральный офис компании — переодеваться и подводить итоги. Через неделю, объявил на импровизированной планерке директор фирмы, финальная игра. Что ж, подождем...

Но ждать пришлось Хаткевичу долго. Исчезла фирмочка, исчезла... Как дело дошло до финала, где приз многомиллионный победителю обещан, так и испарилась, вознеслась в дали неведомые конторка. Оно-то и верно — бабки в обиходе какие крутились! Да и не одна наша группа в игре участвовала, наверняка людишек здесь перевернулось немерено. Вероятнее всего, они каждого выигрышем подогревали: все группы регулярно тайники находят, все за игру денежки платят, все на финальный приз надеются. Что-то вроде нынешних пирамид, даже скажем не так, а в чистом виде пирамида. Ведь душа человеческая надеждой согревается. Да и черт с ней, с этой фиктивной конторой. Другое интересно: как они все это устраивали, где артистов нанимали? С одним интерьером сколько работать надо было — в хате все обустроить, костюмы подобрать, двор надлежащим образом оформить. Да что много говорить, Юрка сразу подметил — хаты да сараюшки не шифером крыты, а тесом да соломой. Толковый у них в фирме дизайнер работает, спору нет. Юрка в этом деле тоже не последний человек, кое-что кумекает.

Но вот в чем фишка: кто в этих домах сейчас живет-обитает, что там сейчас творится? Что за потемкинские такие деревни понастроили? Что на бабки кинули, ладно. Кого винить? Сами лоханулись. Здесь уже иная тема интересует, другое ум шевелит.

Потому и не выдержал Хаткевич, как суббота пришла — собрался в дорогу. По Черниговскому шоссе до 17-го километра, а там направо, через лес на запад проселок тянется. Голова у Юрки, слава богу, еще работает, помнит он дорожку, помнит... На телегах этих максимум минут сорок тряслись, не больше. Это километров восемь-десять, вот там и искать будем.

Оставил Юрка свой синий фольксваген недалеко от службы дорожников, все-таки под присмотром будет, а сам подался по дорожке к заветной деревеньке. Что ни говори, а посмотреть интересно.

Вот и мостик. Юрка его четко помнит, до болотца лес сосновый стеной стоит, а после — ольха да береза до самой деревни. Все так и есть, да и как же по-другому? Но с деревней Юрка разобраться уже не смог, понять такое никак нельзя. Дома будто кто спьяну перетасовал, да и дома другие какие-то.

Совсем другие дома... «Но, клянусь, — остановил себя Юрка, — здесь мы были. Почти здесь».

Долго бродил Хаткевич деревней, как говорится, — вдоль да поперек ее исходил, но так ничего и не понял. Даже с одним стариком словом перемолвился, мол, другой какой деревеньки у вас тут рядом нет?

— У нас вовсе не деревня, мил человек, — старик отвечает, — у нас этот населенный пункт поселком обзывается. Куты ему прозвание. А другого ничего, что тебе надо, у нас отродясь не было. Там, к Украине, — старичок махнул рукой в сторону блеклого солнца, — Терюха да Новая Гута, а к городу ближе, вверх по реке Сож, поселок большой — Ченки. Вот и все наши места для людского проживания. А другого чего, добрый человек, не было и нет.

Обошел Юрка поселок еще раз. Да что там ходить, все и так ясно. Одна улица как бы центральная — дома по обеим сторонам, а по второй — дома уже в один ряд, окнами в лес смотрят. Место вроде бы то, а дома, как ни крути, совершенно иные.

И уже вечером, просматривая городскую газету, обнаружил Юрка информацию, которая не проясняла ситуацию, а еще больше запутывала.

«Террор во времени» — так называлась небольшая информационная статейка. «Выявлена группа так называемых хакеров, которые сумели проникнуть за барьер времени и заняться несанкционированной коммерческой деятельностью, проводя группы туристов через разблокированное пространство. Подобные действия являются нарушением Положения «О порядке пересечения физическими лицами государственной границы Республики Беларусь». Возбуждено уголовное дело по ряду статей: «Контрабанда», «Мошенничество в особо крупных размерах» и т. д.

«Так неужели...» — подумал Хаткевич, но думать обо всем произошедшем совсем не хотелось. Он никогда не задавался вопросом, есть ли в самом деле душа у человека, нет ли ее, но сегодня, сейчас, ему было сильно не по себе — гадко и больно. Душа действительно болела, может быть, первый раз в его сравнительно недолгой жизни.

И уже засыпая, Юрка то ли подумал, то ли прошептал: «Сволочи! Какие же мы все сволочи...»

По календарю Новый год

Доброй памяти Ф. Шклярова,
основателя Ветковского государственного
музея народного творчества

Минул второй час ночи, как Игнат заступил на дежурство. Трубе над хатой уже следовало дымить, да все больно худо оборачивалось. К слову сказать, работа эта не за ним значилась. Игнат больше по шорному делу руку набил: хомут подшить либо сбрую подлатать. А печь топить, так это любой дурень сможет. Но Карп одноногий, что к печам приставлен, грудь застудил. Второй день с печи не слазит, хворобу жаром и потом выгоняет. Оттого и призвал председатель Игната к такой должности.

Завтра по календарю Новый год. Молодежь опять это дело отмечать надумала. Знает Игнат их праздники, был на одном представлении. «Тьфу ты», — плюнул в сердцах старик, припомнив мерзкие куплеты.

А отец Серафим-благочинный
Пропил тулуп овчинный...

У нас-то и среди мужиков безобразия такого никогда не заводилось, бросился Игнат мыслью в спор. Случается, не без того, загуляет в праздник другой хозяин, но чтобы пропиться, голяком посеред зимы скакать — этого не бывало. За наше село я тебе голову на колоду положу, наговор полнейший. Да и какой, дозволь тебя спросить, Новый год, коли малому дитяти и тому ясно, что до него еще аккурат две недели. Дело, конечно, хозяйское. Сказал Степан: праздник, значит, так тому и быть. Хлопцы и девчата завсегда рады зубы поскалить, полы под гармонику потоптать. Оно вовсе не худо, коли молодые да ко времени. Но с другого боку, гуляй — гуляй, но почто календарь мутить? Нам ли не знать, когда какой праздник во двор приходит? Рождество справили, следом Новый год, а там уже и до Крещения считанные дни остались. А Пасху захочешь просчитать — здесь тебе календарь не помощник. Тута другой счет вести надобно.

Игнат, шаркая ногами, потоптался без толку у холодной грубки, подался к окну, силясь разглядеть через замерзшее стекло, что творится на белом свете. Но видать ничего не было, только слышалось, как выл ветер, как с плачем рыскал он по двору и отчаянно бился в дверь.

«Как печь топить? В своем ли уме Степка-то? — шевеля губами, размышлял Игнат, так и сяк прикидывая предстоящую работу. — И язык у него не отсох», — припомнил он Степановы слова.

«Дров Шуба не завез, — растолковывал председатель, щелкая на счетах. — Топить будешь иконами. Их на складе, что дров, — невесело усмехнулся он. — Гляди, старик, чтобы в горнице, как летом, тепло было. Народ-то уже с утра гулять праздник соберется».

Ишь, конокрад, что надумал, травил себе сердце Игнат. Но супротив председателя не пойдешь. Да и Степка сам в душе вряд ли согласный с такой политикой. Сам же крещеный. Мирон, покойник, в отцах крестных у него ходил. Конечно, должность, она и есть должность, дело казенное. Но как ее править, тут уж от человека перво-наперво зависит. Пес цепной, надумал-то чего? Грех и помыслить. Но делать что-то надоть. Со Степаном шуток не шуткуй. Подойдет час жито на трудодень получать, не сумневайся, вспомнит классовую сознательность: так просчитает, что за зиму брюхо к спине присохнет. Все оно так, только печь, кровь из носу, а вытопить надобно. Мы ж не супротив порядку, но дрова дай. Словом не прикрывайся, как одеялом. Заладил одно: сельсовет, сельсовет... А я без утайки скажу, что сельсовет, что склад — одно название. Раньше-то вся усадьба Головачей была. А попали Головачи под гребенку, раскулачили фамилию, так и стала хата сельсоветом, а амбар складом. Вот тебе и все дела.

Игнат уж заодно припомнил, как провожали выселенцев. Половина села, почитай, сродственники меж собою. А у Головачей на троих братьев пять коров да детей двенадцать душ. Как же людей не пожалеть? Работящие хлопцы, так тебе любой скажет. А до того, что хозяйство крепкое, так своим же горбом добро наживали. Видать, просто не судьба людям на родной земле помереть.

Старик пригасил лампу, запахнул поплотнее латаный кожушок — следовало своим глазом глянуть, а не сыщется ли где-нигде годная в печь дровина.

Дверь выбросила старика на улицу. Ветер тотчас же волком набросился на него, дохнул в лицо обжигающим снегом, вцепился в полы шубы, норовя сорвать с плеч. Игнат, прикрываясь воротником от колючего ветра, потопал в сторону темнеющего амбара. Ему пришлось изрядно потрудиться, толкая воротца взад-вперед, пока не умял сугроб и не прощемился вовнутрь. Немного переждав, пока глаза не обвыкли в темноте он, осторожно ступая и щупая

перед собой руками, двинулся вдоль стены. Натолкнулся на старые дрожки, а чуть поодаль разглядел в ближнем углу и груду образов. Как носили их из церкви, так и свалили без разбора в одну кучу.

С неделю тому назад провела молодежь свою сходку и определила: раз бога нет, а отец Серафим враг народный, церкву забрать под клуб. Батюшку, как эксплуататора, в город на проверку забрали, так что, считай, с лета храм без хозяина. Отпел свое святой отец. Нынче времена особые пошли. Молодежь громкие песни поет — и все про новый мир. А чего такого плохого было в старой жизни? Жили как люди, меж собою ладили. Случись, не дай бог, свара — на миру правду искали. А теперича что? Как без бога в душе жить? Уж не на сельсовет ли кресты класть? Опять же, церковь разграбили. Ум без разума — беда. Ленька Прокопович, пропади он пропадом, ломом весь иконостас порушил. Бабы Христом-богом молили, мать как полоумная в ногах валялась, но кто ему нынче указ? Все как с ума сдвинулись. Яшка-кузнец на что уж мужик кроткий, и тот на баб осклабился: «Отменили, — кричит, — вашего бога! Теперича одних партейных в рай пущать будут». Оно, может, и так. Но партейные тоже себе на уме. Гаврила Кисельников, самый что ни есть активист, а только две иконы в сельсовет снес. А у самого в киоте, Игнату ль того не знать, четыре образа стояло. Где еще два схоронил? Знать, лежат они в потайном месте до лучшей поры. Вот тебе и урок — партейный, а бога боится. Крест, опять же, зачем на маковке у церквы ломать? Какой от него вред? Степан, на что уж злой на бога, а и тот хлопцев дурнями обозвал. Крест-то чугунный, литой. За тридцать червонцев в самом Чернигове-городе в складчину купили. Близкий ли свет? Вот и подумай. Они его веревкой свернуть надумали. Сдернуть не сдернули, только у комля погнули, святые-то сильней оказались. Окривела церква, стыд глядеть.

Игнат сунул под мышку пяток икон, из тех, что поменьше и, поспешая, побрел обратно в хату. Небо наполовину очистилось, в разрывах тонких туч ныряла желтая, как гарбуз, луна.

Ночь ползла, что худая лошаденка по бездорожью. Хата настывала, а старик, нахохлившись, потерянно сидел на лавке у двери, прикидывая, как вывернуться от навалившейся беды. Но сидючи дела не одолеешь, и он сходил в сени за топором. Топорище было доброе, кленового дерева, по всему видать, от старых хозяев. Послюнявив палец, он попробовал лезвие и остался недоволен. Осиротел дом, осиротел...

В груди защемило, и старик, уже вовсе решившись, опустил топор. Дело-то небывалое — иконы на щепу колоть. Неможно такого греха на душу взять. Под иконой человек на свет появляется, под ней же помирает. Так завсегда было. Отцы и деды на них молились, мысли свои святым поверяли. А теперича что? Неужто власти ничего не надо? Ни бога, ни попа, ни образа святого? Все-то им слова пустые заменят. А того не поймут, что без креста человеку не жить. Ведь как бога нет, так, считай, и ответ ни за свою жизнь, ни за чужую ни перед кем держать не надобно. Что-то здесь не так, не по жеребцу хомут. Супротив совести пойти никак не можно. Душу в чистоте держать надобно, с добром в мир идти, добро-то назад к тебе и возвернется. Лихоимцем, может, и легче жить, да помирать куда тяжелее.

«Господи, надоумь, научи, как из беды выбраться», — взмолился Игнат. Человек лишь замыслит зло содеять, а сатана уже тут как тут, за спиной рожи корчит. Шутка ли сказать — на святыню руку поднять надумал...

Старик повернул к свету икону. На него, прямо в душу ему смотрели печальные и все понимающие глаза. Сам Христос-спаситель глядел на старого Игната, на лампу, светившую в пустой горнице, на давно не беленую груб-

ку со сбитыми углами, что, хоть помри, а надо к утру вытопить. «Эх, была не была», — сказал сам себе старик.

Дорога ждала неблизкая. Хата Игната стояла на другом конце села, у прогона, что вел к Демьянову хутору.

Старик, что-то бормоча себе под нос, перекрестился на светлое окно, подпер дверь лопатой и пустился в дорогу. Как только сыскалось решение, на душе полегчало, сомнения отступили, но беспокойство не оставляло, гвоздем сидело в голове. Идти-то никак не меньше версты, а то и побольше. По свежему снегу да беспутице — поди управься.

Ветер стих. Мороз брался крепкий. Луна висела, зацепившись за колодезный журавль, а небо, как маком, было усыпано неяркими звездами. От каждой хаты и огорожи на снег ложились плотные тени. Рядом с Игнатом тоже волочилась безногая и мешковатая тень. Откуда-то издалека, как бы даже сверху, послышался тоскливый одинокий вой. Забрехали собаки, учуяв лесного зверя, и еще долго не умолкал по селу злобный разноголосый лай.

Кричали вторые петухи, когда старик, волоча на сворке санки с дровами, остановился у колодца. До хаты было уже рукой подать, но он, запарившись и выбившись из сил, решил передохнуть. Мороз давал себя знать, и чтобы не застудиться, дед вновь впрягся в санки. Возок в калитку не пролез, и потому пришлось развязать веревку, что крепила поленья, и таскать дрова с улицы прямо к печи.

Игнат, замаявшись с работой, присел на лавке — ноги гудели, как чугунные, но рассиживаться время не велело. Успеть хотя бы к утру печь как след вытопить. Он вытащил из кармана кусочек бересты, по-хозяйски припасенной впрок, обложил ее мелкой щепой, положил пару осиновых полешек, из тех, что поменьше и посуше, затем подпалил в печи, взяв огонь от лампы. Минуты не прошло, как грубка загудела, весело заплясал огонь меж поленьев. Игнат погрел озябшие руки, притулился поближе к огню. На душе тоже потеплело, стало покойно, как бывает у человека, сделавшего без огласки доброе дело. Мыслей вовсе никаких не было, а если и думалось о чем, то лишь вспоминалась дорога и непосильный груз, что, казалось, вытянул последние силы. Старик глухо закашлялся, насилу продохнул и утер кулаком выступившие слезы. Уходить от огня не хотелось, но впереди ждала еще работа, и старик, пересиливая навалившуюся вдруг слабость, поплелся к образам, что выставил в ряд у стены. Он мелко перекрестился, вздыхая и охая, подобрал иконы и снес их на старое место, где брал.

Игнат притворил ворота, глянул на небо, где стыли блеклые звезды, и не спеша подался обратно в хату к теплой печи.





ДАРЬЯ ДОРОШКО

Не задует ветер красок

Отголосок утрат

Появился в душе заколоченный угол,
Где никто не отыщет былого тепла,
Даже если прорвется сквозь армию пугал,
Что душа для защиты своей наняла.
Вечный свет доброты не находит дороги.
Эхо хмурое глохнет на свалке теней…
Да за что же вы мстите, ревнивые боги,
Человеку — заложнику страсти своей?!

* * *

Истекала кровью радуга,
Было глаз не отвести.
Умоляла я: не надо лгать,
Просто прошепчи: «Прости».
Ты не слышал. Света алого
Капли падали на луг.
Истекала кровью радуга:
Больно, если предал друг.

* * *

Обрывки фраз, холодный ветер,
Нелепый цокот каблуков…
А я хочу прожить на свете,
Как жеребенок: без подков.

Мне не нужны узда и шпоры.
Пока в душе огонь горит,
Я не согласна слушать споры
О том, кто в гонке фаворит.

Нет, я не беговая лошадь,
Не цирковая, черт возьми!

Огни Вселенной — моя площадь,
А не манежные огни.

* * *

Яркий солнечный цветок
Сквозь асфальт навстречу солнцу
Прорастет и ввысь взметнется,
Яркий солнечный цветок.

Ни холодный, мрачный дождь
Не задует красок этих,
Ни осенний злобный ветер
Не погасит эту мощь.





ВИТАЛИЙ МОСКАЛЕВ

Луна — женского рода

Рассказ

1

Я живу. Я не понимаю этого, но мне приятно. Я дышу. Робко, но раскованно. Вся моя жизнь — это сны. Многоцветные и яркие сны. Они блуждают в глубине моих закрытых глаз, причудливыми образами развивая мой мозг.

Я не знаю, что такое свет. Я вглядываюсь в темноту в поисках своего будущего и не понимаю: где находится начало... Мое начало. Для меня оно неотделимо от конца.

Но я существую. Я — во плоти! И это не пустое эхо моих слов. Я вообще не умею говорить, но уже ощущаю в легкой полудреме чьи-то эмоции. Я не знаю, кто их создатель. Часто они полны любви, но еще чаще сомнений и боли. Они — моя вселенная, в которой я живу. Мой дом.

Иногда я слышу звуки. Это приятно. Но самое приятное, что есть на свете, — это тишина. Ее беспечная гладь.

У меня бьется сердце. Госпожа *жизнь* создала его для меня, и я готов подчиняться ее законам, потому что мне хорошо. Я не боюсь жить.

Мне тяжело представить, что там, где-то там, есть огромный мир, и он может жить без меня. Я есть везде! Но надолго ли? У меня странное предчувствие. Будто моя жизнь — это тонкая нить большого клубка, которая в любой момент может оборваться. Но я не сгину. Я верю в бессмертие. Вы ведь не знаете, как рождается Вечность? А я помню. Отчетливо и ясно.

На моей сжатой прозрачной ладони уже вычерчивается линия жизни. Жаль, я не могу оценить ее длину. Ведь я еще даже не родился. Я не умею видеть. Мои глаза еще не готовы к этому. Но я вижу... вижу сны. Цветные сны, в которых рождается вечность! Из ничего, потому что она и есть ничто. Она тоже небывалый сон, который не ведает слово *время*.

Я не ощущаю жизнь. Ведь я еще не стал воплощением времени. Я — не разумная форма. Я — зародыш. Формирующийся организм, все дальше и дальше удаляющийся от вечности и забывающий ее магические чары, ее первозданные сны.

Но будет день. Он придет, и я познаю жизнь. Затем наступит ночь. И я обращусь в вечность. Как жизнь обратится в смерть. Я не боюсь этого, потому что я развиваюсь, я все ближе и ближе к жизни, я привыкаю к ней.

Я не осознаю этого, но мне приятно...

2

Она нервно курит и беспрерывно смотрится в зеркало. Размазанная тушь течет с ресниц, смешиваясь со слезами.

Он стоит рядом. Неловко переминается с ноги на ногу и растерянно молчит.

Ей — пятнадцать, ему совсем недавно исполнилось шестнадцать. Они молоды, красивы, но неосмотрительны. Вот и пришла расплата...

— Как это случилось? — спрашивает Он, вздрагивая от испуга и волнения.

— Пить меньше надо! — злобно пыхтит Она.

— Я... я не знаю, — лепечет Он, заикаясь и плаксиво шмыгая носом. — А ты точно уверена?

— Я беременна, я на сносях, я залетела! — повышая на каждом слове голос, визгливо кричит Она. — Что ты не знаешь? Как дети делаются?

— Знаю, но что делать нам? — смиренно спрашивает Он, все еще не веря, что может дать начало новой жизни.

Глаза бегают в разные стороны, как тараканы. Руки трясутся от страха, и Он, чтобы скрыть это, принимается теребить волосы на голове, якобы поправляя прическу.

Она тяжело вздыхает и сердито отворачивается от зеркала.

— Когда мать узнает, она меня убьет! — в ее голосе слышатся истерические нотки. — Либо ты на мне женишься, либо...

Она не может произнести это слово.

— Аборт, — выдавливает из себя Он.

И глухая тишина висит в воздухе, обидевшись на эхо. Ведь данный разговор — это эхо будущей судьбы.

— Так что ты решил?

— Я... я не знаю, — опять спотыкается на каждом слове Он. — Но я не могу на тебе жениться!

— Ты боишься, трус паршивый! — утверждает Она, заходясь в бурном плаче.

Тушь потекла еще пуще. Худые плечи трясутся, а ее жалкое личико, еще не утратившее детские черты, отчаянно смотрит на него, неуверенно мнущегося у самой двери. Она тоже боится. Она тоже не знает, что делать дальше.

— Я... я, — опять заикается Он, словно каждое слово — это царапающее язык лезвие. — Я не готов содержать ребенка. У меня нет денег.

— Совести у тебя нет, — разгневанно восклицает Она.

— Будет лучше и для тебя, и для меня, если ты сделаешь аборт, — убежденно настаивает Он.

Он не может осознать себя отцом. И только теперь, понимая, чем ему это грозит, Он без утайки пытается объяснить свою позицию, цепляясь за аборт, как за спасительную соломинку.

— Ну посуди сама, к чему нам сейчас этот ребенок? Ни к селу ни к городу. Если надо, он появится потом, когда мы будем готовы к этому. Да не рыдай ты так! Мы же не убиваем его! Ты же знаешь, аборты не редкость в наше время. Пойми, это всего лишь зародыш. Это не человек. Вообще *никто*. Лишняя проблема. Испортит всю молодость. Жизнь превратит в ад. Минута удовольствия, и вот на тебе, каторга семейной жизни. Каждую ночь менять пеленки, возиться с ним, воспитывать. А жить-то как? Жалкое существование на папашины гроши. Ни сигарет, ни дискотек! Скука...

— Я не могу решиться, — сомневается Она.

И пребывая в этой нерешительности, вновь подходит к зеркалу. Оглядывает себя. Презрительно морщится.

— Я сама себе противна. Ненавижу, ненавижу себя!

— Аборт, — твердит Он с нарастающей уверенностью, словно попугай, это емкое слово.

Оно бьет по ушам, словно хлыст по коже. Оно вызывает отвращение.

— *Аборт!*

— Нет, — тихо шепчет Она. — Это жестоко. Это же наш... сын или наша... дочь. Я не могу... и я боюсь. Мне страшно. Не уходи, не оставляй меня одну!

И в этом сумбуре они тягостно обнимают друг друга, словно молодые ветви двух деревьев, запутавшиеся в тесном примкновении.

3

Луна. Женский род. Откуда я это знаю? Что за чудесный сон грезится мне? Грезится удивительно реально.

Я талантлив. Бесспорно талантлив. Я буду петь песни и сочинять стихи. Непревзойденно, легко и вдохновенно.

Меня немного подташнивает. В голове струится туман, и мысли гаснут в его дурманящей завесе. Но это пройдет. Это всего лишь вино. Оно наводнило мой организм, заполонив вселенную вокруг меня. Оно лишает меня развития...

Я понял. Вселенная вокруг меня — это мама. Жизнь дал мне папа. Как все просто. Я действительно талантлив. Но почему мама пьет вино? Чтобы избежать моего таланта? Какая страшная мысль! Несуразица. Правильна ли она? Как много предстоит мне познать, чтобы назвать свои познания истиной!

Мне никогда не вспомнить снов, в которых я пребываю. Снов о вечности. Но я талантлив, может быть, именно поэтому я буду пытаться передать ощущение вечности. Даже после того, как я ее потеряю. Для этого я буду рисовать ночь над городом, суровый океан с игривыми гребнями волн, далекие планеты, витающие в космосе, как шарики в руках у опытного жонглера. И этому не будет конца, пока не устанет жонглер...

Нет. Слишком однообразно. Я буду всесторонним. Я буду познавать мир и писать об этом музыку и песни. Я буду искать гармонию и запечатлевать свои чувства о ней в стихах. Я буду смотреть на небо, засеянное звездной крупой, и рисовать глаза, в которых оно отражается.

Я буду всем подряд! Жаль, что не могу представить себе это. Мой мозг чист. Он первозданен. Привычки — это не для меня. Я — безоблачное небо! Я — Вселенная в момент осознания самой себя. Я — маленькая точка, расползающаяся по тетради в надежде преобладать над всем пришлым и тривиальным, в стремлении покорить невозможное и непостижимое.

Вот видите, я всевластен над логикой слов. И не потому, что я их понимаю, а потому, что я их придумываю. Ежесекундно. Для меня нет предела. Я абсолютен, незакомплексован. Я не во власти денег и условий, в которых буду жить. Я мирно дремлю в материнской утробе. Как это спокойно. Так бы всегда.

Я уже начинаю осознавать это, но все равно мне по-прежнему приятно.

Бог. Мужской род. Это я.

4

Луна украшает небо. Особенно, когда смотришь на нее, во что-то веря.

Она нервно курит и иногда, прищуриваясь от едкого дыма, смотрит на полнощекую луну. Обиды и сомнения уже позади. Теперь только одно решение, решение большинства. Завтра — аборт. Завтра все вернется на свои места. Судьбу тоже можно водить за нос.

Она не спит. Трудно жить, считая секунды. Жизнь делает их незаметными только для счастливых.

Круглолицая луна скрылась за пеленой ночных облаков. Эпизод исчерпан. Исход предрешен. Спать, спать, спать. И Она медленно скользит по больничному коридору к своей палате, иногда, повинуясь странному инстинкту, бережно лаская свой живот…

— Я хочу жить для себя, — словно в оправдание, шепчет Она. — Я хочу танцевать, смеяться, встречаться с парнями и наслаждаться жизнью. Полноценно наслаждаться. Жить и не мучиться. Жить, как раньше жила до *тебя.* Я не хочу страдать. А *ты* принесешь мне одни страдания.

Спать, спать, спать. Вот только сны уже не будут цветными. Они вообще пропадут...

Инстинкт продления жизни. Ты выбрал самое уязвимое людское чувство — любовь. Ты способен нокаутировать любого человека: и уборщицу, и президента, и солдата, и генерала. Ты скребешься в генах, искушая разум и ввергая в страсть; ты бурлишь в крови крохами гормонов, заставляя подчиняться их настойчивому велению и точному расчету — репродукции клеток в образе дочерней клетки. И это не приносит боль. Любовь дает жизнь через наслаждение. Удивительный закон! Внутреннее чувство рождает внешнее, проявление, новое существо, осязаемое воплощение двух разнородных организмов и тем самым продление рода человеческого.

Она засыпает, лежа в неуютной пустой палате, опустив голову на скомканную старую подушку с колющимися перьями и боясь пошевелиться на противно скрипящей постели, чтобы не слышать ее проклятого скрежета. Медленно погружается в тревожный сон, повторяя еле слышно полные раскаяния слова:

— Прости, я не готова быть матерью. Прости меня. Прости, прости....

А Он сидит дома, в уютном кресле перед телевизором. Он до сих пор не верит, что такой смачный и естественный секс порождает создание, которое именуется его ребенком. Он отказывается воспринимать это существо, бултыхающееся в ее животе, как собственного сына или собственную дочь. Но он страдает. Страдания для многих — это самый верный путь узреть своими глазами, душой и разумом, как избежать их в следующий раз, как сделать так, чтобы это не повторилось. Страдания очищают, приносят неудовлетворенность и желание перемен. Человек страдает, и это — мощный рывок в его саморазвитии. Жизнь — это страдание и наслаждение, потеря и приобретение, одним словом, борьба. В каждом человеке живет и отец, и мать. Они борются между собой. И в их постоянном споре рождается то решение, которым и руководствуется человек.

Человек — сам себе судья, близорукий или дальнозоркий, это уже не зависит от страданий.

Он не может заснуть в эту ночь. Решение, которое Он принял, мучает его. Вердикт, который Он вынес, не дает покоя. *Быть или не быть?* Извечный вопрос. И он решен не по шекспировскому сценарию, а по сценарию жизни, которую Шекспир называл театром. *Быть или не быть?* Не быть! Для театра — это трагедия, а для жизни — это конец. Безвозвратный конец…

5

Живительное тепло обдает меня. Я еще не знаю, что такое колыбель, но охватываемые мной ощущения сравнимы с ее мелодией покоя. Я ведь слышу звуки. Убаюкивающие ритмы материнского сердца.

Я не знаю, что такое время. Для меня время застыло, рассыпалось на мелкие частицы песка, припавшие к моим ногам. Ведь у меня уже есть ноги.

Я становлюсь человеком. Здесь, в материнской утробе, я проживаю всю эволюцию жизни, повторяю весь ее путь. Сложный путь. Но необходимый и интересный.

Я качаюсь на волнах счастья, как поплавок. Но пробьет час, и невидимая рыба утянет меня в глубину вод, где начнется новый этап жизни, новая черта. Но до этого еще целая вечность.

Я — всего лишь зародыш жизни, и для меня нет ничего прекрасней неизменного пребывания в утробе матери. Тут спокойно и тихо. Тут храм любви, а я — его алтарь.

Я могу предсказывать будущее. Я не умею думать, поэтому все, чем я живу, приобретает спонтанный смысл, и это можно назвать озарением. Я мыслю образами снов, а не словами. Каждую секунду во мне рождается новая клетка, и мозг аккумулирует энергию, готовит платформу для сознания. Я возрождаюсь из небытия очередным лучом великого солнца жизни, пронзая сиротливый простор. Мне хочется увидеть свет. Я знаю, что без меня он не погаснет и жизнь без меня не остановит свой бег. Но что-то отомрет, иссохнет, оскудеет, когда я уйду...

Почему мне это грезится. Я не могу понять. Не зная жизни и не ведая смерти...

При чем здесь это. Что-то не так. Сны потеряли былую ясность. Я не могу сказать. Но мне хочется кричать. Я ведь живое существо и чувствую боль наравне со всеми. Просто я еще не умею анализировать ее источник. Я не понимаю, что у боли есть причина. А мне больно! Но почему?

Где то блаженство, вечный круг иллюзий? Куда подевалась вереница моих снов. Мне страшно. Неужели я рождаюсь. Нет. Я теряюсь, я тону...

Все новые и новые чувства кружатся во мне, буравят мозг и высасывают его природную чистоту. Я мечусь в поисках утраченного. Я слышу вякающие звуки. Они грызут меня. Я пропадаю...

Я чувствую. Чувства — это первое условие жизни. Ее аксиома. Значит, я жив, я живу...

Но чувства… Я теряю контроль. Я гасну мгновенно, как лампа. Моя спираль жизни обрывается. Прочь, прочь от меня! Не трогайте, не разрушайте мой уютный дом.

За что меня подвергают этой каре? Лучше не знать за что! Лучше забыть, что такое жизнь. Но я хочу... хочу жить!

Поздно. Я теряю себя, я тону...

Пучина бездонна, и я проваливаюсь к несбыточным мечтам, не став даже штрихом на чистой бумаге, пузырьком от капли дождя на воде.

Холод. Адский холод вокруг. Дрожь. Тело стынет и стынет. Маленькое безвредное тельце. Мое. Мое...

Я хочу плакать, но не умею. Я хочу жить, но не могу!

Я не умею даже кусаться, чтобы противостоять чужому вторжению. И не научусь уже. Никогда...

Резкий свет, толчок и боль. Холодные руки тянутся ко мне. И это не руки матери. Вспышка гаснет, и тусклое блеклое пятно мельтешит в глазах, но я не понимаю, что это! Слишком рано вижу свет. Слишком рано, когда еще должна быть тьма.

Я погребен в осколках разваливающегося зеркала. Я оторван от первопричины и корчусь жалким червяком на операционном столе.

И вдох не получается. Воздух смертью напоен. Я задыхаюсь и проваливаюсь в безграничные комки ваты. Последний всплеск гибнущей жизни. И холод. Непереносимый холод.

Тело исчезает. Чувства теряют былое могущество. Сердце прощально ударило в гонг и застыло. Не страшен уже и холод.

Меня нет. Я умер. Все…

6

Он жмется к краю входной двери, теребя в руках шапку. Она нервно курит. Молчание. Тяжелая тишина. Наконец он говорит:

— Как все прошло?

Она не отвечает. Сигарета медленно тлеет, и дым скользит из ее ноздрей.

Он тяжело вздыхает, стискивает шапку еще крепче и повторяет вопрос. Она отвечает, но не сразу, а через некоторое время. И каждое слово в этом ответе заставляет деревенеть даже привычный ко всему язык.

— Его больше нет.

Он не знает, как реагировать. Радость, но почему-то горькая. Тяжесть. Непонятная тяжесть скапливается на душе, словно крошечная душа зародыша перебралась туда. Беспокойная, она ищет приюта, потеряв тело.

Он пытается поддержать ее и неловко успокаивает:

— Не волнуйся, все утрясется и станет на свои места. Главное, что мы не обрекли *его* на страдания. И *он* ничего не понимал, когда... когда умер.

Она вздрагивает от каждого слова и, не выдержав, тушит сигарету об руку, пытаясь унять физической болью боль душевную.

— Уходи, — твердит Она, не глядя на его лицо, принявшее черты былой самоуверенности.

— Ты поступила правильно, — стоит Он на своем. — Я ни в чем тебя не виню.

Она встает. На миг их глаза встречаются и, как ошпаренные, отскакивают друг от друга.

— Я... я не смогу жить дальше, — причитает Она. — Я покончу с собой!

Он растерянно падает перед ней на колени. Его руки нерешительно обнимают ее за талию. Она не шевелится. Но слова как приговор уже разносятся по воздуху наперегонки с обреченностью.

— У меня больше не будет детей.

Снова тишина. Тяжелая минута. Он скован, но держится. Она не владеет собой и рыдает. Теперь все позади: и плохое, и хорошее.

— Кто тебе это сказал? — не в силах больше молчать, спрашивает Он.

— Врачи.

— Они ошибаются!

— Это я ошиблась.

И снова тяжелая тишина висит в воздухе. Она отворачивается от него и подходит к окну.

— Все еще изменится, вот увидишь! — несмело говорит Он.

Но это именно те слова, которых Она ждет. И Она верит им. Жизнь вообще очень доверчива. Может, и правда все наладится. Медицина часто ошибается. Но память о содеянном неизменна. Люди еще не научились стирать неприятные инциденты, кошмары и отдельные воспоминания из своего мозга. Подсознание — хрупкий инструмент. Оно, как глубинная бомба, блуждает по нервным каналам мозга и таранит разум.

Эмоции схлынули. Она немного успокоилась. Он, уловив момент, деликатно прощается. Снова просит прощения и, как бестелесный призрак, исче-

зает за дверью, стремясь затеряться в тумане жизни. Скрыться и не видеть ее подавленного взгляда. Он так и не смог взглянуть ей в глаза. И, видимо, уже не сможет...

Для него — это неприятность, вызванная досадной неосторожностью. Она же — как вырванное с корнями дерево. Листья высохли и опали. А корень не знает, как рождается лист…

Она засыпает. Тяжело и медленно. Ей снится сон. Цветной. Полный чувств.

Сон о том, как она просыпается ночью и с удивлением замечает, что ее тело стало прозрачным. Виден каждый орган, каждый сосуд. И там, внутри, в огромном кожаном мешке, бьется об его упругие стенки маленький комочек, недоразвитое тельце. Огромные испуганные глаза его мечутся в разные стороны в поисках спасения. Но напрасно. И Она визжит от ужаса, проникшего в каждое нервное окончание.

Рот зародыша двигается. Малыш еще жив и крутится у нее в животе, отражаясь, как в зеркале, крутится и шепчет всего лишь одно слово, понятное каждому:

— МАМА!





НАТАЛЬЯ КРИВИЧАНКА

У зари нет возраста

Импульс

Ты уюта захотела?..
А. Ахматова

Дайте мне ласковый плед и домашние туфли,
кресло-качалку и мирно горящий камин.
Пусть восседают на полке старинные куклы
и пламенеет на блюде большой апельсин.

Пусть расплывается месяц за складками шторы
и реставрируют живопись кисти свечей.
Было ли, не было — счастье, томление, горе?.. —

дайте забыться в гармонии ясных вещей…

Умиленье

Ах же ты, моя душенька,
божья коровка —
в глубину простодушия
чистое око...

Тебя любят, отрадная,
взрослые, дети —
лилипутка нарядная
в пляшущем лете.

Микросолнышко в крапинках —
таинствах точек...
Ах же ты, моя лапонька,
Божий дружочек.

Лечишь сердце усталое
благообразьем
ты, созданьице малое,
ласковый праздник,

молчаливая хроника,
светлого мига,
скорбной родины родинка.
Красная Книга.

Полюшко

Ой ты, голое поле, никем не любимое!
По заснеженной глади холмы разбрелись.
Я тебе доверяюсь, родное, веди меня
прямо в дальнюю даль и высокую высь.

Затерялась под снегом тропинка заветная.
Но и то хорошо, что она где-то есть...
Сердце, будто бы птичка, в ладонях согретая,
пропоет, улетая, нехитрую песнь...

Обласкает весна тебя, полюшко милое,
вновь пробьется на свет молодая трава,
и какой-то кузнечик начнет вдруг солировать
про меня монотонно: жила да была...

Из сонаты

Я была любима и желанна
на высоком тайном берегу...
Там, за белым пологом тумана,
я твое объятье берегу.

Времени мистическая сущность
не обидит нас нигде, ни в чем.
Слова поднебесного летучесть
не сразит карающим мечом.

Изорвалось старенькое платье,
истопталась пара башмаков,
а все длится нежное объятье —
просто до скончания веков...

Так цветок к цветку приникнул тихо,
дрожь и свет слияния постиг.
Ты хотел спасительного мига
для любви... Он сбылся — этот миг.

Письмо

Прилетел белый голубь — из рук
Твоих ладанно-сладких, желанных...
Больше нет ни вопросов, ни мук:
Только краткий листок долгожданный.

На него всей душою смотрю —
Есть ли большее телу блаженство?..
В Жертву Господу я отдаю
Страсть к тебе как ступень к совершенству…

Дно

Изведав ада муку
средь глубей и акул,
во тьме я поднял руку
и вверх ее тянул.

Смеялось дно беззвучно
над всей тщетой времен.
Влеклась стеной текучей
рука со всех сторон.

И пальцы, точно змеи,
клубились в толщах вод.
А где-то солнцем реял
над твердью небосвод.

Там где-то в травах пряных
звучали и цвели
все прелести обмана,
все вольности Земли...

И через хлад забвенья,
собрав остаток сил,
я крестное знаменье
над миром сотворил...

На заре

Распускались цветы, звонко пели лягушки и птицы,
испарялась луна, венценосное солнце взошло.
И горел ярче солнца светильник в сердечной светлице,
словно в День Сотворенья... И вот — все весьма хорошо!..

Тело душу окутало тонким, как луч, покрывалом.
Растворялась вдали золотая дороги тесьма.
Осененьем красы голова моя нежно пылала,
словно в День Сотворенья... И вот — хорошо все весьма.

Тихий Лик Бытия над Землею парил небосводом,
и купалась в росе червяка упоенная плоть.
И от мысли святой ликовала во мне вся природа,
словно в День Сотворенья, когда веселился Господь.



АЛЕСЬ КОЖЕДУБ

Курсы

Повесть

1

На Высшие литературные курсы при Литинституте я поступил в начале восьмидесятых. Честно говоря, поступать мне туда не хотелось. Перед этим я уже проучился пять лет на филфаке университета, и курсы, пусть даже в Москве, меня не прельщали. Классиков марксизма-ленинизма я изучил, с мировой литературой в общих чертах ознакомился, даже по-английски кое-как понимал, — на кой ляд они мне?

Однако жена настаивала: надо потерпеть.

— Всего два года учиться, — убеждала она меня. — В Третьяковку сходишь. Ты был в Третьяковке?

— Не был, — сказал я.

— В конце концов, не понравится — бросишь. Будем по очереди жить в Москве и Минске.

Последний аргумент заставил меня сдаться. И правда, не понравится — брошу. В свободной стране живем.

На курсах я с удивлением обнаружил, что практически никто из слушателей не приехал сюда за знаниями. У одних шла в столичном издательстве книга. У других в Москве учились сын или дочка. Литовский поэт Владас Казлаускас месяц назад развелся с женой, и ему надо было зализать рану.

— Лучше в Москве, — объяснил он мне. — Здесь тебя никто не видит.

Владас часто на занятия приходил навеселе, и то, что его никто не видел в таком состоянии, имело большое значение.

А Саше Песняку, моему ровеснику, просто надоел Питер.

— Ты в Питере был? — спросил он меня в первый же день.

— Один раз, — сказал я.

— Значит, ты знаешь, — пристально посмотрел он мне в глаза.

— Что?

— Это самый страшный город на свете, — наклонился к моему уху Песняк. — В нем могут жить только сумасшедшие.

— Пять миллионов? — уточнил я.

— Пожалуй, больше, — подумав, сказал Саша. — Но это отдельный разговор.

— Конечно, — кивнул я.

Как раз в этот момент мы выбирали, какой иностранный язык изучать, и говорить вслух о пяти миллионах сумасшедших питерцев было неудобно.

— Ну, так что? — посмотрела на нас молодая преподавательница немецкого языка. — Записываю вас к себе?

— Йа, — сказал Саша. — Марширен, марширен зольдат унд официрен. Очень красивый язык.

Преподавательница покраснела и стала еще симпатичнее.

По университету я знал, что иностранные языки не были моим коньком, поэтому бросаться в омут незнакомого языка, пусть даже такого красивого, как немецкий, я не отважился.

— Пожалуй, останусь на английском, — сказал я. — Все-таки пять лет в университете учил. «Вечерний звон» Томаса Мора наизусть знаю.

— Это же русская народная песня, — строго сказал Саша.

— Народная, но в переводе с английского. Хочешь, прочитаю?

— Не надо, — остановил он меня. — Гете надо наизусть учить или хотя бы Гейне, любимого поэта Гитлера.

Преподавательница покраснела еще сильнее, попятилась и исчезла за углом.

— Очень хорошенькая, — сказал я.

— Потому и сдаюсь немчуре, — вздохнул Саша. — Англичанки все страшненькие.

— Не в красоте сила, а в правде, — пробормотал я.

— Правда в том, что пить меньше надо, — кивнул Саша на стоявшего неподалеку Владаса. — А ведь они нашли друг друга.

— Кто?

— Владас с монголом. Один приехал из Вильнюса, второй из Улан-Батора, а пьют как сапожники. Не меньше ведра влезает в каждого.

— Так уж и ведра, — не поверил я.

— Ты в общаге не живешь, а я знаю. Ведро у них норма.

Я действительно не жил в общежитии и многого не знал. Впрочем, меня это не беспокоило. Я пытался встроиться в московскую жизнь, которая, как ни крути, сильно отличалась от минской.

Во-первых, это уже была жизнь женатого человека. Конечно, я мог себе позволить позвенеть стаканами в «пестром» зале Дома литераторов, но после этого надо было непременно вернуться домой, и не слишком поздно. В прежней жизни эта тема была не столь актуальна. Как говорили мои земляки, доедем не за день, так за неделю. Я пытался объяснить супруге, что это вопрос менталитета, не более, белорусы не так прытки, как московиты, но она моих доводов не принимала.

— Чтоб был не позже одиннадцати вечера, — ласково, но твердо сказала она, и я понял, что спорить бессмысленно. Менталитет действительно был не тот.

Во-вторых, я все же сходил в Третьяковку. Это было очень хорошее собрание живописи. Особенно сильное впечатление на меня произвели Христос Иванова, Демон Врубеля и «Три богатыря».

— Тебе только большие картины нравятся? — спросила жена.

— «Московский дворик» Поленова тоже хорош, — сказал я.

Но Третьяковка по сравнению с Домом литераторов была все же эпизодом. Кстати, многие мои собратья по перу до нее так и не добрались, застряли в Доме. Но это вполне понятно. Пьянство для творческого человека представлялось более простым и естественным процессом, чем созерцание. Здесь Христос и Демон были нераздельны.

Ко мне из Минска приехал сокурсник по университету Димочка, и я, конечно, повел его в Дом литераторов. Как и остальные слушатели курсов, я гордился, что мог беспрепятственно проходить в Дом. В этом виделось чуть ли не главное преимущество члена Союза писателей над простыми смертными. Студенты Литературного института, которых в Дом не пускали, смотрели на нас как на небожителей. Мы легко соглашались с этим.

— Это все писатели? — спросил Димочка, оглядывая переполненный «пестрый» зал.

— Конечно, — сказал я. — Нас тут как собак нерезаных.

— И все пишут и прямо печатаются?

— Пишут уже далеко не все, — успокоил его я. — Большинство просто пьют. «Мастера и Маргариту» читал?

— Читал, — сказал Димочка. — А зачем стены стишками расписаны?

— Чтоб потомкам оставить.

Мы взяли по стопке водки и устроились в углу.

— Известные здесь есть? — спросил Димочка.

— Вон критик Уткин с компанией, по соседству прозаик Петровский, — показал я. — Смотри, что сейчас будет.

Петровский встал, заказал у стойки две рюмки водки, одну выпил, а вторую вылил на голову Уткину. Критик некоторое время посидел в оцепенении, тоже встал, заказал фужер водки и выпил его прямо у стойки. Затем он подошел к Петровскому и стукнул его по уху. Они вцепились друг в друга, но соседи вскочили и растащили дуэлянтов.

— Класс! — сказал Димочка. — Каждый день здесь такое?

— Конечно, — кивнул я. — Это же Дом литераторов. Лучшая кухня в Москве.

— При чем здесь кухня?

— Где пьют, там и бьют.

— Понятно, — сказал Димочка. — Мы, правда, по-другому говорили.

— Это у студентов по-другому, а здесь так.

Мы допили водку, и Димочка укатил к себе в Минск.

2

К занятиям на курсах я быстро приспособился. Лекции по литературе или политэкономии мало отличались от университетских. Может быть, преподаватели здесь чуть больше фрондировали, но на то она и Москва, чтобы все в ней было чуть больше.

Единственным светлым пятном были творческие семинары, на которых ты мог высказать своим товарищам прямым текстом все, что о них думаешь.

— Ты свои рассказы кроме жены кому-нибудь показываешь? — листал рукопись орловского прозаика Василия Песняк.

— А что? — багровел тот.

— Грамматических ошибок много. Хорошему писателю хороший редактор нужен.

Сам Александр корпел над переводами украинской дивы Анны Самосад. Жинка была гарная во всех отношениях: очи, зубы, волосы, стать.

— Хорошо пишет? — спрашивал я.

— Нормально, — отводил глаза Саня.

— Книга к концу курсов сложится?

— А як же.

— Что нового в изучении немецкого языка?

— Ребенку полтора года, — вздыхал Саня.

— Видишь, уже и ребенок есть. Очень хорошая преподавательница.

— Саня! — махала ему рукой от двери Анна. — Рукописи горят!

— Давай-давай, — отпускал я его. — Кто у вас мастер — ты или она?

Саня уходил трудиться над переводами, а я отправлялся в редакции журналов. Я знал, что имя писателю дают журнальные публикации. Но знал и то, что напечататься там я могу лишь как национальный автор. А на них существовала квота — узкая щель, протиснуться в которую можно было только с рассказами. Однако я не унывал, потому что отказ всегда можно было залить в Доме. Страждущих там было не меньше, чем празднующих.

Как-то я вернулся домой чуть позже обычного.

— Как дела? — спросила жена.

— В «Юности» рассказ обещают напечатать, — похвастался я.

— А в издательстве?

— Там тоже обещают, но с чужими переводами.

— Какими переводами?

— Не моими. Как переводчика собственных текстов меня в издательстве не воспринимают, только как автора.

— Дело в деньгах, — объяснила жена, — им ведь тоже заработать надо.

Алена работала в издательстве и знала, о чем говорила.

— А я и не возражаю, — пожал я плечами. — Пусть переводят. Книга важнее денег.

— Ты тоже свое получишь, — утешила жена. — Но я с тобой хотела поговорить не об этом.

— О чем?

— У тебя, вроде, времени свободного много.

— Имеется, — промычал я.

— Не хочешь употребить его с пользой?

— В Дом литераторов я и так хожу, — хмыкнул я. — Летом в Дом творчества съездим.

В квотах, которыми была строго регламентирована наша жизнь, были и свои плюсы. В Литературном фонде я вдруг узнал, что в писательских Домах творчества существуют республиканские квоты.

— И что? — спросил я сотрудника Литфонда, поведавшего мне об этом.

— А то, что белорусы свою квоту не выбирают, и ты в любой момент можешь подать заявление хоть в «Коктебель», хоть в «Дубулты». Даже в «Пицунду» можешь поехать.

— Так уж и в Пицунду, — засомневался я.

— Запросто. Из Минска подтверждают, что ты у них на учете, подаешь заявление и едешь, куда душа пожелает. Только в «Ниду» не пустят, это секретарский фонд.

Подобные сведения стоили отдельных ста граммов, и я их заказал. Благо, беседовали мы в буфете.

— Стало быть, для москвичей путевок нет, а для белорусов есть? — уточнил я.

— Ну да. Ваши аксакалы Дома творчества не любят.

— В дедовых хатах летом сидят, — кивнул я. — Смотри ты, иногда и националом хорошо быть.

— Националом быть хорошо всегда, — поднял палец вверх сотрудник. — Сначала роман на родном языке пишешь. Потом издаешь на русском, украинском, тмутараканском и далее по списку. Ты еще не родился, а на тебя уже квоту завели. Мы строго следим за очередностью.

Так вот, я был уверен, что в Дом творчества мы с женой поедем.

— О машине ты никогда не думал? — спросила Алена.

Я озадачился. Мысли о машине до сих пор в моей голове не появлялись. Единственным автомобилем, в котором мне всласть довелось покататься, был

колхозный грузовик. После седьмого класса родители отправили меня к родне в деревню, и я две недели колесил по проселочным дорогам с дядей Васей, колхозным шофером. В принципе, мне нравился запах бензина. Поначалу от сильной тряски я едва удерживался на сиденье, однако скоро приноровился и не обращал внимания ни на грохот двигателя, ни на клубы густой пыли, обволакивающей нас, когда грузовик останавливался.

— В шоферы пойдешь? — подмигивал мне дядя Вася.

— Не-а, — отвечал я.

Однако Алена говорила о какой-то другой машине.

— Я еще даже заявление в Литфонд не подал, — сказал я.

— Мой папа подал, — пожала плечами Алена. — Фронтовикам дают без очереди.

Это осложняло дело. К автомобилям без очереди я не был готов.

— Ну, так что? — не отставала Алена.

— Водительских прав нет, — вздохнул я. — Можно было на воинских сборах получить, но я забыл подать документы.

— А ты на курсы по вождению запишись. Ты ведь во второй половине дня свободен. Сразу двое курсов закончишь, водительские и литературные.

Иногда Алена обращалась со мной, как с малым дитем. Сейчас мне это особенно не понравилось.

— Сама запишись, — сказал я. — В Европе женщины давно водят машины.

— Я на работе устаю, — погладила меня по голове Алена. — У тебя и для Дома литераторов время останется.

Я раздраженно дернул плечом. Алена как всегда была права. В конце концов, машина не роскошь, а средство передвижения. Вот и начнем передвигаться. Точнее, я начну.

— Без курсов никак нельзя? — посмотрел я на нее.

— Никак.

— Они, небось, платные?

— Заплатим.

И я записался еще и на курсы по вождению.

Собратья по перу к этому отнеслись спокойно. Все-таки я для них был ненастоящим слушателем. Окончил университет, жил не в общежитии, по возрасту тоже младше большинства из них. Такой не только в автомобилисты может податься.

— Ты какую газету читаешь? — спросил меня татарский писатель Камиль.

— «Советский спорт».

— Она интереснее, чем лекция?

— Конечно! — удивился я.

— Футбол? — заглянул в газету Камиль.

— Я, вообще-то, борьбой занимался.

— У нас тоже борьба есть, — отодвинулся от меня Камиль. — Преподаватель говорит, Советский Союз не такой сильный, как Америка. Диссидентов много.

— Диссиденты — это особая порода людей, — объяснил я ему. — Сегодня уехал, завтра приехал. Главное, барахлом не обзаводиться.

— Татарам некуда уезжать, — загрустил Камиль.

— Каждому нормальному человеку некуда, — усмехнулся я.

Сам я отчасти тоже был диссидент. Конечно, никаких идеологических мотивов бежать из Минска в Москву у меня не было, но некоторые друзья расценивали мою женитьбу на москвичке как предательство. А тут еще машина. С автомобилем в кармане вернуться назад гораздо сложнее, чем без оного. Интересно, жена знает об этом?

3

О литературе чаще всего мы говорили на овощной базе. В отличие от университета, «картошку» в Литературном институте заменяла овощная база. Капуста, лук, перец, иногда виноград — очень хороший гарнир для литературы.

— Тебе кто из современных поэтов больше нравится? — спросил меня поэт из Перми Олег.

— Рубцов, — признался я.

— А мне Слуцкий.

— Рубцов пьяница, — вмешалась в разговор грузинская поэтесса Тамара. — Разве можно с таким жить?

— Ты и не живи, — усмехнулся Олег. — Просто читай.

— Просто читать мы не можем! — полыхнула глазищами Тамара.

«Очевидно, женщины к Рубцову испытывают особенно сильные чувства, оттого одна из них и придушила его», — подумал я.

— Ты тоже с поэтессой живешь? — спросил я Олега.

— Живу, — пригорюнился он. — Но они ведь не все такие…

— Все не все, — взял я в руки кочан капусты, — но лучше держаться от них подальше. Целее будешь.

— Я тоже поэтесс боюсь, — сказал Песняк.

— То-то за Анькой таскаешься, — хмыкнул Олег.

— Она прозу пишет.

— А с виду чистая поэтесса.

С этим трудно было поспорить. У Анны не только волосы, зубы и стать, но и огонек в глазах, который не спутаешь ни с каким другим. Натуральная ведьма, сказали бы у нас на Полесье.

— Слуцкий тоже хороший поэт, — сказал я.

— Но не такой, как Рубцов! — пнул ногой кочан капусты Песняк.

Он явно нарывался на скандал.

— Еврей? — посмотрел на него Олег.

— При чем здесь еврей? — смешался Александр. — Я о евреях вообще ничего не говорил.

— Тогда почему он плохой поэт? — буравил его глазами Олег.

— Коммунист!

— Это Межиров, — неизвестно откуда появилась Анна. — Коммунисты, вперед!

Она схватила Песняка за руку и утащила в темную часть помещения.

Диспут закончился. Межиров руководил у нас поэтическим семинаром, и говорить о нем в таком тоне могли себе позволить только прозаики. Да и то не все.

Семинар прозы у нас вел главный редактор газеты «Литературная Россия» Эрнст Сафонов. В литературных кругах он прославился тем, что, будучи руководителем Рязанской писательской организации, отказался исключать из нее Солженицына.

— А ты откуда знаешь? — спросил я Песняка, который и рассказал мне эту историю.

— Об этом все знают. Прикинулся, что у него перед собранием приступ аппендицита, и лег в больницу.

— Ради чего?

— Чтобы имя осталось незапятнанным. Сейчас вот главный редактор газеты, преподаватель института.

— Я думаю, дело не в этом, — сказал я.

— А в чем? — выпучил глаза Александр.

— Рязанцы всегда были антагонистами Москвы. Они даже с татарами против Москвы воевали. И когда из Москвы позвонили, что Солженицына надо исключить, Сафонов лег под нож. Назло им всем.

Как раз в это время я читал белорусско-литовские летописи, и противостояние Москвы и Рязани было мне близко.

— Но Солженицына ведь все равно исключили, — сказал Песняк.

— Это потом, — махнул я рукой. — А тогда своим аппендицитом Эрик им всем здорово насолил.

— Может, ты и прав, — почесал затылок Александр. — О Рязани я как-то не подумал.

Ко мне Эрик относился благосклонно. Наверное, он видел во мне прямого потомка литвинов, которые тоже воевали с московитами. А может, ему понравился один из моих рассказов.

— Напечатаем, — сказал Сафонов. — Надо обновить список авторов. Одни старперы кругом.

Рассказ напечатали, и я вдруг обнаружил, что не всем это понравилось.

— С москалями сдружился? — подмигнула мне Самосад.

— Сдружилась ты, я просто напечатался, — огрызнулся я.

— А жинка звидкиля?

— Жинка не лапоть, с ноги не скинешь, — вспомнил я народную мудрость. — У самой сколько чоловиков було?

— Трое, — расхохоталась Анна. — Я про них давно забыла. Сейчас Санечка мой чоловик.

Песняк хрюкнул, побагровел и стал лихорадочно листать какую-то книгу.

— Нервный, — со смешком прильнула ко мне Анна. — Рассказы нигде не берут. А я и не ношу никуда. С москалями договориться трудно, одни белорусы это умеют.

Она сказала — «билорусы».

— А ты Эрику отдай, — сказал я. — Он нас любит.

— Мужики в нас другое любят, — хихикнула Анна. — Да, Санечка?

Песняк мрачно молчал.

«Я с такой и день не выдержал бы, — подумал я. — Почему стервы нравятся больше обыкновенных?»

— Потому, — толкнула меня тугим бедром Анна. — Прямо дети, а не писатели.

— А что, писателями становятся только после трех жен? — посмотрел я на нее.

— Мне и одной хватило, — пробурчал Песняк. — По гроб жизни буду помнить.

— А меня? — обняла его Анна.

— Я твой переводчик, — высвободился из объятий Александр.

«Интересно, кто станет переводить меня? — подумал я. — Белорусу хорошего переводчика не достанется».

Здесь я как в воду глядел. В издательстве мне дали переводчика, который не знал не только слов, но и реалий деревенской жизни. В повести у меня мать молодой вынесла сватам гарбуз. Это значит — отказала. В переводе она угостила сватов арбузом.

— Гарбуз — это тыква, — объяснил я переводчику.

— А как будет арбуз? — удивился он.

— Кавун.

— Ага, — стал он черкать в рукописи, — угостила тыквой…

— Да не угостила, — сказал я, — дала отлуп.

— Какой отлуп? — совсем запутался переводчик. — По-белорусски отлуп тоже тыква?

Мы еще немного побеседовали с ним о сложностях перевода с родственных языков, и я отправился к редактору.

— Не знает языка? — сдвинул он на лоб очки. — Не может быть, белорусский даже я знаю.

— Вот и переводите! — обрадовался я.

Редактор и переводчик в одном лице устраивали меня гораздо больше, чем по отдельности.

— Работы много, — снова спрятал глаза за стеклами очков редактор. — С вашей рукописью повозиться придется.

— А я подстрочник принесу.

— Ладно, что-нибудь придумаем, — придвинул он к себе папку с рукописью. — На какой год вы у нас стоите?

Я понял, что мои дела ощутимо поправились. Редактор, проявивший интерес к твоей рукописи, — это уже соавтор.

— Они тебе и дали переводчика, чтоб ты пришел в ужас, — сказала Алена, когда я поведал ей о своих издательских мытарствах. — Думаю, тебя переведет кто-то из друзей редактора, а деньги поделят.

Позже все так и случилось. Но к этому времени я уже перестал удивляться жениной прозорливости. Все-таки они здесь жили по другому уставу. И он так и остался для меня тайной за семью печатями.

4

Во время летних отпусков и каникул мы решили сначала съездить в Налибокскую пущу на рыбалку, а затем в Вильнюс. У старшего брата Алены Леонида была «Нива», и не воспользоваться этим было грешно.

План нашего путешествия был прост. Леня, его жена Марина и Алена приезжают на машине ко мне в Минск. Затем все вместе мы едем в пущу, а оттуда в Вильнюс.

— До Вильни всего три часа на машине, — сказал я. — А из пущи и того меньше.

— Лучше бы подольше поездить, — возразила Алена. — Тебе надо привыкать к машине.

«Не только к машине», — подумал я.

Алена занялась сборами, а я отправился в Минск. Вторые ключи от своей квартиры я дал Николаю, бывшему однокурснику, жившему со мной в одном доме. Предполагалось, что он будет за ней приглядывать.

Не успел я вставить ключ в замочную скважину, как дверь распахнулась. На пороге стояла хорошенькая девушка в коротком халате. Похоже, она еще не приняла душ и не выпила утренний кофе.

— Ты кто? — уставился я на нее.

— Светлана.

— А здесь что делаешь?

— Николай Павлович поселил.

— Ко мне завтра жена приезжает.

Я сделал страшные глаза. Девушка заметалась по квартире, схватила сумку с вещами и убежала.

— Племянница, — объяснил мне вечером Николай. — Я хотел тебе позвонить, но не успел. У нас пока поживет, а в сентябре ей дадут общежитие.

— Главное, чтоб лифчик не забыла, — сказал я.

— Не забудет, — пообещал Николай. — Сам прослежу.

Московские гости должны были прибыть вечером, но появились они глубокой ночью.

— Машина по дороге сломалась, — сказал со смешком Леонид. — Часа три ковырялся.

— Гораздо больше! — подала голос из прихожей Алена. — Мы уж думали, там и заночуем.

Я вспомнил, что грузовик дяди Васи тоже ломался, но он быстро приводил его в порядок. А кто станет чинить мою машину, если она сломается?

— Ты и будешь, — пожал плечами Леонид. — Ночью на дороге помощников нет.

До обеда мы отсыпались, затем прогулялись по городу, а рано утром укатили в пущу.

Дорогу до нужного места я знал, но не учел, что от шоссе до реки обычно мы топали пешком.

— Разве машины здесь ездят? — спросил Леонид, когда «Нива» окончательно села посреди гати. — Никаких следов не видно.

Часа за два мы подлатали гать, вытолкали машину и подрулили к реке. Это была та Ислочь и не та, я ее едва узнавал. Ручей, впадающий здесь в реку, и тот стал в два раза меньше.

Мы поставили палатки, снарядили удочки и начали ловить. Не клевало.

— Какая, говоришь, здесь рыба? — спросил Леонид.

— Хариус, форель, голавль, елец, — перечислил я.

— На перекате надо на ночь перемет поставить.

В устье ручья я все же надергал мелочи на уху.

— А где хариус? — спросила Алена.

— В ямы скатился, — сказал я. — Или вверх по реке ушел.

Когда стемнело, на перемет сел крупный налим.

— Хорошая река, — удовлетворенно кивнул Леонид. — А хариуса в другой раз поймаем.

Мы забрались в палатку, и я сразу уснул.

Утром я познакомил Алену со здешними достопримечательностями.

— Вон бобровая хатка, — показал я, — а с этого обрыва выдра катается.

— Как это — катается? — не поняла она.

— Съезжает на пузе и плюхается в воду. Рыбу пугает.

— Зачем?

— Нас дразнит. После паводка здесь утонувших диков много.

— Кого?

— Диких кабанов. В прошлый раз один на перекате лежал, а второй застрял прямо на дереве.

— Настоящая пуща, — посмотрела в лесную чащу Алена.

— Километрах в пяти вверх по реке охотничий замок Тышкевичей стоит.

— Кто такие Тышкевичи?

— Здешние магнаты. Один фундамент от замка остался.

Сегодня пуща была больше похожа на прежнюю. Стеной стояли по берегам реки сплошь усыпанные ягодами кусты дикой смородины. Блинами торчали из земли большие шляпы подосиновиков. Гулко куковала кукушка.

Но задерживаться здесь мы не могли, потому что в Вильнюсе Владас заказал нам гостиницу.

Граница между Белоруссией и Литвой была символическая, однако литовцы постарались, чтобы ее заметил всякий проезжающий. Асфальт на въезде в Литву был накатан на несколько сантиметров выше.

— Хорошие дороги, — сказал Леонид, когда машина ощутимо подпрыгнула сразу за столбиком с надписью на литовском.

— Живут богаче нашего, — согласился я. — Два года назад мы с Димочкой отдыхали в Паланге, так там возле каждого дома две машины. И домики в два этажа.

— А где они эти машины берут? — спросила Алена. — У нас ведь все строго по разнарядке.

— В Белоруссии, — вздохнул я. — Подъезжают прямо к автосалону, предлагают на тысячу больше, и люди отдают машины. Тысяча для нас большие деньги.

В Вильнюсе мы поселились в гостинице рядом с железнодорожным вокзалом. Владас показался буквально на одну минуту.

— Как устроились? — спросил он, пряча лицо в каком-то немыслимом шарфе.

— Няплохо, — усмехнулся я.

«Няплохо» было любимое словечко Владаса. Судя по бегающему взгляду и дрожащим рукам, сейчас ему было далеко до этого самого «няплохо».

— Ну, я пошел, — сказал Владас и пропал за углом.

«Со старой женой не помирился, а новую не нашел», — подумал я.

Третьяковкой в Вильнюсе был бывший кафедральный собор, здесь говорили — Катедра. Я показал Алене работы старых белорусских художников, которые в ней были выставлены.

— Почему они хранятся здесь, а не в Минске? — спросила Алена.

— Когда-то у нас было одно государство — Великое Княжество Литовское.

— Но теперь ведь разные?

— Условно. В любой момент можно приехать и посмотреть.

Я знал, что после войны стоял вопрос о возврате культурных ценностей, но белорусское правительство не проявило должной настойчивости. Впрочем, оно не проявляло ее никогда и ни в чем. Да и сам Виленский край считался скорее Польшей, чем Белоруссией. Во всяком случае, анекдоты здесь рассказывают на польском. «Вчера был в бардзо пожондной компании». — «Кто там был?» — «Я, кафедральный гувнеж, панна Зося, цо я кохам, еще една курва…»

— Что такое «пожондный»? — спросила Алена.

— Приличный.

— Гувнеж — это мусорщик?

— Ну да. А курва…

— Остальное я поняла.

— Не станут они вместе с нами жить, — сказал Леонид. — Отделятся при первом удобном случае.

— Почему? — удивилась Марина, которой в Вильнюсе нравилось все, от костелов до кафе.

— Слишком многое им разрешают. По-русски и говорить не хотят.

— В Латвии и Эстонии еще хуже, — сказал я.

— Хорошо только там, где нас нет, — хмыкнул Леонид.

— Без России всем будет плохо, — неожиданно для себя оборотился я в русопятого. До этого в Доме литераторов я спорил с ними до хрипоты.

— Пусть живут как хотят, — пожала плечами Марина. — Будем в гости друг к другу ездить.

Развивать дальше эту тему мне не хотелось. Национальный вопрос слишком щепетилен для публичного обсуждения.

— Цеппелины хороши, — сказал я. — Может, еще съедим?

— Почему они называются цеппелинами? — спросила Марина.

— Из-за формы, наверное.

Цеппелины отдаленно напоминали мои любимые колдуны — сверху картошка, внутри мясо. Но мама колдуны делает совсем по-другому: натирает картошку на терке, заворачивает в нее мясной фарш, затем обваривает и обжаривает. Литовские цеппелины скорее похожи на зразы.

Вечером мы влезли на башню Гедимина и осмотрели город с высоты птичьего полета.

— Когда-то это был Кривой город, — сказал я. — В нем жил верховный жрец кривичей Криво-Кривейто. На шее у него было ожерелье из медвежьих когтей, на плечах козлиная шкура, в руках кривой посох.

— В какие времена это было? — взяла меня под руку Алена.

— В незапамятные.

Краснели черепичные шпили костелов. В окнах домов Старого города отражалось вечернее солнце. В парке под нами густились тени. Над верхушками деревьев с карканьем кружились вороны.

Еще один день Вильни уходил в вечность. Сколько их отмерено городу? И кто определяет судьбу городов?

— Пока его хранит Матка Боска Остробрамска, он не исчезнет, — прижалась ко мне Алена.

Она была права. Город будет стоять до тех пор, пока к чудотворному лику виленской иконы будут ползти на коленях люди.

5

Занятия по вождению у меня начались с того, что я лишь по счастливой случайности не въехал в ель. Дерево стояло в самом конце площадки. Я до него докатил и остановился в сантиметре от ствола.

— Молодец, — сказал инструктор. — Будешь ездить.

Он не сделал даже попытки нажать на тормоз, хотя прекрасно видел, что я съехал с асфальта на газон.

— А если бы стукнулся? — спросил я.

— Но у тебя же есть глаза, — сказал он. — Или нету?

— Есть, — буркнул я. — Педаль тормоза потерялась.

— Нашел?

— Нашел.

— Я и говорю — молодец. Все так начинают.

Я успокоился. Главное, не быть худшим среди равных, это я знал еще по армейским сборам.

— Ты кто по специальности? — поинтересовался инструктор.

— Писатель.

Инструктор покосился на меня. Похоже, писателей среди его учеников еще не было.

— Это которые пишут? — хмыкнул он.

— Ну да.

— Хуже всех ездят безработные.

— Кто? — удивился я.

— Жены начальников и их дочки. Говоришь ей «направо», она поворачивает налево. Кино!

— Но ведь научаются?

— Даже обезьяну можно научить.

— Писатели безработными не считаются, — сказал я. — У нас трудовой стаж идет.

Инструктор молча пожал плечами.

На лекциях по литературе я теперь изучал не «Советский спорт», а правила вождения.

— Машину купил? — спросил Камиль.

— Пока учу правила.

— Зачем учить — купи, — удивился он. — У нас все покупают.

— Так вы же татары, — сказал я.

— Здесь тоже все покупают, — махнул он рукой.

— А в Белоруссии сдают экзамены, — уперся я.

Камиль недоверчиво посмотрел на меня, но промолчал.

Миша, поэт из Омска, тоже читал на лекциях какую-то брошюру. Я присмотрелся — правила по борьбе.

— Я пять лет боролся, — подошел я к Мише на перерыве. — Связки на левой стопе порвал, два ребра сломал, перебил нос. Про пальцы на руках и не говорю.

— Какой носишь пояс? — уважительно спросил Миша.

— В вольной борьбе не пояса, а звания. Всего лишь кандидат в мастера.

— В нашей борьбе пояса, — спрятал брошюру за спину Миша.

— Джиу-джитсу?

— Карате.

— Это где кирпичи о башку ломают? — неожиданно влез в нашу беседу Песняк. — Я тоже могу.

— О свою башку или чужую? — уточнил я.

— Лучше, конечно, о чужую, — признался Александр. — Но и своей не жалко. Как вспомню, что надо в Питер возвращаться…

— А ты не возвращайся, поезжай к Анне в Херсон. Она, небось, новый роман написала.

— У Анны в Херсоне две дочки, — стал загибать пальцы Песняк, — три мужа, а это, стало быть, и три свекрови, дом, сад и огород. И вообще, там одни хохлы.

— У нас анекдот рассказывают, — неслышно подкралась к нам Анна. — Внучок подбегает к деду и кричит: «Диду, диду, москали в космос политыли!» — «Уси?» — достал дед изо рта люльку.

Владас, стоявший довольно далеко от нас, громко заржал.

— Казлаускас! — помахал я ему рукой. — Как по-литовски «козел»?

Владас не расслышал.

— Козел на любом языке козел, — сказала Анна. — А Санечку я могу к своей подруге пристроить, она сейчас без чоловика.

— Не нужна мне никакая подруга! — дернул плечом Александр.

— Шучу! — прижалась к нему Анна. — Пойдем в ЦДЛ, я угощаю.

— У меня занятия по вождению, — сказал я. — Не было печали, так черти накачали.

— Зато будет кому жену возить! — подмигнула мне Анна. — Как твоего кота звать?

— А что?

— У нас тещиного кота на «вы» называют.

Теперь заржали все вокруг.

Я попытался объяснить, что у меня попугай, а не кот, однако никто не слушал.

Попугая мы купили случайно. Поехали на экскурсию на Птичий рынок, и вернулись оттуда с клеткой, мешочком проса, поилкой и волнистым попугайчиком. Троша был желтый с зеленоватым отливом, глаза красные, клюв розовый. Он громко чирикал и весело порхал по комнате. Любимым его занятием было висеть, зацепившись одной лапкой за верхний край трюмо, и разговаривать со своим отражением. Время от времени он долбил себя в зеркале клювом, но несильно.

Я как-то прислушался к его воркотне. «Тр-роша кр-расивый», — отчетливо расслышал я.

— А он давно разговаривает, — пожала плечами Алена. — Лучше всего у него получается стук пишущей машинки.

Ну что ж, попугай, живущий в семье писателя, и должен стучать, как машинка. Я успокоился.

Но однажды в привычном наборе слов — «Троша красивый», «Троша очень хорошая птичка» — я услышал новые мотивы. «Кушать хочешь, — бормотал Троша, пощелкивая клювом по зеркалу, — пиши-пиши, Кожедуб».

— Твоя работа? — спросил я жену.

— Он сам научился! — открестилась Алена. — В нашей семье все талантливые.

Возразить на это было нечего.

Однажды нам показалось, что у Троши пропал аппетит, и мы насыпали в его кормушку чищеных грецких орехов. Это была роковая ошибка. Троша обожрался и перестал летать. Он грузно шлепался на пол, на обломанном кончике клюва повисала капелька крови.

Чтобы хоть как-то утешить его, мы стали втыкать между прутьев клетки ветку орешника, а возле поилки повесили круглое зеркальце. Троша аккуратно общипывал на ветке листья, затем подолгу разговаривал со своим отражением в зеркальце. Тем не менее характер у него испортился, и он постоянно норовил ущипнуть тебя за палец. Прокусить до крови ему никак не удавалось, и он злился еще сильнее.

Весть о попугае, наставляющем Кожедуба писать, как ни странно, наибольший резонанс имела в Минске. Вероятно, для нее здесь была более питательная почва.

— На пару с попугаем пишешь? — хлопнул меня по плечу Алесь. — Давай-давай, без попугая у тебя хуже получалось.

— Почему это хуже? — оскорбился я.

— До него в московских журналах ты не печатался. Небось, уже и книга на выходе?

Я промолчал. Книга действительно была на выходе в издательстве «Молодая гвардия».

Мы сидели в Доме актера, который в народе назывался «Мутный глаз». Буфетчицей здесь работала жена старшего брата Алеся Галя, что, согласитесь, во времена обрушившегося на страну сухого закона имело большое значение.

— Привык уже к Москве?

Я снова промолчал. Москва действительно затягивала меня в свое чрево, как болотная топь корягу. Сначала три сучка из нее торчат, затем два, а там одни пузыри на поверхности.

Я не только ходил в музеи и театры, но и съездил на открытие памятника Сергию Радонежскому. Это было полузапрещенное мероприятие, и народ на него валил валом. В переполненной электричке колыхались хоругви общества «Память». Рядом вздымались стяги последователей Рериха, их

называли «рехнутыми». Где-то здесь были и апологеты Порфирия Иванова, исповедовавшие ходьбу по сугробам босиком и обливание ледяной водой, но я их никак не мог разглядеть. Ближе к тамбуру толпились, прижимая к груди иконы, какие-то мужички.

У меня в руках ничего не было, и я себя чувствовал неуютно.

— Надо было Евангелие взять, — сказал я жене.

— Держи бутерброды, — тут же всучила она мне пакет.

От электрички до памятника мы долго шли пешком. Колонна со священниками во главе и хоругвями отчего-то напоминала воинскую. Сам памятник был оцеплен милицией. «Как бы битвы не случилось», — подумал я. Однако милиция молча пропустила нас.

— Зачем они здесь? — прошипела Алена.

— Для порядка, — сказал я.

Начался митинг, и мне стало скучно. Я не любил митинги со студенчества. Однажды на демонстрации я уговорил товарищей взять по портрету Брежнева и сбиться в кучу. Отловили нас уже на подходе к трибуне с начальством. Гражданин в штатском, схвативший меня за руку, едва сдержался, чтобы не дать мне по шее.

— Марш в хвост колонны! — рявкнул он.

Я с готовностью подчинился.

— В Москве тоже есть свои плюсы, — сказал я Алесю. — Учусь машину водить.

— И как?

— Пока никак.

— Вождение на сборах помнишь? — подмигнул он мне.

И я вспомнил.

6

В университете на «военке» мы изучали автодело, и на сборах, после которых нам должны были присвоить звание лейтенанта, сдавали экзамен по вождению.

Преподаватели у нас в основном были офицеры, отличившиеся во время арабо-израильского конфликта и в других горячих точках. Это были боевые офицеры, вместо санатория отправленные к студентам, однако и они понимали, что университетские сборы мало отличаются от горячих точек, из которых они только что прибыли.

— Молчать, кого я спрашиваю! — прервал майор Петров курсанта Рисина.

Он сосчитал про себя до десяти, одернул китель с орденской планкой и посмотрел в наглые глаза Рисина.

— Значить, пистолет плохой? — с расстановкой спросил он.

— Так точно! — радостно выкрикнул тот.

— Давай сюда пистолет. А сам приволоки вон тот ящик.

Майор приказал Рисину привязать к ящику веревку и на счет «раз-два-три» сильно дернуть. Он влез на ящик и стал спиной к мишени.

— Ты все понял? — еще раз спросил майор. — Дергай изо всех сил.

Рисин поплевал на руки и взялся за веревку. Мы с интересом наблюдали за происходящим.

— Попадет? — толкнул я Алеся.

Тот пожал плечами. По жизни он был скептиком.

По команде Рисин выдернул ящик из-под ног майора. Падая, тот три раза выстрелил, вскочил на ноги и отряхнул пыль с галифе.

— Сколько выбил? — спросил он замкомвзвода Алехновича, бросившегося к мишени.

— Двадцать восемь, товарищ майор! — козырнул старшина.

— Слабовато.

Майор передал оружие Алехновичу и направился, прихрамывая, к майору Денисову, руководившему стрельбами в другом взводе. На Рисина он даже не взглянул. Только сейчас мы заметили, что майор хромает.

— Откуда я знал, что он циркач, — сказал Рисин.

Наглости в его глазах уже не было.

— Стрелять учись, салага, — надвинул ему на нос пилотку Алехнович.

Однако у нас говорят — не плюй, оно до конца такое. Курсант Рисин не успокоился.

Экзамен по вождению у нас принимал подполковник Семенов. Был он высок, подтянут и чуть вальяжен.

— Итак, — прошел он вдоль нашего строя, — каждый из вас должен завести бронетранспортер, проехать сто метров, развернуться и остановиться в указанном мной месте. Вопросы есть?

— Никак нет! — гаркнул Рисин.

Обычно он стоял в задних рядах, а тут вылез на глаза начальству.

— Ну, заводи, — усмехнулся подполковник.

Рисин сел на место водителя. Семенов тщательно протер свое сиденье носовым платком и устроился рядом с ним. Взревел двигатель.

Дорога, по которой надо было проехать, вилась вдоль подножия склона. Это была обычная проселочная дорога без крутых поворотов и глубоких колдобин.

Бронетранспортер с места скакнул козлом, взял влево и стремительно попер вверх по склону.

— Куда?! — истошно завопил Алехнович. — Сворачивай на дорогу!

Бронетранспортер, будто услышав команду старшины, повернул и поскакал по кочкам, сильно кренясь, параллельно дороге.

— Сейчас перевернется, — обреченно сказал Алехнович.

Подполковник, до этого сидевший, как манекен, вдруг выпрямился и сиганул через борт. Пролетев «ласточкой» метров пять, он рухнул на землю и покатился по склону.

Бронетранспортер подскочил на ухабе, тоже пролетел несколько метров, вильнул и выскочил на дорогу.

— Ура! — грянули мы и разразились овациями.

Бронетранспортер остановился. Рисин медленно выбрался из него. Похоже, ноги его не слушались.

Подполковник тоже медленно встал на ноги. Но это уже был другой подполковник. Форма висела на нем мешком, сапоги были покрыты толстым слоем пыли, фуражки на голове не было вовсе, и ноги его держали так же плохо, как Рисина.

Они встретились неподалеку от нас.

— Товарищ подполковник… — поднес дрожащую руку к пилотке Рисин.

Семенов, не глядя на него, махнул рукой.

— Старшина, — сказал он, — доставить бронетранспортер в гараж. Экзамен отменяется.

— Слушаюсь! — щелкнул каблуками Алехнович.

Больше мы подполковника Семенова не видели. Экзаменационные отметки он проставил, не выходя из штабной палатки. Рисин получил «отлично».

— А ты классный водила, — смерил долгим взглядом Рисина Алехнович. — Без дураков.

Рисин снисходительно кивнул в ответ. К этому моменту он снова обрел бравый вид.

Некоторые из курсантов получили после сборов водительские права, но как им это удалось, я не знал. Меня тогда автомобили, от бронетранспортера до «Запорожца», не интересовали.

— В центр уже выезжаешь? — спросил меня Песняк.

— Пока по Олимпийской деревне кручусь, — сказал я. — Там знаки на каждом углу натыканы.

— Это хорошо, — вздохнул Александр. — Чем больше запретов, тем лучше. Главное, своего попугая слушайся. Он плохому не научит.

— У тебя вместо попугая Анна?

— Анна — это особый случай, — поднял вверх указательный палец Песняк. — Само-сад. Сама садик я садила, сама и выращивала. Чужих в ее саду не бывает.

— Самосад — это тютюн, — сказал я. — Очень вонючий табак. А жинка гарна.

Александр кивнул и направился к Анне, стоявшей в окружении мужиков. Она громко смеялась, но взгляд, с которым я столкнулся, был холоден.

«Хлебнет с ней Саня, — подумал я. — Точнее, уже хлебнул».

Я не жил в общежитии, но знал, что слушателям курсов скучать некогда. У одного роман начинался, у второго кончался, старшие товарищи из национальных республик романы не крутили, а писали. Выглядели они значительно мрачнее первых. Поэты просто пили, но на то они и поэты.

— Кто видел Кудряшкина? — спросила перед занятиями Марина Леонтьевна, заведующая учебной частью. — Неделю уже не ходит.

— Скоро появится, — сказал Песняк, — последний рубль пропьет — и придет.

— А он в долг станет пить, — хихикнула Анна.

— Передайте: завтра не придет — отчислим, — захлопнула журнал Марина Леонтьевна. — Совсем распустились.

Я в этих диспутах не участвовал, поскольку романы не крутил и не писал. Да и в Доме литераторов бывал уже значительно реже. Надвигались выпускные экзамены.

7

— Экзамен придется сдавать по месту жительства, — сказал мне преподаватель автодела. — Документы об окончании курсов мы вам выдадим, и дальше действуйте самостоятельно.

— Как это — самостоятельно? — почесал я затылок. — В данный момент я здесь живу.

— А прописаны в Минске. Приедете домой, подадите заявление в ГАИ и сдадите.

Я понял, что деваться некуда.

— Ну и поезжай, — сказал Алена. — Здесь наверняка пришлось бы платить.

— За что?

— За экзамен. В Москве за все надо платить.

— На литературных курсах мы никому ни за что не платили.

— Там организация заплатила, — как маленькому, растолковала жена. — Времени у тебя полно, поезжай и сдавай экзамен. На выходные я тоже приеду, похожу по магазинам.

Это было любимое ее занятие — гулять по магазинам. В Москве она работала в двух шагах от ГУМа, но минский ГУМ, конечно, сильно отличался от московского. Я с этим не спорил.

— Что это вас в Москву занесло? — спросил лейтенант минского ГАИ, принимая от меня заявление.

— Учусь на Литературных курсах, — сказал я. — Заодно решил права получить.

— Ну-ну, — хмыкнул лейтенант. — Посмотрим, чему вы там научились.

Я на его слова не обратил внимания, и совершенно напрасно.

Первым был экзамен по правилам дорожного движения, которые я знал, как мне казалось, назубок. Я вытащил билет и увидел на нем вклеенные полоски бумаги с напечатанным на машинке текстом.

— А это наши республиканские дополнения, — сказал лейтенант. — Каждый регион страны может внести в правила свои изменения. Но их немного.

Он ухмыльнулся.

Я имел право на одну ошибку в ответах. «Ладно, — подумал я, — главное — правильно ответить на основные вопросы».

И сделал ошибку в первом же вопросе. Вместе с дополнениями, которых я не знал, получилось две ошибки.

— Не сдали, — радостно сказал лейтенант. — Следующий экзамен через две недели.

— Почему через две? — уставился я на него.

— Так ведь надо подготовиться. За один день все билеты не выучишь.

— Я знаю билеты.

— Это видно, — кивнул лейтенант. — Приходите через две недели. У нас чаще всего срезаются на вождении, а вы даже правил не знаете.

Я вышел на улицу. Похоже, получить права в Минске не такое простое дело. Не на тех, видимо, курсах учился.

У входа в «Мутный глаз» я встретил Алеся.

— Что нос повесил? — спросил он.

— Экзамен по правилам дорожного движения завалил.

— Где?

— В ГАИ.

— Ты что, идиот? — посмотрел на меня Алесь. — Зачем в ГАИ поперся?

— Сдавать экзамен, — вздохнул я. — В другом месте не принимают.

— К Сергею надо идти, а не в ГАИ, — стукнул он меня по спине. — Пошли за бутылкой.

По дороге в магазин я узнал, что за время учебы на московских курсах я сильно отстал от жизни. Сергей, наш университетский товарищ, стал главным редактором милицейской газеты «На страже Октября».

— Полковничья должность! — сказал Алесь. — А ты в ГАИ бегаешь. Проще надо быть. Не гордиться.

— Сколько бутылок брать? — спросил я.

— Две.

Я купил две бутылки водки, и мы отправились к Сергею в редакцию.

— Вот! — Алесь подтолкнул меня к столу, за которым восседал Сергей. — Ему права не дают.

— Кто не дает? — изумился Сергей, вставая.

— ГАИ, — пролепетал я.

— Не может быть! — снова сел на место Сергей. — Сейчас разберемся.

Он нажал на кнопку селектора:

— Майор Данилец, зайдите ко мне.

— Замполит ГАИ! — шепнул мне на ухо Алесь.

Майор тщательно записал все мои данные в блокнот.

— Завтра в десять ноль-ноль, — сказал он. — Успеете?

— Постараюсь, — сказал я.

Майор вышел из кабинета.

— Накрывать? — показал на столик в углу Алесь.

— У меня совещание, — вздохнул Сергей. — Давайте без меня.

— Одну бутылку тебе, — поставил в сейф с бумагами бутылку Алесь, — вторую выпьем в «Мутном глазе». По-честному.

— А со мной что? — посмотрел я на Сергея.

— Тебе же сказали — завтра в десять за правами, — засунул вторую бутылку в папку Алесь. — Не опаздывай.

Мы пожали руку Сергею и удалились.

— Тяжелая у него работа, — сказал Алесь. — Выпить с друзьями толком не может. Но ничего, я к нему в пятницу заскочу. В конце недели у него полегче. А у тебя что за срочность с правами?

— Машину покупаю.

— Тещу возить?

— На рыбалку с тестем станем ездить.

— Совсем обмоскалился. Может, и пить бросил?

— Ну уж нет, — сказал я. — Этого они от меня не добьются.

В кафе я встретил многих знакомых и каждому рассказал, что завалил экзамен по правилам дорожного движения.

— У вас тут другие правила, — объяснял я. — Куда стрелка показывает, туда и едешь. В Москве наоборот.

— Как же ты там живешь?

— Привык.

О своем визите к Сергею мы с Алесем не распространялись. Я хорошо помнил пословицу «не говори гоп, пока не перепрыгнешь». У Алеся, вероятно, были свои резоны.

К концу вечера в кафе стоял такой гам, что рассказывать о каких бы то ни было экзаменах не имело никакого смысла. Это уже был настоящий «мутный глаз», в котором не видно ни зги.

8

Права выдавал тот самый лейтенант, который обещал мне устроить веселую жизнь через две недели.

— Распишитесь, — подал он экзаменационную ведомость.

Я расписался.

— И вот здесь, — показал он на правах.

Я и там расписался. Меня подмывало спросить, кто станет его жертвой через две недели, но сдержался. Ковыряться в разверстых ранах не самое гуманное занятие.

— Спасибо, — сказал я.

— Катайтесь, — буркнул лейтенант.

— Это будет в Москве, — утешил я его. — А там другие правила.

Лейтенант досадливо дернул плечом. Чувствовалось, общение со мной стоило ему немало усилий. Ничего, на ком-нибудь другом отыграется.

Дома я показал права жене.

— Очень хорошо, — сказала она. — Мы как раз открытку из автоцентра получили.

— Открытку? — поразился я.

— Нам выделили шестую модель «Жигулей». В четверг нужно получать.

События развивались намного стремительнее, чем я ожидал.

— Я еще диплом об окончании литературных курсов не получил, — сказал я.

— Получишь, — пожала она плечами. — Экзамены ты ведь сдал?

Экзамены я сдал. Даже если бы и не объявился на них, все равно выдали бы диплом. Да и не диплом — свидетельство. А в свидетельстве ни тебе отметок, ни гербовых печатей. Что-то вроде свидетельства об окончании университета марксизма-ленинизма, которых у меня целых два.

— Наши по случаю окончания на неделю в Питер едут, — сказал я. — За счет Союза писателей.

— В Питер мы и сами съездим, — погладила меня по плечу Алена.

— На машине? — взглянул я на нее.

По глазам Алены я понял, что ей страстно хочется отправиться туда именно на машине, и как можно скорее.

— Нет, — вздохнула она. — Тебе еще надо по городу покататься.

И лейтенант ГАИ, и Алена были уверены, что машина мне нужна для катанья. Сильны все же в нас эти традиции. «Поедем на тройке кататься…»

— А в Коктебель? — спросил я. — Заявление я давно подал.

— Поедем, — кивнула жена. — На поезде.

Я оценил жертвенность ее натуры. Даже в Дом творчества Алена согласна была ехать не на машине.

«Может, и закон об ограничении пьянства в стране придумали для того, чтобы мне было легче перестроиться из пешехода в автолюбителя? — подумал я. — Это ж как народ мучается с этими талонами».

Водку в магазинах теперь выдавали по талонам, и народ убивался в очередях, боясь недополучить положенную ему дозу алкоголя. Согбенные старушки, и те брали магазины штурмом, что уж говорить о таких, как мы с Алесем.

— Служить пойдешь? — спросил Алесь, когда мы отмечали в «Мутном глазе» мой отъезд в Москву.

— Зачем? — пожал я плечами. — Денег на жизнь хватает.

— Не только на жизнь, — хмыкнул Алесь. — Дачу еще не строишь?

— Придется, — сказал я. — Без дачи писатели пишут хуже, чем с оной. Лучшие так и живут в Переделкино.

— А у нас на Лысой горе, — заржал Алесь.

По Минску в эти дни ходила анонимная поэма «Сказ про Лысую гору», в которой повествовалось о распределении писательских дач, и судя по градусу обсуждения, дачный вопрос ни в чем не уступал квартирному.

— В Москве своя Лысая гора, — сказал я. — Хотя ведьмы там и тут одинаковы.

— Хорошие ведьмы, — согласился Алесь. — Наши, пожалуй, позадастее.

— Не скажи, — запротестовал я. — Ты просто не знаком с контингентом.

— Мне и здешнего хватает, — окинул взглядом задымленный зал Алесь. — Вон Зинка сидит. Айда к ней.

— Мне в Москву, — отставил я свой стакан.

— Но допить-то надо, — укоризненно посмотрел на меня Алесь. — Последнюю радость в жизни отнимают.

— Это водку? — снова взял я в руки стакан. — Ее у нас никто не сможет отнять.

— Раньше говорили: «Помирать собирайся, а жито сей». Теперь: «Помирать собирайся, а водку пей».

Он был крупный теоретик питейной культуры. Да и практик тоже.

Со своими однокашниками по литературным курсам я так толком и не попрощался, поскольку не ездил с ними в Питер. Вероятно, там, в полусумраке белых ночей, и были сказаны все важные и нужные слова. Мы разъехались по городам и весям необъятной страны, исполненные самых высоких надежд. Мы должны были написать лучшие книги и собрать высшие из наград.

По прошествии многих лет, конечно, стало ясно, что надежды были и остаются самой завлекательной обманкой из всех существующих. Знаменитым никто из нас не стал.

Анна Самосад бесследно канула в херсонских степях. Вероятно, она в очередной раз сменила жизненную ориентацию. Все-таки сад и огород были ей гораздо ближе, чем нравственные искания и прочая подобная ерунда. Ее рассказы, не говоря уж о романах, не могли спасти переводы даже такого хорошего писателя, как Песняк.

Сам Александр обменял комнату в питерской коммуналке на комнату в подмосковной Лобне. Как обычно бывает при обменах, новая коммуналка оказалась значительно хуже предыдущей. Соседи сразу же объявили писателю войну, и мы с Эриком приезжали в Лобню спасать товарища, терпящего поражение на всех фронтах. Но какие из писателей вояки, даже на миссию Красного Креста не тянут. До меня доходили сведения, что Песняк собирался уйти в монастырь, но дошел ли он до него, мне неведомо.

Владас Казлаускас с обретением независимости Литвы стал издавать в Вильнюсе желтую газету вроде нашей «Спид-инфо». Борьба за независимость и особенно ее получение всегда толкали людей на сильные поступки, и Владас не стал исключением. Газета, правда, просуществовала недолго, однако к стихам Владас больше не возвращался. Свобода требовала жертв, и она их получила.

А вот татарский поэт Камиль долго боролся за независимость Татарстана. Он стал одним из руководителей оппозиционного общественного движения, чуть ли не ушел в подполье, но до изгнания дело все-таки не дошло. Стихи он, наверное, пишет, потому что политическая борьба чаще стимулирует творчество, чем наоборот.

Почти знаменитым стал у нас поэт из Перми Олег. Он работал в популярных газетах и журналах, издавал книги, выдвигался на различные премии, и его слава, как мне кажется, не за горами.

Наш руководитель творческого семинара Эрик Сафонов не дожил до шестидесяти лет. Он не выдержал безумной гонки девяностых годов, когда закрывали газету, предавали соратники, уходили из жизни друзья. Долгими зимними вечерами мы с ним сумерничали во Внуково, но об этом рассказ впереди.

Изменилась страна, изменилась в ней жизнь, и писательские курсы при Литературном институте тоже стали другими. Свидетельство об их окончании теперь можно купить, и не за очень большие деньги. Слушателей из Украины и Литвы, не говоря уж о Монголии, на них уже нет. Возможно, из Питера писатели еще приезжают, но за свои кровные. Я не говорю, что это плохая жизнь. Она — другая.



ЛЮБОВЬ ШАШКОВА

И здесь жила моя душа

«Умирают слова, да и в лица тех лет не вглядеться, // А вот шепот травы под босыми ногами живет». Эти нежные строки Любови Шашковой, написанные давным-давно в Беларуси, хотелось взять эпиграфом к предлагаемой нами подборке ее стихов. Но что-то по-хорошему мешало так поступить. Причина этого нашлась скоро. Перечитывая поэтические воспоминания о белорусской деревне, где родилась и росла Любовь Константиновна, о земле и небесах родных мест, об отце и матери, о других милых сердцу людях, понимаешь: не умирают слова у хорошего поэта. Живы они и точны от им пережитого. Сколько бы лет ни прошло с тех пор. И лица ярко остались в памяти, и то, что эти люди говорили. А стихи о долинах и горах, воде и воздухе Казахстана, где сейчас живет и работает Любовь Константиновна (журнал «Простор»), о людях, которым посвящает свое признание в любви, они так же сердечны, точны, так же передают мягкость и прозорливость поэтессы. Недаром в прошлом году изданная в Алматы книга ее стихов и переводов названа «Два вольных крыла». На одном из авторских вечеров Любовь Шашкова объяснила: «Я назвала ее так потому, что две любви — к Беларуси и Казахстану — держат меня в жизни, питают мое творчество». В том же году выпустила поэтесса и еще одну «летающую» книжку — «Песни жаворонков», посвященную ее маме, Шашковой (Мороз) Александре Федосовне. «Жаворонками, — сказала Любовь Константиновна, — называли наш род в деревне Василевка Паричского района Гомельской области, где я родилась. И мне хочется, чтобы звенели в небе Беларуси жаворонки, чтоб не покидали ее вески домовитые буслы, чтобы детский смех и людское довольство были главными приметами Беларуси нового века». От всего сердца сказано. Так же пишет она и свои стихи.

Отдел поэзии

Звезда болот

Сестре Надежде

И счастлив я, пока на белом свете
Горит, горит звезда моих полей…
Н. Рубцов

1

Скамейка. Дачное крыльцо.
И костерок в ночи от гнуса.
Звезда глядит в мое лицо —
Звезда болот для белорусов.

Я помню, как за пядью пядь
Мы поднимали эту землю.
И возвращаюсь к ней опять.
И вновь звезде далекой внемлю.

И знаю: средь родных болот,
Лесов, лугов у речки Брожки
Я взору горнему с высот
Видна теперь, как на ладошке.

2

Сказали: люди на болоте.
Сказали: нет людей бедней.
Века приходят и проходят,
А поговорка все верней.

Но все ж, когда Березина
Своим простором входит в очи,
«Какая бедная страна», —
Сказать вовеки не захочешь.

Какая дивная страна
Лежит вокруг отцовской хаты,
Мгновенно делает она
Тебя счастливым и богатым.

Лишь здесь, на вечном берегу,
Ты понимаешь: кто ты, что ты…
Хвалю, кулик, свои болота
И нахвалиться не могу.

3

Пойдем на Брожу! На луга! В дубы!
Нос высунем подале огорода…
Побродим Брожей, не выискивая брода, —
Куда бежать от собственной судьбы?

Здесь ночью с бреднем ходят мужики,
А днем с топтухой тянутся мальчишки.
Пусть не всегда с ухою рыбаки,
Они о том печалятся не слишком.

А в разнотравье — царствие коров,
Пастух под дубом ладится с обедом.
— Здорово, — скажет. Ну а ты здоров
Родимым духом, что с рожденья ведом.

И от него вовеки не отвыкнешь...
Пусть речку можно унести в горсти,
Пусть бродом куры могут перейти,
Да вот душой ее не перепрыгнешь.

4

В слиянии Березины и Брожки
Мы ладим свой рыбацкий костерок.
То дождиком сыпнет, как из лукошка,
То солнышко блеснет у наших ног.

Непостоянна у реки погода.
Непостоянно счастье рыбака.
Но словно в детстве, плещется река
Под ласкою скупою небосвода.

И все приветней зов прибрежных кущ,
Дубов столетних, лопотуньи ивы —
Свидетелей вот этих слез счастливых,
Слиянья рек, слиянья наших душ.

5

Помедли, погоди еще немного,
Ведь вот она — июльская дорога,
Вся в солнечных замысловатых бликах, —
Березы, сосны, запах земляники,

Грибов, дождя и Беларуси летом.
И мы с Сашулей на велосипедах
Летим на остановку встретить деда.
Да… Лето. Солнце. Полная семья.

Но, видно, впопыхах молилась я:
Помедли, погоди еще немного,
Вот, Господи, короткая дорога
К земному счастью…

В Вишневку

Брату Илье

Как утро начинается легко!
В Вишневку едем мы по молоко.
Отец садится на велосипед,
Я свой ему пристраиваю вслед,
Прилажен на багажнике бидон,
И не спеша педали крутит он.
Через поселок, лесом — на шоссе.
Известны мне его тропинки все,
Его повадки знаю наизусть…
А я простором нахлебаться рвусь!
Ах, как отца я обогнать хочу,
И я быстрей педалями кручу.
Но есть у нас неписаный закон,

Что впереди на трассе едет он.
Красой окрестной полнится мой взгляд,
Машины мимо на шоссе летят,
И полчаса мне впереди видна
Лишь согнутая папина спина.
Но вот он — на Вишневку поворот.
И дергает меня какой-то черт!
И лихо я наперерез отцу
Через шоссе, не оглядевшись, мчу!
Нет, не случилось никакой беды…
Так что ж тревогой слышится: «Кудды-ы-ы?!.»
Ведь никого на той дороге нет,
И я одна кручу велосипед.
Но я вгляжусь. И станет мне видна
От бездны заслонившая спина.

Герань

И ангелы-хранители
Беседуют с детьми.
М. Лермонтов

…И разбудит утром ранним
Детства незабытый дар —
Солнце с запахом герани,
В занавесках алый шар!
Кто легчайшими перстами —
К лепесточку лепесток —
Собирал живое пламя
В этот огненный цветок?

Чтобы ангел поднебесья
Средь неведомых дорог
Со своею тихой песней
Заглянул на огонек.

Чтобы миром, чтобы ладом,
Весь налитый солнцем всклень,
Под его святым приглядом
Начинался новый день.

Чтоб, как шар герани полный,
Он светился изнутри
Неизбывно щедрым полднем,
Лаской позднею зари.

Чтоб семейное преданье
Длилось в книге бытия:
Детство. Алый шар герани.
Ангел. Бабушка. И я.

Тау-тургень

Андрею Козлову

Клубится по горам туман,
Проволглый день ввергая в морось.
Но ты в его просветы глянь:
То не осенний поздний морок, —

То влага, то дожди весны,
Что гонят и торопят зелень.
И облик будущей листвы
Уже светлеется сквозь темень.

И вон, отряхивая дождь,
Урюка ветви задрожали.
И это зарожденья дрожь,
И это мир в его начале.

И раздвигая полог мглы,
Блеснув небесными очами,
Луч первый кончиком иглы
Пронзил пространство меж горами.

И вот уж край небес задет,
Захвачены холмов престолы,
Еще чуть-чуть — и хлынет свет,
И озарит холмы и долы!

Степь

А. Тарази

Какой глубокий горизонт
Зимою под Карагандою.
Небесной мерянный верстою,
Чтоб даже взор достать не мог.

Чтоб даже птице — долететь,
Чтоб даже всаднику домчаться
Не в силах было. Оказаться
В степи зимою — та же смерть.

И здесь жила моя душа.
В безбрежности носима ветром,
Влекома к дальним миражам,
Не отторгаемая степью…

За неприметною Нурой,
Потерянной за снежной пылью,
Совсем, совсем иной порой
Здесь те же горизонты плыли.

А поезд мчится наугад
Стальной дорогой от вокзала,
От той меня, что век назад
Свою колейку не узнала.

Небесной мерянный верстой,
Не нами путь наш обозначен.
Гляжу на степь во мгле пустой.
И узнаю ее. И плачу.

Долина

1

Проснуться с перекличкой петухов
И теньканьем невидимой пичуги,
И дальнее мычание коров
Еще добавит благости округе.

И утро будто вымыто насквозь —
Горит, переливается, играет.
И легкий бриз то вкупе, то поврозь
Листву карагачей перебирает.

И этот самый мирный из миров,
Лежащий меж тургеньскими холмами, —
Неужто же в смещении основ
Затрясся ночью ходуном под нами?!

Что, что там в прорве каменной дрожит?
Что в нас ответным ужасом качнулось?
Чу! Успокойся! Это рыба-кит
Слегка в подземных водах повернулась…

И встанет день. И лучший из миров
Животворящим светом будет залит.
И пение соседских петухов
Твою ночную жуть перегорланит!

2

В ладонях гор покоится долина —
Цветущий край на Божий рай похож.
Когда ж дрожит он дрожью исполина,
О чем она — земная эта дрожь?

В ладонях Господа тепло лежит Земля.
На ней безумств и скверны — через край.
На все, Владыка, воля есть Твоя.
Но и во гневе — рук не размыкай…



КРИСТИН ДИМИТРОВА

Сабазий

(Некоторые реплики, события или черты действующих персонажей взяты из жизни, но роман полностью вымышлен. Миф верен по причине достоверности истории, о которой повествуется, а не из-за костюмов, которые надевают герои при каждом своем появлении.)

* * *

...Сабазий — чужак, освободитель, кровожадный, пьяница, лжец, развратник, аскет, красавец, сумасшедший, непризнанный бог — взошел на Олимп поздно, хоть и был одним из старейших. Сыну Зевса и простой смертной Семелы, ему пришлось долго доказывать свое право подняться на Пантеон, недоступный для обычных людей. И добивался он этого нечеловеческими способами.

Называемый также Дионисом, Бахусом или Загреем, Сабазий был родом из Фракии. Однако для жителей Олимпа он оставался чужаком еще и по другой причине. Греческим богам было подвластно все, но они не могли умереть. В отличие от них, Сабазий со смертью был знаком. Поэтому его именами были «Дифирамбос», что означает «рожденный дважды», и «Элевтериос», или «освобожденный», ведь лишь одному Сабазию удалось вернуться из царства мертвых.

Дело в том, что когда-то египтянин Осирис, растерзанный своим врагом Сетом, оказался в смертном плену, а затем, собранный по частям Изидой, переродился, чтобы всю оставшуюся жизнь праздновать. Большинство утверждают, что во Фракии он был известен под именем Сабазий. Выходит, сын смертной Семелы старше Зевса, своего отца. Среди фракийцев есть и другой, что предъявлял права на наследство Осириса, и вероятно, по этой причине крайне редко его можно было встретить в одном мифе с Сабазием. Это как собрать вместе человека и его тень, а потом пытаться определить, кто из них кто.

Сабазий, бог счастья, боли и абсурда, также считается покровителем театра, земледелия и цивилизации в целом. Его атрибуты — плющ, леопард, виноградная лоза, вино, змея, бык, фаллос. И если один из них возникает в вашем окружении или упоминается в разговоре, значит где-то поблизости и сам Сабазий...

Недокументированная встреча

Я и не предполагал, что когда-нибудь увижу его снова. Считал его мертвым (а может, думать так мне было удобно). Правда в том, что однажды я пришел к нему сам.

Под офис он выбрал один из старых домов в центре Софии. Приближаясь к нужному мне зданию и сверяясь с номерами на стенах, я уже знал, перед каким

точно домом остановлюсь. В детстве ходил этой дорогой к учителю музыки. В окне нижнего этажа всегда стояла старуха с длинными ногтями и следила за каждым, кто попадал в поле ее зрения. Ее присутствие было настолько обязательным, что для меня этот дом, старуха и вонь, вырывавшаяся из окна, сливались в одно целое, как тело, дух и душа одного человека. В жаркие летние дни запах годами не мытых волос и заношенных, воняющих мочой лохмотьев, которые наверняка подарила ей какая-нибудь заботливая соседка, смешивался с тяжелым духом старого прогнившего здания. Я только показывался на дорожке, а старуха уже вонзала в меня свой взгляд и начинала плести небылицы о каких-то посланниках. Она готова была каждому рассказать о своей бурной молодости или спеть парочку забытых шлягеров. Естественно, все проходили мимо, не обращая на нее внимания. Кроме меня. Перед ней я словно цепенел. Дом, будто пораженный неведомой кожной болезнью, был полностью скрыт под зелеными листьями плюща, которые гирляндами свисали с фасада. Вокруг окна старухи они сплетали нечто наподобие венка.

Поскольку мои уроки скрипки продолжались до окончания гимназии, я стал невольным свидетелем угасания старухи. Я, конечно, не знал, сколько ей было лет. На морщинистое лицо старухи свисали седые пряди волос, и все в ней было выдержано в грязно-серых тонах. Постепенно истории ее разваливались на части, путались и вновь сплетались в причудливые фигуры — как кентавры, сирены и фавны. Ушла вслед за мужем, потом ее оставил любовник, отомстила лучшей подруге за то, что подвела в сложной ситуации, но, в сущности, так и осталась неотомщенной. Я слушал, как она перескакивала с одного временного пласта на другой, и напрасно пытался разобраться, что же произошло на самом деле, а в результате опаздывал на урок.

Старинные шлягеры же в ее голове задержались надолго. В последние месяцы она только и могла, что петь. Как раз в это время, сразу после смены режима, люди собирались толпами и скандировали политические лозунги, по ночам расклеивали листовки, а подчас митингов колотили друг друга на узких улочках знаменами.

Однажды вечером, возвращаясь домой с занятий по скрипке, я проходил мимо дома старухи. И тут мне послышались какие-то тупые удары и что-то вроде сдавленного мычания. Двое мужчин пинали ногами третьего, который уже валялся на земле. Был и еще один, четвертый: он наступил на грудь жертве, чтобы тому не удалось сбежать. Все тяжело дышали, как во время тренировки. Однако, несмотря на свои энергичные движения, эта компания не издавала почти никаких звуков, лежащий на земле тоже молчал. Не в состоянии отвести взгляд от их темных силуэтов, я спрятался за деревом. Сердце, проблемы с которым у меня начались еще в детстве, начало заглатывать кровь огромными порциями, но тогда я еще не принимал лекарств и не знал, что надо делать в таких случаях. Вдруг точно над их головами открылось окно, и мужчины замерли. Из него выглянула старуха и подняла вверх палец, как человек, готовящийся произнести речь:

— Лай-лай-лай, Дилайла! — спела сопрано дрожащим голосом.

На этом все закончилось, потому что мужчины тут же разбежались. Пострадавший еще какое-то время ощупывал, стоя на четвереньках, тротуар, но в конце концов ему удалось подняться и сдвинуться с места, шатаясь и держась за стены домов. Под деревом его вырвало. Он мне показался совсем молодым, хотя в темноте я не мог хорошо его разглядеть. Я не представлял, чем он так насолил тем троим. У него не было ни плакатов, ни предвыборных листовок, ни клея. А старуха так и осталась стоять, облокотившись на подоконник.

Спустя два дня на облезшей стене дома все еще был виден кровавый след от ладоней парня. Пятно стало коричневым и по форме напоминало

стручок гороха. Тогда я понял, что в крови есть что-то такое, что не дает пройти мимо. Она будто светится. Цвет засохшей крови отличается от всех оттенков красного, и люди избегают до нее дотрагиваться. Я же подошел и прикоснулся к ней.

После той драки жизнь моя никак не изменилась, так как мама и слышать не хотела о прекращении занятий. Я уже знал, что любое ее желание, которое она твердой рукой претворяла в жизнь, на самом деле исходило от отца. Мне было стыдно признаться, что я испугался чего-то, за чем наблюдал из-за дерева, поэтому сказал, что на меня напали двое мужчин с ножами. Мама тут же запаниковала: когда? где? как?, а отец заявил, что если его слово хоть что-то значит в этой развалившейся стране, отныне после уроков меня будет забирать личный шофер. С тех пор, как наступила демократия, он делил своего водителя еще с несколькими такими же, как он сам, хозяевами слова, составляющими авангард бывших управленцев культуры. Испугавшись, что меня начнут развозить на служебном мерседесе, как важного военнопленного, я тут же соврал, что все выдумал, чтобы отвертеться от занятий, и все вернулось на свои места.

Я по-прежнему посещал господина Лина, который ждал меня со скрипкой в руках с церемониальной любезностью обер-кельнера. В глазах моих родителей он был доро́гой, что должна вывести меня к «духовности»; для него же я был курицей, несущей золотые яйца, а я в собственных глазах становился незаменимым посредником между двумя партнерскими сторонами. Не то чтобы кто-то из домашних хотел видеть во мне профессионального музыканта. На чужих примерах и всевозможными репликами меня подталкивали к выбору «серьезной профессии». Например, дипломата, судьи или экономиста. Возможно, родители сомневались, что я попадаю в ноты. А может, знали, что в сфере искусства высокие заработки невозможны. Я так и не понял, что отец думал об искусстве. Вероятно, он о нем не думал в принципе. Он его просто создавал. Вокруг меня все начало разваливаться еще тогда. Я выучился на «серьезную профессию», хоть и не на ту, о которой мечтали мои родители, и наперекор им не оставил музыку. Она стала для меня помехой, и я ее полюбил.

Иногда мне казалось, что, несмотря на постоянное стремление противопоставить себя отцу, в результате всю свою жизнь я делал именно то, что хотел он. От этой мысли меня до сих пор бросает в дрожь.

Тем не менее после того инцидента мне было страшно ходить одному по улицам. Я не боялся, что меня изобьют, — желающих заполучить мою скрипку было не много, к тому же я сам отдал бы ее тогда с превеликим удовольствием. Дороги, на которых мне был знаком каждый камушек, показали свое новое лицо. Ветер собирал опавшие листья в кучи. Плющ еще держался на домах, но уже приобрел цвет выдержанного вина. Примерно две недели спустя, бродя по колено в листве, я случайно подфутболил какой-то сверток. Он отлетел под припаркованный рядом автомобиль. Я нагнулся и достал его. Это оказалась свернутая в трубочку и перетянутая резинкой пачка долларов. У нас дома доллары водились только у отца, поскольку он был «творец государственного значения». Однако он их хранил в банке и заставлял унижаться перед ним за каждую пару джинсов.

Непонятно, почему дом, к которому я сейчас направлялся, пробудил во мне воспоминания пятнадцатилетней давности, в то время как я с трудом мог сосредоточиться на насущных проблемах. Исходя из того, что я слышал о человеке, с которым собирался встретиться, никаких причин приглашать меня у него не было. Мне следовало бы задуматься над этим, но я еще не был с ним знаком.

Я достал визитку и еще раз сверился с указанным на ней адресом: после реконструкции здание кричало: «Эй, посмотрите на меня!», словно

лицо после пластической операции. Перед входом стоял криво припаркованный золотисто-оранжевый Lotus Elise с черной отделкой, напоминавший леопарда. Я, конечно, не ожидал снова увидеть старуху с длинными ногтями, но мне потребовалось какое-то время, чтобы сориентироваться в новой обстановке. Теперь этот дом — выпотрошенный, переоборудованный и выкрашенный в темно-рубиновый цвет, — был готов начать новую жизнь. А где-то внутри него меня дожидался Сабазий.

На стене одна под другой красовались таблички с названиями фирм на различный манер: ООО «Пшеничный колос», «Trance&Vision», «НьюсХолдинг» и бюро путешествий «Одиссей» — по одной-две на этаж. Я-то думал, что под звонком просто будет указано его имя. А тут не только надо было отгадать, какая фирма его, но еще разобраться, на какой звонок жать.

— Я могу вам чем-то помочь? — поинтересовался у меня высокий блондин с прической эсэсовца, открыв дверь прежде чем я успел позвонить. Он был одет в какой-то кафтан коричневого цвета, который смотрелся на нем, как шоколадная глазурь, однако ничуть не делал его физиономию слаще. И пока он на словах предлагал помощь, путь мне преграждал его мощный торс.

— Мне нужен Сабазий.

— Он вас ожидает?

— Он мой дядя.

Фашист проконсультировался с кем-то по телефону и пропустил меня.

В фойе шумел кондиционер. Наверх вела винтовая лестница с перилами из кованого железа. Стены были абсолютно белыми, как любая вещь, не бывшая ни разу в употреблении. Я не имел ни малейшего понятия, куда следует идти, и поэтому просто поднялся по лестнице. На втором этаже стояла софа с резными ножками в виде львиных лап в стиле Луи Бог-знает-которого. Развалившись, на ней похрапывал мужчина в желтом костюме. Пиджак собрался где-то у него под головой, пуговица на брюках была расстегнута. Мне показалось, что я его где-то уже видел, в частности, эту бородку странной формы, которая сейчас торчала практически вертикально. Тут на верхнем этаже открылась дверь, и в проеме появилась стройная фигура в широкой распахнутой рубашке.

— Ну, наконец-то! Сколько можно тебя ждать?

Его вьющиеся волосы напоминали упругие пружинки. Мне показалось, хоть я и не мог быть уверен на все сто, что он ждал с заготовленной заранее улыбкой на лице, пока я поднимусь по лестнице. Я подошел и увидел, что он действительно улыбался. И в этот момент я заметил то, что потом всякий раз приводило меня в ужас: один глаз у Сабазия был карим, а другой — синим.

Сабазий проигнорировал протянутую для приветствия руку и заключил меня в объятия. Его мускулы напряглись под рубашкой, как позвонки питона, собирающегося задушить свою жертву. Сабазий отошел в сторону и пристально на меня посмотрел.

— Как же ты вырос! — голос его звучал тихо и тонко.

— Давно мне этого никто не говорил. Кроме того, ты всего лишь на пять лет старше меня.

Вообще-то о нашем родстве в семье вспоминать было не принято, а последние пять минут мне об этом напоминали всеми возможными способами. Сабазий кивнул и дал знак следовать за ним. Я замялся.

— Там внизу на софе лежит один человек... Может, ему плохо?

— А, это, должно быть, Силен. Ночью он немного увлекся. Да что там! Просто с катушек сошел. Его хоть не рвало?

— Кажется, нет. Силен… не тот ли это депутат?

Для Сабазия ответ был настолько очевидным, что он даже не потрудился его озвучить. Помещение, в которое мы вошли, оказалось практиче-

ски пустым. Посередине находился внушительных размеров письменный стол с ноутбуком и несколькими бутылками вина. Возле стены стояли три мраморные статуи. Их лица — одно с отколотым носом — застыли в мучительном совершенстве. Мраморные тела словно согнулись под натиском сильнейшего урагана, а мускулы так напряглись, что, прикоснись к ним — окажутся живыми. У первой статуи не хватало рук, у второй — ног, а третья была лишена всего, кроме торса.

Наверное, именно в этот момент я почувствовал, что мы не одни. Напротив, возле пустого камина, стояла темноволосая женщина, которая до сих пор не произнесла ни слова. Ее глаза с густыми черными ресницами напомнили мне рождественские венки с серебряными колокольчиками посередине. Не моргая, она следила за мной так, словно это было исключительно ее право, а мне смотреть на нее было запрещено. Длинные волосы обрамляли бледное лицо женщины мягкими волнами, а на шее висело колье с камнями чистейшей воды. Только я протянул руку, чтобы прикоснуться к одной из статуй, как она оказалась между нами. Такой быстрой реакции я не замечал даже у музейных работников.

— Персефона, прошу тебя, расслабься, ведь это мой родственник.

Она отошла за спину Сабазия и начала массировать ему плечи. В ее руках он разомлел, как кошка. Персефона, ни на миг не отрывая от меня взгляд, возразила: не ему вспоминать о родственных связях. Я почувствовал себя нежеланным свидетелем семейной сцены. Осмотрелся, куда бы присесть, но Сабазий занял единственный в кабинете стул. Я ощупал застывшее в тревоге лицо одной статуи.

— Они настоящие?

— Их обнаружили в прошлом году. Пролежали под землей более двух с половиной тысяч лет. Мне они очень нравятся, они успокаивают. Временами кажется, будто они что-то хотят тебе сказать.

— И что же?

— Откуда мне знать? Пока не сказали. Как у тебя дела? Всем доволен?

Определенно это было в стиле Сабазия — резко перескакивать от статуй к личной жизни, но я не мог за ним угнаться, учитывая наши столь неожиданно возобновленные отношения. Хотя против, конечно, ничего не имел.

— В смысле?

Сабазий молча схватил руки Персефоны, тем самым попросив ее остановиться. На мгновение они обменялись взглядами, в которых читались доверие, забота и одиночество двух людей, выживших в результате всемирной катастрофы.

— Я думал, это ты мне скажешь. Не знаешь, что тебе доставляет удовольствие?

Я уверен, что он не хотел приставать с расспросами. Но было странно, что именно Сабазий интересуется моей жизнью. Однажды отец привел меня в спецшколу на окраине Софии за высоким забором из сетки и железными воротами. Мне было девять лет. Я увидел тогда Сабазия впервые. Его позвали. Он подошел и взял кусок жирного мяса, которое купил для него отец. Мне стало стыдно из-за того, что он принес кому-то мясо, которое мы бы никогда не стали есть дома. Сабазий его взял и спросил, нет ли еще сигарет. Взял и их.

— Да я не жалуюсь... Работаю ассистентом, преподаю философию. По вечерам репетирую в одной группе. Коллектив называется «Аргонавты», но это наше второе название. С первым как-то не везло.

— А какое было первое?

— «Дорожные знаки».

Сабазий рассмеялся. Я сделал вид, что не заметил.

— Мы играем по пятницам в клубе «Винил», в двух кварталах отсюда. Песни только собственного сочинения. Что-то среднее между хаусом

и джазом, немного этнической музыки. Нет, это не то, о чем ты подумал. У нас очень сильная ритмическая секция, мы стремимся создавать яркие музыкальные образы, — разошелся я. — Приходи как-нибудь послушать.

— Непременно. У вас есть свой диск?

— Мы выпустили два, но сам знаешь, как это бывает… Выйти на рынок никак не удается, так что все равно, есть у нас диски или нет. Сейчас зарабатываем лишь на том, что продается в клубах.

Сабазий подошел с двумя бокалами красного вина и очень внимательно посмотрел на него сквозь свет. Пробормотал что-то вроде «Превосходно, просто превосходно…» и извинился, что не предоставил мне право выбора. Выпили. Напиток нашептывал о виноградниках, растущих на красном песке у раскаленного солнцем моря. Вино было и молодым, и дерзким, и насыщенным, и безрассудным.

— Думаю, я могу тебе помочь. Есть у меня один приятель, шеф нового канала «Хеброс». Не знаю, смотрел ли ты его.

Я знал его очень хорошо. Практически весь город был заполонен его рекламными щитами. Тем не менее я ответил, что в помощи не нуждаюсь.

— Так вот, мой приятель, Мидас, ищет человека на должность ведущего культурной программы.

— Но я не журналист и никогда не работал на телевидении. И музыка отнимает все свободное время. Мы сейчас готовимся к важному конкурсу.

— В передаче речь пойдет и о музыке. Я сразу подумал о тебе, ты просто идеально подходишь для этой работы. Твой отец писатель, мать — художница.

— Переводчица.

Сабазий, кажется, не расслышал.

— Ты же во всем этом разбираешься. О чем бы ты людям ни рассказывал, кого бы ни приглашал в студию, им все равно пойдет это на пользу. Кто у тебя жена?

Я улыбнулся.

— Откуда тебе известно, что я женат?

— У тебя это на лице написано. Так кем она работает?

— Она актриса. Сейчас нигде не работает, — ответил я, понадеявшись, что жена никогда не узнает, что я раскрыл ее тайну.

— Вот, она тебе может подкидывать какие-нибудь идеи. Думаю, нам удастся выйти на рынок с дисками. Организуем парочку концертов. Это неправда, что на нашем искусстве нельзя заработать. Просто оно недостаточно раскручено. Прости, я тебе до сих пор не предложил стул. Можешь присесть на стол.

Этого шанса я ждал всю жизнь. Но представлял себе, что подобное предложение прозвучит в иной обстановке: после того, как прослушают мои записи. Сабазий, очевидно, уже имел планы, которые должны были наполниться конкретным содержанием.

— И что входит в обязанности ведущего такой передачи?

— Ну… ты должен будешь сообщать, что вышло нового, брать интервью. Объяснять зрителям, что стоит покупать, а что — нет.

Мы стояли у окна, пили вино и смотрели вниз на плавящуюся под солнцем улицу. Оранжевый автомобиль еще не растаял.

— Такая работа не для меня. Через месяц начинается новый семестр. Когда я буду репетировать, когда буду играть?

— Мне кажется, тебе надо встретиться с Мидасом. Он амбициозен, ищет профессионалов. Предлагает хорошие деньги. Конечно, если найдет подходящего человека.

У меня пересохло в горле, когда я услышал размер заработной платы. Сумма в два раза превышала то, что мне платили за преподавание и выступле-

ния в клубе. Трудно было жить по соседству с состоянием моего отца и доказывать при этом, что сам чего-то стою. Я уже давно разрывался между необходимостью приносить в семью постоянный доход и желанием играть то, что хочу, и в то же время не зависеть от отца. Тем не менее не хотелось браться за новую работу как раз тогда, когда у нашей музыки появился шанс пробиться.

Повисла неожиданно долгая пауза.

— Знаешь, Сабазий, несколько лет назад я видел, как там внизу избивали одного парня, — указал я на дорожку чуть левее Лотуса. — На следующий день на стене дома остались кровавые следы.

— Знаю, — ответил он.

— Откуда?

— Я был тем парнем.

Сабазий достал из кармана рубашки визитку и протянул ее мне. У меня уже была одна — я получил ее вместе с приглашением заглянуть в офис. На ней было написано лишь имя, мобильный и этот новый адрес.

— Какая из фирм в этом здании твоя? — поинтересовался я, не заметив никакой новой информации на визитке.

Сабазий улыбнулся. У него какая-то привычка рассеянно улыбаться, что абсолютно не вяжется с его сосредоточенным взглядом. Меня не покидало чувство, будто он не следит за разговором и в то же время не пропускает ни слова. Быть может, причиной тому был цвет его глаз, которые словно принадлежали двум разным людям.

— Ни одна из них. Точнее, все. Частями.

Визитка означала окончание нашей встречи. Я спускался вниз по ступенькам, обратно к спящему депутату.

— Не отказывайся от эфира, Орфей! — догнал меня на лестнице голос Сабазия. Я представил, как он перегнулся через перила, но вверх не взглянул.

* * *

...В отличие от Орфея — влюбленного певца, музыканта и философа, который, как всем известно, однажды должен спуститься в ад, — он не был лишен права выбора, так как происходил из знатного рода. Его отец, Аполлон, был богом искусства, а мать — муза Каллиопа. Поскольку Аполлон являлся сыном Зевса, Орфей приходился Сабазию племянником. Об этой родственной связи на Олимпе особо не распространялись, потому как и Орфей, и Сабазий фракийцы, то есть чужаки. Но в отличие от Сабазия, который стремился на самый верх священной горы, желал быть признанным богами за равного, Орфей, будучи человеком, отправился вниз.

Вероятно, они оба первоначально были связаны с Осирисом. Только Орфей и Сабазий сильно отличались друг от друга, жили в разных мифах и в разных мирах.

Но это неправда, что они никогда не встречались...

Эвридика

Я слышала, как он возвращается домой, сбрасывает обувь в прихожей, аккуратно открывает дверь за моей спиной, бесшумно, как ему кажется, ступает по паркету, поскрипывающему под весом его тела, чтобы сделать мне сюрприз. Когда Орфей так подкрадывается, значит, он что-то скрывает. Я как раз заканчивала разгадывать второй кроссворд, когда его ладони закрыли мне глаза, «чтобы угадала, кто», и передо мной поплыли ряды черных и белых клеточек.

— Дай-ка угадаю… Неужели президент?! Хотя нет… Режиссер Народного театра! Приглашает на роль Антигоны.

Пока Орфей, не убирая руки с лица, целовал меня в шею, черно-белая картинка расплывалась, таяла, и перед глазами возникло кухонное окно, перед которым я просидела полдня, за ним — уже начинающая желтеть липа в парке, а еще дальше — фиолетовое небо, которое означало, что скоро день станет ощутимо короче.

— Орфей, где ты был?

— Виделся со своим дядей.

— Каким дядей?

— Ты его не знаешь.

— Значит, ты должен нас познакомить. Мы же как-никак родственники.

— Его зовут Сабазий.

— Кто он, этот Сабазий?

— Ну я же тебе сказал: ты его не знаешь, — отмахнулся Орфей и залез в холодильник в надежде что-нибудь быстренько перехватить.

— Эй, отвлекись на минуту! Сегодня вечером мы ужинаем с твоими родителями.

Орфей внимательно посмотрел на меня, убедился, что я не шучу, и последние следы рассеянности исчезли с его лица.

— А я не могу, у меня репетиция.

Для Орфея слова «хочу», «не хочу», «нравится», «не нравится» всегда имели большое значение. Собственно, я не встречала больше человека, который бы так слепо ими руководствовался. Еще в гимназии он решил, что не будет писать сочинения по литературе, и не писал. Мог себе это позволить.

— Иди куда хочешь. Вечером у твоей матери день рождения, и кто-то должен преподнести подарок…

— Черт бы его побрал!

— …который я уже купила.

— У тебя не осталось сигарет? — спросил он и присел за стол напротив. Пощелкал зажигалкой, с четвертой попытки прикурил. Орфей курил не потому, что так хотел, а только когда ему необходимо было на какое-то время, пока не погаснет сигарета, отвлечься от окружающего мира и вернуться в него с надеждой, что тревоги растаяли как дым. Он трогательно сжал мою ладонь, как бы утешая в чем-то. Вид у него был усталый, волосы прилипли ко лбу и по форме напоминали вопросительные знаки.

— Ты ходила сегодня на пробы? — сменил он тему.

— Еще утром.

— И как?

— Как и ожидалось. Пришли еще четырнадцать таких же, как я, с той лишь разницей, что на их лицах не так явно читалось отчаяние. К сожалению, главная женская роль всего одна, в отличие от мужских, которых будет побольше.

— Я уверен, что утвердят тебя. Красивее девушки не найти, — ответил мой муж, который не всегда спускался с небес на землю.

— Я уже узнала, что на роль утвердили дочь мэра.

— Но это абсурд!

— Абсурд то, что ты не позволил своему отцу сделать один звонок режиссеру, с которым он дружит с детства.

Я знала, что тем самым привожу его в ярость, и продолжала делать это. Орфей вскочил, заметался по тесной кухне, начал отчаянно жестикулировать. «Ты этого хочешь? Ты хочешь, чтобы все оборачивались и восклицали: «Посмотрите! Это невестка Аполлона! Как она хорошо сыграла!» Но имей в виду, тебе это будут говорить очень редко. Чаще всего ты будешь слышать:

«И здесь без блата не обошлось!» Но ты не узнаешь, чьи это слова, потому что, как только обернешься, разговоры прекратятся и на лицах окружающих появится мерзкая улыбка». Он говорил еще много всего, что должно было, по его мнению, облегчить мне жизнь. И в самом деле, все это уже стало реальностью после нашей свадьбы, люди избегали иметь какие бы то ни было отношения с невесткой Аполлона. И если я не пользовалась преимуществами его влияния, то с уверенностью пополняла список врагов.

— Ну что ж… Сегодня пробилась дочь мэра. До пенсии, может, и до меня очередь дойдет.

— Прошу тебя, замолчи. Я не хочу больше обо всем этом слышать, — сказал Орфей, словно говорил до сих пор не он сам.

Мы жили в двух комнатах, являвшихся частью апартаментов Аполлона и Каллиопы. Вероятно, наше жилище было предназначено для прислуги, охраны или кого там еще полагалось иметь председателю Союза писателей, декламирующему патриотические стихи на национальных праздниках. Сам дом был построен около тридцати лет назад исключительно для писательских семей, чтобы никто не забывал о своем призвании и в то же время не слишком увлекался жизнью простых людей. Были, наверняка, такие времена, когда из-за каждой двери доносился стук пишущей машинки. Теперь же в доме жили преимущественно старики с потухшим взором, чьи книги в нескольких экземплярах хранились в Национальной библиотеке, а дети давно покинули пределы родины. После свадьбы одну комнату мы с Орфеем переоборудовали в кухню, другую — в спальню, но продолжали пользоваться ванной на территории его родителей. В квартире было две ванные комнаты, и обе находились не на нашей половине.

В дверь постучали, и послышался голос Каллиопы: «Все готово, входите!»

Мы засуетились, Орфей бросился умываться над раковиной, а я доставала подарок, спрятанный в шкафчике сверху. На выходе он вдруг решил сменить вымокшую рубашку, оставив меня стоять в коридоре с обвязанным лентой пакетом в руках, а пока он зашнуровывал туфли, я в последний момент догадалась подкрасить губы. Наконец мы вышли на лестничную площадку и нажали на дверной звонок все той же квартиры. Встретила нас Каллиопа, одетая в нарядное лиловое кимоно.

— Я так рада, так рада! — воскликнула она, словно существовала опасность, что мы исчезнем.

Аполлон выглянул в прихожую, и за приоткрытой дверью мы увидели угол стола с множеством стоящих на нем блюд. Каллиопа никогда не делала ничего наспех, и я была уверена, что прежде чем надеть кимоно она целый день нарезала, тушила, пекла и обмазывала кремом. Аполлон держал в руках запотевшую бутылку холодной ракии.

Орфей наклонился и обнял мать. У них были одинаково острые носы и непослушные волосы. Я стояла с подарком в руках и ждала, пока они оторвутся друг от друга. Каллиопа поцеловала меня, взяла пакет, открыла его и воскликнула:

— Фиолетовая шаль! Мой любимый цвет!

— В самом деле? — удивился Орфей.

Я толкнула его локтем, чтобы замолчал.

— Зачем же так тратиться, Орфей! Чистый шелк! Не надо было.

Орфей пожал плечами, потому что не имел ни малейшего представления, сколько стоил подарок.

— Это Эвридика выбирала.

— Очень мило. Как прошли твои пробы, Эвридика?

Мы сели за стол, которому, судя по количеству приготовленных блюд, не помешал бы и второй этаж. Четыре пустые тарелки говорили о том, что

больше гостей не ожидается. В отличие от своего мужа, Каллиопа всегда праздновала дни рождения без особого размаха. К Аполлону гости съезжались со всех уголков страны, зачитывались поздравительные телеграммы, ваз не хватало, и букеты ставили в ведра. По мнению Орфея, эти банкеты были еще достаточно скромны по сравнению с прежними временами, когда отец снимал ресторан, чтобы принять всех гостей. Но мне было достаточно того, что я наблюдала каждый год. Подарки распаковывались на протяжении всего следующего дня. Открытки складывались в отдельную стопочку, самые красивые картины вешались на стены, для очаровательных безделушек освобождалось место на полках рядом с другими, не менее очаровательными сувенирами, так как для Аполлона все было дорогим воспоминанием. Огромная квартира становилась похожей на сувенирную лавку с фарфоровыми котятами, декоративными мечами и кинжалами, стеклянными шарами, в которых, если потрясти, падал снег. В них можно было увидеть и Нью-Йорк, и Сиднейскую Оперу, и египетские пирамиды, и множество различных мест, где снега, как правило, не бывает, но во всех этих краях Аполлон читал свои стихи. В школе я их тоже декламировала на различные праздники, но у меня не было возможности преподнести ему стеклянный сувенир с каким-нибудь засыпанным снегом домиком внутри. Да и что в нем могло быть: мэрия, наш военный гарнизон?

— Нормально.

— А на какую роль пробы? — включился в разговор Аполлон, разливавший ракию. В его взгляде смешивались подозрительность и благосклонность.

— На роль Антигоны.

— Это чудесно! Чудесно, что ты решила попробовать себя в театре, — поздравила меня Каллиопа.

— Что ты хочешь этим сказать? Я постоянно наведываюсь туда, другое дело, что меня никуда не берут. Но давайте сменим тему. Сколько же тебе сегодня исполнилось?

Каллиопа смутилась, и Аполлон воспользовался повисшей за столом паузой.

— Но почему вы не попросили меня о содействии? Режиссер мой давний приятель.

Орфей вскочил как ужаленный.

— Не смейте вмешиваться в ее жизнь, ты и твои бесчисленные приятели! Прошло то время, когда ты отправлял меня на родительские собрания с подписанными тобой сборниками. Из-за них учителя не могли запомнить мое имя и в журналах записывали: «сын Аполлона». Ваше поколение только это и знает: «Я сейчас позвоню одному своему знакомому…» Вы превратили искусство в фарс! Поэтому у нас личные достижения человека никого не интересуют. Вы как зараза. Даже хуже!

— Эвридика, еще немного картофельного салата? — подала голос Каллиопа.

— Личные достижения! — повторил Аполлон, сымитировав фальцет сына. — И чего же достигли вы?

— Кто — «мы»?

— Орфей, мы ведь пришли на день рождения, — попыталась вмешаться я.

— Кто — «мы»? Что ты хочешь сказать этим «мы»? — раскричался Орфей. — Потому что я оглядываюсь и «мы» не вижу! В музыке каждый отвечает сам за себя. Так же как и в поэзии, если ты до сих пор этого не понял.

— Я за свою жизнь получил двенадцать международных премий. Давай обо мне говорить не будем.

— Ну еще бы тебя не награждали, если ты сам от лица страны являешься на все международные форумы. Почему бы тем же организаторам не

приехать к нам, чтобы в этот раз их наградил ты? Что медали раздать, что поросенка умять на ваших… литературных встречах. О читателях тут речь не идет в принципе.

Такое происходило каждый раз, когда Орфей с отцом оказывались за одним столом, но этим вечером все развивалось на удивление быстро.

— Хорошо, вы от лица всей страны не выступаете. И какое искусство вы создали? Ты играешь в каком-то кабаке, о существовании которого знают только твои друзья. Преподаешь философию разным… неудачникам, которые завтра пойдут искать работу по школам и канцеляриям. Эвридика и то больше тебя прославилась с этой рекламой по телевизору. «Тиночка, а как твой предпочитает делать это?» — пропищал женским голоском Аполлон. — «С «Монастырской лозой»!» Неудивительно, что люди у меня интересуются: «Твоя невестка с Орфеем на самом деле делают это с «Монастырской лозой»?» Все вы шуты, не более!

Я бросила салфетку и вскочила из-за стола, чтобы уйти на другую половину их квартиры. Вопрос был один: успею ли покинуть комнату, не разревевшись. Не успела. Выйти из-за стола мне мешал Орфей, которого я попросту не могла сдвинуть с места. Из глаз потекли слезы. Одна из них упала Орфею на спину и скатилась по рубашке вниз.

— Мое терпение лопнуло! С меня довольно! — выпалил муж.

— Орфей, сейчас же извинись перед отцом! — вмешалась Каллиопа.

— Это он пускай извиняется! Благодаря рекламе Эвридики зимой нам удалось свести концы с концами.

— В моем доме. Где за отопление плачу я. Вот и грейтесь своей «Лозой»!

— Орфей, отодвинься, я пройду!

Дай пройти, дай пройти, дай пройти… «Эй, Эвридика, успокойся! Я пошутил, хотел только подразнить этого негодника». — «Эвридика, ну что случилось?» — «Огромное спасибо тебе, Орфей, за такой подарок!» — «Посмотрите, что вы наделали. Ну как, довольны?» — «А ты доволен?» — «А вы?»

Я слышала, как Орфей вошел в спальню, но мне не хотелось его видеть. Я с головой укрылась простыней и крепко держала ее обеими руками. Орфей наклонился надо мной и начал гладить меня по голове, время от времени целуя через ткань. Наверное, в таком виде я была похожа на мумию.

— Эвридика, умоляю тебя, не расстраивайся. Пожалуйста!

— Теперь я не смогу даже принять душ.

— Подождем, пока они лягут спать.

— Да они два часа будут со стола убирать!

Сквозь простыню ничего не было видно, но я знала, что за окнами темным-темно. Жара еще не спа́ла. Слышно было, как ветер, прорезав сухой воздух, подхватывает вдалеке что-то легкое. Полиэтиленовый пакет. Чтобы все это увидеть, не стоит открывать глаза.

— Эвридика, бессмысленно так лежать. Кажется, я нашел выход…

— Какой?

— Я соглашусь на работу, которую мне предложил сегодня Сабазий. Нас здесь не будет уже завтра.

Я и не предполагала, что Орфей получил предложение о работе.

— Я ничего тебе не говорил, потому что не собирался соглашаться.

— Тем не менее ты мог сказать. Я тащусь на пробы, чтобы услышать еще один вежливый отказ, а тебя приглашают, чтобы предложить работу.

Мне надоело лежать в темноте, и я поднялась. Орфей выглядел смущенным. Пахло валидолом.

— Если я приму это предложение, то когда буду играть? Через месяц начнется новый семестр, и мне придется разрываться на трех работах. И

без того все сложно, не знаю, за что браться в первую очередь. Что бросать? А если я не подхожу для новой работы? — говорил Орфей, устраиваясь рядом. Его рука легла мне на талию и попыталась вернуть меня обратно в горизонтальное положение. Только этого не хватало.

— Орфей, что тебе предложили?

И лишь тогда он рассказал мне все. И о работе, и о деньгах. Я отбросила его руку, сжалась в комок и снова расплакалась. Муж тесно ко мне прижался, и я почувствовала на волосах его теплое дыхание.

Вспомнилось, как однажды вечером, возвращаясь из школы, я увидела в темноте Орфея. Он стоял, прислонившись к углу кирпичной стены, и смотрел, как я к нему приближаюсь. Он жил у моей двоюродной сестры, которая работала стюардессой и к тому времени обосновалась в Софии. Все деньги от сдачи внаем меблированной комнаты мы с ней оставляли в кинотеатрах и кафе. Наверное, это были самые счастливые дни в моей жизни, но тогда я этого не осознавала. Я с нетерпением ждала, когда окончу школу, чтобы скинуть с себя последние оковы — зависимость от хороших отметок и помощи родителей, которая приходила в почтовых конвертах из дома. У меня перехватывало дыхание от огромного количества открывающихся передо мной возможностей. Они витали в воздухе, как души нерожденных младенцев, ждущих своего часа. Жизнь, оказывается, полна возможностей до тех пор, пока ты не выбрал какую-то одну из них. Орфей ждал меня.

Он учился в одиннадцатом классе, а значит, был одним из тех, кто обычно не замечает нас в школьных коридорах или делает это с огромным одолжением. Уже тогда ростом он был под два метра и в позднее время суток мог напугать кого угодно. Но не меня. Я безошибочно могла отыскать его на поле среди игроков баскетбольной команды, узнать по плечу среди музыкантов в оркестре, среди сотен лиц узнать его по малейшей черточке, которая стала родной. Он забрал у меня сумку и взял за руку. Так мы ступали вместе по мозаике из света, который отбрасывали уличные фонари сквозь поредевшие кроны деревьев.

Вдруг в конце улицы послышался лай, и мимо нас промчалась куда-то по своим делам свора тощих собак. Орфей прижал меня к себе, чтобы, как мне тогда показалось, защитить. От него пахло чистой одеждой и усталостью, накопившейся за день. Спросил, хотела бы я уехать куда-нибудь с ним вдвоем. «На пару дней. Родителям скажем, что на экскурсию со школой». Это были первые слова, которыми мы обменялись. Вернее, их произнес он. Я только кивнула в ответ.

— Орфей, что с нами стало? Где же мы застряли?

Я почувствовала, как его тело напряглось и по нему пробежала дрожь. Он беззвучно плакал. Мои волосы стали мокрыми от его слез.

* * *

...Когда до Геры дошли слухи о том, что Зевс связался с простой смертной Семелой и ждет от нее ребенка, она поняла, что пришла пора вмешаться, и через какое-то время стала лучшей подругой Семелы. Девушка открыла тайну: ее любимый — царь богов. Гера сделала вид, что сомневается, и посоветовала ей в доказательство потребовать, чтобы он предстал в полном своем блеске. Семела послушалась и начала уговаривать Зевса показать свой истинный облик.

Однако смертным не под силу видеть олимпийцев в их божественном обличье. Не выдержала и Семела...

Каллиопа

— Пап, кто такой этот Сабазий?

И так с того самого дня, когда она вышла замуж за Орфея и переехала к нам, чтобы разделить нашу квартиру на две. Папа — то, мама — это. Так ее научили в двухэтажной постройке с растущими в огороде томатами и деревянной уборной рядом с курятником. «Папа» улыбается, убирает упавший ей на глаза длинный черный локон. Маленькая нимфа бросает на него полный признательности взгляд. Кажется, я наблюдаю обычную для древних времен сцену кровосмешения. Может, мне лучше выйти, чтобы не мешать? Впрочем, это они на моей территории, пускай и уходят. Я готовлю мусаку[1].

Отношения наши наладились. Теперь, когда Орфей и Эвридика собрались переезжать, мы снова можем общаться. Аполлон недовольно засопел. Я вижу, что ему не хочется вспоминать эту темную историю, но сегодня для него дорога любая публика.

Эвридика сидит напротив, и в ее глазах читается немой вопрос. Зрачки — кристально синие, как бездонные озера или пайетки, что пришивают школьницы на свои выпускные наряды.

— Он сын Зевса, моего отца. Родился поздно, когда Зевс уже не верил, что в его жизни может случиться еще что-нибудь хорошее. Боги тоже стареют.

Давно я не видела мужа таким увлеченным. Эвридика внимала импровизациям на тему «правда, известная мне одному» с трепетом школьницы, надеявшейся заработать пять с плюсом. Как тут устоишь перед таким слушателем? К сожалению, у меня, дописывавшей за мужа умные изречения и поправлявшей в них пунктуацию, уже давно выработался иммунитет против его нерушимого авторитета в искусстве. На сегодняшний день Аполлон был для меня всего лишь морщинистым стариком с испуганно бьющимся сердцем.

— Я могу закурить?

Муж благосклонно улыбнулся, а я решила, что самое время вмешаться.

— Нет, Эвридика. Извини, но я готовлю.

Кухня — единственное помещение, которое я могу назвать своим убежищем. Одну комнату превратили в музей, другую — в архив, третью — в библиотеку, четвертую — в личный кабинет Аполлона. Пятая по идее должна была быть нашей с ним спальней. Но я спала в той, что отвели под музей. Моя кухня светлая и чистая, в шкафчиках расставлены банки со специями и вареньем. Мне не в тягость находиться здесь целый день. Бывают царства большие и маленькие, а мое царство — с балконом, куда после обеда заглядывает солнце.

— Аполлон, почему бы вам не поговорить в комнате?

Они одновременно оборачиваются в мою сторону. С удивлением, словно ждут, пока «жена» вытрет пыль и оставит, наконец, их одних. «Жена» у нас — чуть ли не единственный показатель преуспевания заброшенного на самом деле хозяйства. В это время они пьют кофе из больших чайных кружек. Одну оставили для меня. Очень грамотный ход для формального приглашения в компанию. Ведь иначе я могла бы обидеться, а так я ее просто отставляю в сторону.

— Почему я ничего не знаю о Сабазии? Как так получилось, что никто о нем до сих пор не проронил ни слова?

— Я уже говорил, что он был недоразумением. Никто, кроме Зевса, его не хотел. С самого рождения Сабазий стал угрозой для сложившегося порядка вещей. Кто поумнее, догадывались, что он принесет несчастья, и не позволяли ему взобраться наверх. Но этот молодой человек — очень силь-

[1] Мусака — запеканка из картофеля и баклажан с мясом. *(Прим. пер.)*

ный противник. Были и такие, кто пытался его убить. Некоторые утверждали, что им это якобы удалось. Теперь же у нас нет права на отдых.

Готовясь рассказать долгую историю, Аполлон набрал в легкие побольше воздуха.

— Мать Сабазия работала медицинской сестрой. У нее были самые рыжие волосы, какие я только видел в своей жизни. Безусловно, одно это не делало ее красавицей. Рыжие люди странные. Им постоянно как будто не хватает одного цвета. Темной краски, которая привела бы в равновесие их внешний вид. Лицо и руки у нее были молочно-белые, а глаза — не помню, скорее сочетание всех существующих оттенков.

Красота ее заключалась в ярких алых губах, стройном теле, быстрых и ловких движениях. Ее очень легко было рассмешить, шокировать или заставить негодовать. Любое чувство накрывало ее волной. Рыжие кудри, которые рано или поздно освобождались от всех шпилек и заколок, торчали в разные стороны. Иногда, заглядывая к отцу, я слышал, как Семела пела в соседней комнате, пока наводила там порядок. Она постоянно прибиралась в доме.

Зевс обзавелся собственной медицинской сестрой после одного из визитов к доктору, который посоветовал ему следить за давлением. Может, он имел в виду регулярное употребление каких-нибудь лекарств, но для Зевса это стало поводом доверить заботу о своем теле профессионалу. Он был рожден для двух вещей: командовать и распределять задачи. Все остальное ему стоило усилий.

Как ни странно, мать Сабазия выбрали на конкурсе, который состоял из практического задания и письменного экзамена. Кроме того, охрана проверила всю ее родню до девятого колена. В конце концов ей даже дали звание. Медсестра генерала в любое время обязана быть в полной боевой готовности: со спринцовкой в одной руке и таблетками в другой.

Поначалу Зевс пребывал в восторге от этой идеи: располагать личным медицинским работником. Настаивал, чтобы каждого гостя встречали с тонометром в руках или расслабляющей гимнастикой. Меня он успел подвергнуть какой-то полезной для работы мозга инъекции. Не успел я опомниться, как Семела воткнула мне в плечо иглу, улыбнулась и приложила пропитанную спиртом ватку к кровавой ране. Я сразу же представил канал, который игла проделала в моем теле, чтобы доставить драгоценную жидкость. Миниатюрная, но очень глубокая рана. Семела по-прежнему улыбалась, с ее лица никогда не сходила улыбка. Зевс похвастался, что выписал также вакцину для укрепления иммунной системы.

Уж не знаю, что он там у себя укреплял, но вскоре не на шутку влюбился в сестричку. Это было очевидно и для нас, и для Семелы с Герой. Один лишь Зевс утверждал, что он будто возродился, что благодаря постоянной заботе и здоровому образу жизни обрел вторую молодость и тому подобное. Теперь он не выезжал в горы без Семелы, в то время как раньше не бывал там в принципе. Долго приходилось его дожидаться «Чайке» с охраной.

Гера сразу как-то поникла, располнела, однако глупой она не была никогда. Я замечал, как она неотрывно следит за каждым шагом Семелы и отводит глаза сразу же, как только девушка оборачивается. Приступы головной боли у нее сменялись бессонницей. Следить за Зевсом было бессмысленно, попытаться отослать Семелу куда-нибудь — и вовсе невозможно. Девушка имела звание и состояла в ближайшем генеральском окружении. Из-за этого самого звания я так и не смог понять, какие чувства она испытывала к Зевсу. Но если бы она его ненавидела, это в чем-нибудь да проявилось.

А Зевсу требовалось все больше внимания. В компании медсестры он стал появляться на светских приемах, брал ее с собой в командировки. Везде она держалась скромно: стояла в стороне, молчала, и если к ней

обращались, отвечала признательной улыбкой. Зевс сходил по ней с ума. Когда стало невозможно скрывать ее беременность, он подыскал для нее дом и сам контролировал процесс его ремонта.

«Семела, взяла бы ты отпуск, отдохнула немого, — произнесла как-то за завтраком Гера. — В твоем положении уже трудно ухаживать за Зевсом. Ты не так уж хорошо его знаешь и не имеешь представления обо всем, чем он занимается. Да тебе и не надо. Не беспокойся, он найдет тебе замену, а когда родишь, сможешь вернуться на работу. Я сама тебя позову. А то ведь я его, старого кровопийцу, хорошо знаю! На людях он всемогущ и беспощаден, а дома не может без сиделки. Моих нервов уже давно не хватает для такой работы. Капни мне в чай немного виски, пожалуйста». Когда было необходимо, Гера умела выглядеть доброжелательной. Ложь сама слетала с ее уст, не затронув работу мозга. И однажды, когда Зевс собирался в очередную поездку, Семела стала умолять, чтобы он взял ее с собой. Ее абсолютно не волновало, куда он уезжает. Зевс не был уверен, что это хорошая идея, но все же ущипнул Семелу за веснушчатую щечку и согласился.

Стоял ноябрь. Там наверху, в хижине, по старой доброй традиции мы собрались в узком мужском кругу. Посейдон, Гадес, Гермес и Арес уже прибыли. Для меня, как истинного интеллектуала, всегда находилось местечко в этой компании. Не скажу, что я обязательно со всеми соглашался, нет. Но к моему мнению прислушивались. Помню, мне тогда не терпелось испробовать свое новое ружье, но я не знал, представится ли такая возможность. Обычно первым стрелял Арес, еще до того, как зверь приблизится на достаточное расстояние. Мы его предупредили, чтобы дал Зевсу время выстрелить первым, но не было никакой гарантии, что он сдержит слово. Зевс славился неточной стрельбой. Гермес же всякий раз попадал в цель, но мы знали, что его попадания потом вылазят нам боком, а потому старались задвинуть его на заднюю линию. Лично я дичь не люблю, но в то время стрелял регулярно и часто имел успех. Когда ты входишь в такое закрытое общество, надо играть по его правилам.

Мы сидели перед камином в гостиной. Огонь еще как следует не разгорелся. Закинув свои тощие ноги на табуретку, Гермес рассказывал небылицы о заграничных командировках. Тепло было лишь в непосредственной близости к огню, а в комнате пахло морозным сосновым воздухом.

За окном послышался звук заглушаемого мощного мотора, хлопанье дверей, шаги. Зевс вошел в комнату и по установленному ритуалу отдал честь всем присутствующим. Прогремели приветствия: каждый считал себя обязанным ответить. И тогда из-за его спины показалось смущенное лицо Семелы. Одета она была в полушубок до колен, который едва застегивался ниже груди. Из-под шапки выбивались огненно-рыжие волосы. На наши собрания не было принято приводить ни жен, ни любовниц, но правила здесь устанавливал Зевс. Оказалось, приехал он не только с Семелой. Вслед за ней вошел седой мужчина средних лет в городском зимнем пальто. Зевс вызвал его из больницы, чтобы тот следил за состоянием девушки. Я впервые видел, чтобы доктора приставляли к медицинской сестре, которая сама должна была заботиться о своем подопечном.

На следующий день мы заняли позиции в овраге и стали ждать. Тонкий слой снега за ночь покрылся ледяной коркой и хрустел под ногами. Наша обувь утопала в каше из коричневой опавшей листвы и подтаявшего снега. Чуть поодаль загонщики уже стояли на своих местах. От нас требовалось только ждать и держать ружья наготове, поэтому очень скоро по кругу пошли бутылки с ракией. Не пила одна Семела. Она сидела рядом на стволе упавшего дерева, закутавшись в теплую шаль. На ней были пестрые вязаные перчатки с разноцветными пальцами. Похоже, Зевс окончательно впал в детство.

Вдруг со стороны леса послышались крики, и все начало развиваться со стремительной быстротой. Мы схватились за ружья. Из кустов выскочила серна и перепрыгнула через поваленное дерево, на котором сидела Семела. Я только успел заметить, что самка была не одна. В этот момент прогремел выстрел. Должно быть, стрелял Гадес: только что серна мчалась вперед и вдруг упала замертво. Бежавший за ней детеныш сразу растерялся: он еще ни разу не разлучался с матерью. Кинулся в одну сторону, в другую. На вид, хоть белых пятен у него на спине я не заметил, ему было месяцев шесть. И тут Зевс, желая заполучить свой трофей, прицелился. Семела вскочила, выбила из его рук ружье, но Зевс все же успел выстрелить. Не знаю, попал бы он в иной ситуации, но тогда ему удалось прострелить детенышу ногу, и она повисла на тоненькой жилке. Над сочившейся на снег кровью поднимался пар. В самый первый миг, когда животное лишается конечности, оно не осознает, что произошло, и пытается на нее ступить. Козленок тоже шагнул было вперед, но тут же потерял равновесие и упал. После выстрела Гермеса он уже не поднялся. Но для Семелы было поздно…

Сабазий появился на свет недоношенным и с чем-то наподобие рога на лбу. Говорят, Зевс потом позаботился о Семеле, которая с тех пор навсегда потеряла рассудок. Вполне возможно. В том, что он успел спасти Сабазия, нет никаких сомнений.

За столом повисла тишина. Эвридика закурила.

— Эвридика, пожалуйста! Мы ведь, кажется, договорились.

Девушка затушила сигарету в блюдце. Длинный окурок согнулся пополам, и из-под него выскочили маленькие искорки. Выглядело это довольно грустно: как все, что сделано на совесть, но чему не посчастливится исполнить свое предназначение.

— Да, но это не повод, чтобы ненавидеть Сабазия.

— Нет. Конечно, нет. Это только допущенная вначале ошибка.

Эвридика поднялась, чтобы посмотреть, сколько книг осталось упаковать Орфею. Сегодня они забирали оставшиеся вещи. Аполлон немного поерзал на стуле и попытался незаметно стащить двумя пальцами кусочек икры у меня из-под носа.

— Я только попробую! — перебил меня он и улизнул из кухни прежде, чем я успела что-то возразить.

Мне стало легче, как только я осталась одна. Выслушивая глупости, которые рассказывал муж о Сабазии, мне надо было его либо прервать, либо, как говорят на свадебных церемониях, замолчать навсегда. В моей жизни нет иных достижений, кроме Орфея, десятка хороших переводов и этой кухни с балконом. Я отчетливо понимаю, что, как спасательный круг, она пронесла меня сквозь бури, которых я хотела избежать, и над глубинами, в которые я не хотела опускаться. Я знала, что другая жизнь тоже возможна, но верила: чтобы уцелеть, достаточно крепко держаться за свой круг. А способность не соглашаться с Аполлоном и говорить ему это открыто я утратила где-то по дороге.

Справедливости ради следует заметить, что Семела не сошла с ума сразу, как утверждал Аполлон. Гера распорядилась, чтобы девушку в ее состоянии — каким бы оно ни было — держали под наблюдением подальше от ее глаз и по возможности за городом. Сабазия отдали на усыновление, когда он пришел повидаться с Семелой.

Однажды я побывала в том санатории. Его окна скрывали стальные решетки, а само здание на первый взгляд напоминало школу. Охранник на входе попросил подождать, пока о моем визите проинформируют лечащего врача. Стены и пол приемной были выложены осколками мрамора на цементе. Тогда это называлось римской мозаикой. Я присела у окна в кресло, из дыр в котором торчали клочья поролона. На противоположной стене

висели металлические таблички с надписями «Не курить», «Процедурная» со стрелкой, указывающей на лестницу, и «График посещений больных». Один из плакатов объяснял, как и когда мы придем к светлому будущему.

Семелу привели закутанную в халат зеленого цвета, из которого нелепо торчали ее руки и ноги. Волосы девушки утратили былой цвет. Нам разрешили побеседовать в парке, и мы присели на скамейке возле недействующей чешмы[1]. Кто-то заткнул в кран деревянный сучок и решил таким образом проблему водоснабжения. Я слышала, что над полями, где в сражениях погибло много людей, никогда не поют птицы. Теперь у меня есть свое уточнение на этот счет. Во дворах домов для душевнобольных птицы поют не переставая. Так громко, что мешают разговаривать. Здесь должна быть какая-то связь со свободой слова, но не уверена, какая именно. У Семелы на тыльной стороне обеих рук, между локтем и кистью, синели два больших пятна. Такое случается, когда не попадают в вену, а не попадают потому, что пациент отчаянно сопротивляется и размахивает руками. Так или иначе, по виду Семелы было ясно, что укола она не избежала. Я передала ей шоколадные бисквиты, которые купила по дороге в больницу. «В школе он всегда сидел передо мной, — произнесла Семела после краткого молчания. — А потом он исчез. Я думала, уехал куда-нибудь. Так сказали его родители. Но они сторонились людей, и я не могла узнать ничего больше. А потом там, во дворе, в честь Зевса решили устроить пир. Погода стояла солнечная, но довольно прохладная для пикника. Вокруг нас сновали охранники с обслуживающим персоналом. Зевс громогласно смеялся, повторяя, что трутней и дармоедов может исправить только тяжелый труд. Я уже успела пожалеть, что поехала с ним в эту командировку. На стройке, по другую сторону обнесенного проволокой забора, трудились арестанты, напоминавшие обросшие скелеты. Их раны гноились и источали невыносимый запах мочи и рвоты. Кому только в голову могло прийти устроить там обед? Внезапно один из этих скелетов, подняв руку, подался вперед. Кажется, он хотел мне что-то сказать, но оказалось, у него не было зубов. Я успела узнать прежде его, чем один из охранников повалил его на землю дубинкой. Это был мой исчезнувший одноклассник. Очень умный парень, знал три языка…

Это одна из последних встреч, когда мне удалось поговорить с Семелой. Возможно, она все сочинила, ведь в клинике ее лечили от шизофрении. Но и Аполлон — известный выдумщик. Его Олимп выглядел всегда одинаково: время от времени на нем происходили несчастные случаи, выход из которых мудрыми богами находился незамедлительно. Бессмертные лгут гораздо чаще, поскольку их ничуть не заботят остальные.

— Эй, ты здесь?

На спину мне опустилась тяжелая рука сына. Я стояла на балконе, держа в руках сухие листья герани, которые, кажется, повыдергивала из цветочных горшков. Орфей облокотился на перила рядом.

— Машина приезжает завтра?

— Ты всегда сможешь приходить к нам в гости, — ответил сын.

— Да ладно, вы ведь не для этого переезжаете.

Орфей вздохнул. Мы с отцом запутали его окончательно. Научили ценить и защищать то, о чем сами не имели понятия и ради чего не пошевелили и пальцем. И пока мы лгали сами себе, он нам верил.

— Ты справишься один?

— Мам, ты неисправима, — сказал он, и мы оба рассмеялись. Только мой смех был совсем не радостным.

---

[1] Чешма — каменное сооружение с краном для отведенной воды источника. *(Прим. пер.)*

Временами я задумываюсь, есть ли в жизни что-то более важное, чем борьба за существование. Согласно песням Аполлона — есть. Но ему за это платят…

* * *

…Мифы переигрывают всякий раз, когда меняется их начало. Заново распределяют роли, и драма повторяется. Но при подобном обращении с информацией всегда существует опасность допустить ошибку. Два героя сливаются воедино. Претерпевают изменения и взаимоотношения между богами. Мифы, которые всегда существовали независимо друг от друга, неожиданно развязывают войну за свободную территорию. События из конца истории появляются в ее середине. К примеру, одни говорят, что после неудачной попытки вернуть Эвридику Орфей был растерзан спутницами Сабазия — менадами. А может, чтобы не потерять Эвридику навсегда, он сам разорвал себя на части. Однако эти небольшие перемены вовсе не означают, что миф изменился до неузнаваемости или стал другим. Он здесь и уже заманил в ловушку своих героев.

Правда, есть и другие, менее важные проблемы. Кто-нибудь слышал, чтобы главный герой носил носки?

Ну да ладно, этот вопрос несущественен.

Орфей

— Пегас, извини, конечно, но выдумать такое мог лишь человек с воспаленным сознанием, — заявил Белерофонт и отставил гитару в сторону. Еще несколько тактов я продолжал играть без его сопровождения.

Пегас доиграл свою партию, выглянул из-за тарелок и переспросил:

— Чего?

Футболка на его худых плечах висела, как на вешалке, а цепочка с дешевым кулоном в виде китайского дракона, перекрутившись, болталась где-то на спине. Я опасался, как бы он не снес что-нибудь, так энергично размахивая палочками. Но его редкие волосы всегда оставались разделенными посередине на идеально ровный пробор. Я готов был поспорить, что Пегас — единственный человек на свете, которому чужда всякая суета, пока однажды не увидел, как он возится перед зеркалом со своей прической. Картина еще та! Всегда можно было быть уверенным, что Пегас не свернет со своего пути. А вид у него, конечно, был идиотский.

Белерофонт в ответ только поднял гриф гитары, словно угрожая тем самым Пегасу. Я тоже решил высказаться:

— Пегас, ты пишешь все сложнее и сложнее. Такое ощущение, что я играю партию проститутки, которую кто-то вытолкал за дверь, и она с криком и руганью требует свои деньги.

Пегас просиял.

— Именно это я и имел в виду. Ты смотри, как точно получилось.

Я похлопал его по спине. Уж не знаю, как такой скелет может управляться с барабанными палочками. Я постарался максимально точно сформулировать свою мысль, а в результате вышло:

— В принципе что-то в этом есть… Давай попробуем доиграть до конца.

Белерофонт прислонил гитару к стене и опустился на связанную стопку книг. Репетиции наши проходили в помещении Дома культуры, в котором кто-то на местном уровне попытался создать прибежище всех видов

искусства. Справа от нас стояли этажерки с книгами, слева — зеркала для занятий балетом. Пространство между ними использовалось музыкантами вроде нас и одной самодеятельной театральной группой. Иногда мы находили какие-нибудь предметы их реквизита: котелок, женскую перчатку до локтя. Однажды Белерофонт и Пегас, обнаружив сгруженные в углу пластмассовые сабли, превратили репетицию в дуэль. Пока я их разнимал, Белерофонт так хлестнул Пегаса по руке, что тот не мог играть целую неделю.

Сейчас же мы сидели на подаренных библиотеке мемуарах, расставить которые по полкам у библиотекарей не хватило сил. Все их я уже давно пересмотрел. Большинство из них, с автографами авторов, были у моего отца.

Ключ от этой комнаты достался нам благодаря стараниям бабушки Пегаса. Она играла на аккордеоне в этом же помещении.

Белерофонт принял позу мыслителя и в задумчивости дергал себя за губу. Он делал так всегда, когда не мог определить, на чьей стороне преимущество. Люди, которые не знали Белерофонта достаточно хорошо, считали его тихоней. «Смотрите, какой скромный, как он улыбается!» Белерофонт действительно был тихим, но втайне от всех тренировался со штангой. Результатом такого внимания к своему телу стал накачанный пресс из кубиков и грудь порнозвезды. Женщины его любили, и в этом вопросе их мнение полностью совпадало с таковым самого Белерофонта — он тоже себе нравился. Вначале Белерофонт зарабатывал на хлеб, снимая свадьбы. Когда я ему подсказал, что на свадьбах можно еще и играть, он возмутился и возразил, что дорожит своим именем и глупостями заниматься не станет. Такой ответ застал меня врасплох. Белерофонт единственный из нас троих не умел читать ноты. Постепенно он разучил партитуры, но не мог избавиться от подозрения, что мы с Пегасом во время исполнения какой-либо композиции обмениваемся тайными сообщениями.

По сути Белерофонт представлял собой гораздо более интересную личность, когда его имя еще не было на слуху. До нашей встречи он пять лет зарабатывал гроши пением на западе. Обходил кабаки с мужским хором из шести человек, исполнявшим православные песнопения. Представлялись они странствующими русскими монахами. У них имелись и серебряные кресты, и черные рясы из какого-то воображаемого монастыря на Урале. Однажды их чуть не разоблачила русская эмигрантка, которая хотела поговорить об их общей родине. «Земляки» же на пальцах попытались объяснить, что вне сцены сохраняют строгий обет молчания, и спешно скрылись в автобусе. Никто из них не мог связать и трех слов по-русски. Я как-то поинтересовался, зачем им нужна вся эта бутафория, если исполняли они наши, староболгарские песни. У Белерофонта был готов ответ: «От нас ждут болгарских народных плясок, а от русских — мистицизм. Я поехал за границу не для того, чтобы ломать стереотипы в кабаках. Мне надо было зарабатывать деньги. И вообще… Песни-то были настоящие!» С ним мы познакомились у Пегаса. Кто только не бывал в то время у него в гостях.

Белерофонт так легко от своего не отступался:

— Под воздействием каких таких веществ тебе могла прийти в голову подобная музыка?

— Да отстань ты! Я чист. У меня отбой по расписанию, как у младенца. Перед тобой стоит совершенно другой человек, — сказал Пегас, встал на четвереньки и начал рыться среди завалов из книг.

— Ага, ты только решил проверить, способна ли воспроизвести такое рука человека, — придрался на этот раз я.

— За твою руку я спокоен.

Белерофонт побагровел.

Пегас вытащил из-за книг бутылку водки и посмотрел на нее с тоской:

— Вот ты где была!

Но я не располагал таким количеством свободного времени, как раньше.

— Пегас, прошу тебя, поставь бутылку на место. Белерофонт, давай попробуем еще раз. У меня есть идея, как можно упростить одно место. Ну же! Мне надо еще заскочить на телевидение, монтаж сделать.

— Вы только посмотрите! — воскликнул Белерофонт. — Работа на телевидении отнимает у нас много времени! А ничего, что конкурс на носу?

Пегас смотрел то на него, то на меня, опустив безвольно руки. Причем правая, в ней он держал две барабанные палочки, казалась длиннее. Белерофонт меня не особо заботил, а потому и не успел разозлить.

— Значит, так! — сказал я. — Во-первых, в «Хебросе» не так уж и весело: на старости лет мне пришлось с нуля учиться всяким телевизионным приемчикам и ломать голову над вопросами для интервью. И во-вторых. Можешь записать себе это на лбу: мы подготовимся к конкурсу. Чего бы мне это ни стоило. Ради музыки я живу.

Здесь Пегас рассмеялся:

— Или ради Эвридики.

— Да, и ради Эвридики тоже. Давайте репетировать.

Они обменялись взглядами и поднялись. Мы играли до тех пор, пока комната не заполнилась учениками в народных костюмах. Я увлекся и опоздал на монтаж. Пришлось взять такси.

Здание телеканала «Хеброс» располагалось несколько в стороне от центра, в одном из так называемых «перспективных кварталов», которые дорожали с каждым днем по причине бурного строительства, но по всему было видно, что возвели его там из-за дешевизны. Это была неприметная двухэтажная постройка, над белым фасадом которой развевался национальный флаг, знамя Европейского союза и отпечатанный на ткани логотип фирмы болотного цвета. Грязная улица вела к главному входу.

Однако обстановка внутри здания давала понять, что вы вошли не в обыкновенное учреждение, а попали в строго регулируемый мир, в котором крутятся большие деньги. В углах стояли автоматы с бесплатной минеральной водой, на втором этаже — кофе-машина. В дизайн этого места определенно не вкладывали миллионы, но оно было функциональным. В коридорах суетились выкрашенные в блондинов ведущие в строгих костюмах, слонялись без дела бородатые операторы, люди из администрации разносили папки, а рядом с туалетной комнатой курили гримеры с пластиковыми стаканчиками кофе в руках.

Время от времени открывалась дверь телестудии и оттуда выходила одна из тех личностей, которых видят только за трибуной, на светском приеме или на экране телевизора. Эти титаны власти мне были знакомы по отцовским встречам, только тогда они держали себя гораздо скованнее.

Свою передачу я назвал «Говорящие головы». Она одна из самых дешевых на канале. Не требуется ни специальный реквизит, ни рукоплещущая массовка. Я решил быть честным, показать своим немногочисленным зрителям настоящее качество: талантливых писателей, режиссеров, музыкантов, моих единомышленников и соперников, которых задвинули на задний план их более нахальные коллеги. Настало время заговорить моему немому поколению, которому постоянно затыкали рот. Ведь если у людей не развит слух, то как они могут разобрать: рассказывают им о чем-то хорошем или наоборот. Такие мысли помогали мне видеть себя в выгодном свете, пока я направлялся в монтажную.

Когда я вошел, Каллироя уже работала над отснятым материалом.

— Привет, я немного опоздал… — произнес я, очевидно, с надеждой, что это прозвучит как извинение.

По выражению лица Каллирои было ясно, что она еле себя сдерживает. Это была энергичная женщина под пятьдесят с тонкой кожей, острыми скулами, прямым носом и вздернутым подбородком с ямкой посередине. Каллироя напоминала песочные часы, одна половина которых наполнялась опытом, в то время как из другой утекали оставшиеся годы. Когда я с ней познакомился, опыт резко преобладал. Я еще не был знаком со своими коллегами (мы приходили на работу в разное время), но о ней уже навел справки. Каллироя не имела собственной семьи, и на четырех каналах, которые она успела сменить, утверждали, что ее единственной семьей была работа. Она задерживалась допоздна без особой на то надобности, бродила по коридорам, подобно весталке покинутого храма, копалась в материалах информационных агентств в поисках незамеченных другими сенсаций и курила вместе с охранником на входе. Именно поэтому она взялась за мое обучение. От Каллирои я научился еще кое-чему: одни журналисты работают с политикой, другие — с культурой, и между ними существует кастовое отличие. Мы с Каллироей относились к разным кастам.

Я присел рядом.

— Посмотрела я три твои последние передачи. Для начала сделай себе человеческую стрижку. С этой отросшей челкой ты похож на оборванца.

— Или все же на творческого человека…

— Кроме того, прекрати без конца повторять «Не так ли? Правда?», как будто хочешь услышать согласие зрителя. Держи себя увереннее, и они сами с тобой согласятся. Не миллионы, разумеется, но…

Когда человек учится, необходимо постоянно держать себя в руках. Иначе возникает желание схватить стоящую за монитором бутылку бурбона и снести педагогу голову. Я быстро понял, что и в «Хебросе» пьют много, но не от бесперспективности, как мои коллеги по университету, или для вдохновения, как принято среди музыкантов, а по-журналистски — для снятия стресса. Прикладывались главным образом к бутылкам с золотистого цвета жидкостью и этикетками с надписями на английском.

— Каллироя, почему ты так меня ненавидишь?

— Кто, я?! С чего ты взял?

Мы поработали еще час над моим следующим выпуском, который был порезан на отдельные кадры и склеен заново профессиональным, но самым безапелляционным способом. Истинный ответ Каллирои я услышал позже, когда уходил. Сквозь щель неплотно закрытой двери до меня донеслось ее приглушенное бормотание:

— Долбаные папенькины сыночки…

Видимо, дух моего отца преодолел все препятствия в пространстве и времени и успел меня настигнуть даже здесь. Но у меня, в отличие от Гамлета, были связаны руки.

Возвращался я пешком. Я мог бы увидеть Эвридику на час раньше, но хотелось немного проветриться. Тротуары блестели после недавно прошедшего дождя. У меня было такое ощущение, что я иду по городу вечных сумерек, в котором светящиеся витрины магазинов, как маяки, указывают места, где жизнь еще не угасла.

С тех пор как у меня появилась новая работа, улицы будто изменились. После первого большого аванса меня не покидает желание скупать все, на чем останавливается взгляд. Я ловлю себя на мысли, что захожу в рестораны только для того, чтобы морочить голову официанткам. Покупаю филе семги несмотря на то, что ни я, ни Эвридика не любим рыбу. Как будто теперь, когда нам это по карману, она непременно должна нам понравиться. В просящих милостыню я теперь вижу исключительно лентяев. Прежде я им сочувствовал, находясь в постоянном страхе, что в любой момент

могу сам оказаться на их месте. Перед моими глазами стояла следующая картина: отец завещает нашу квартиру под музей, мать умирает от горя, Эвридика от меня уходит, а я стою на ветру без перчаток в какой-нибудь подворотне и выдавливаю из своей скрипки жалобные звуки. Университетского заработка хватало только на оплату счетов за электричество, воду и покупку одной несчастной лампочки на 60 Вт. Но скоро нищие начали вызывать во мне совсем другие мысли. «Почему бы им не взяться за какую-нибудь работу? Я целыми днями кручусь как белка в колесе, неимоверно устаю от того, что приходится учиться вещам, которые меня раздражают, вечерами от усталости засыпаю на самом интересном месте криминального фильма, а по утрам не могу заставить себя подняться с постели. Музыка, философия, риторика — когда-то эти предметы сочетались сами собой, а теперь у меня нет времени даже подумать о них. Ведь не свалились же мне эти деньги с неба просто так!» Более того, я начал завидовать нищим. Я презирал себя за подобные мысли и запрещал себе так думать. А затем покупал еще одну семгу.

Размышляя так, я прошел вдоль канала и остановился, чтобы перейти дорогу. Мне показалось, что машин нет, и я ступил на проезжую часть. Внезапно из-за поворота выскочили три черных автомобиля и с еле слышным шуршанием промчались в сантиметре от меня. Водитель первой машины резко вывернул руль и успел меня объехать, остальные две последовали за ней, словно связанные одной веревкой.

На сиденье рядом с шофером я увидел Сабазия.

У нас была лишь доля секунды, чтобы разминуться. Вначале меня ослепил свет фар, потом парализовал страх возможной катастрофы. И тогда, через боковое стекло, я заметил его лицо, как всегда непроницаемое. Сложно сказать, узнал он меня или нет. Во всяком случае, он этого не показал. В результате я остался с чувством, что его карий глаз меня заметил, а синий — нет. Он словно видел тот мир, заглядывать в который я опасался. Три автомобиля бесшумно скрылись в конце проспекта, как шарики ртути из разбитого термометра. Черной ртути.

Наша с Эвридикой новая квартира состояла из двух комнат и располагалась на последнем этаже пятнадцатиэтажного жилого дома. Часть вещей мы перевезли из квартиры родителей, докупили чего не хватало и, разбираясь с малярами и грузчиками, были совершенно счастливы. Дом стоял на улице, в названии которой фигурировало слово «шоссе», из чего становились очевидными удобства транспортного сообщения. Мимо нас проезжали все автобусы, связывающие восточные районы города с центром, и даже несколько троллейбусов. За это мы расплачивались неутихающим грохотом, прекратить который можно было только закрыв окна. Эта квартира стала нашим первым общим домом. Мысль, что я, наконец, могу обеспечить Эвридику чем-то действительно важным, давала мне силы жить дальше.

Вход в наш подъезд представлял собой окрашенные в белый цвет железные ворота. На балконах четырех нижних этажей стояли решетки. Как-то в лифте я поинтересовался у соседа, почему, живя достаточно высоко, они фактически превратили свою квартиру в тюрьму. Он посмотрел на меня, как на марсианина, который прилетел на нашу планету, чтобы опросить землян на тему их быта.

— Если на первом этаже ставят решетки, они автоматически превращаются в лестницы, по которым спокойно залазят воры. Тогда и на втором этаже ставят решетки, но проблема теперь возникает у жильцов третьего.

«У меня есть еще время, пока воры доберутся до пятнадцатого», — с облегчением подумал я.

Открыв дверь своей квартиры, я обнаружил, что во всех комнатах горит свет. Было тепло и пахло каким-то блюдом из картошки. Я вошел в гостиную и увидел свешивающиеся со спинки кресла черные волосы Эвридики. Она заснула перед включенным телевизором. Дышала ровно, рот был чуть приоткрыт. Лицо побледнело, тело лежало словно покинутое своей хозяйкой, а плотно сомкнутые веки указывали на то, что где-то она продолжает жить своей жизнью. Бродит в постоянно меняющихся декорациях сна и размышляет над своими нерешенными проблемами. Я и не думал, что у Эвридики могут быть нерешенные проблемы. По крайней мере, в бодрствующем состоянии по ней этого не было видно.

Я поцеловал ее, чтобы вернуть обратно. В сказках это всегда срабатывает. Эвридика открыла глаза, увидела меня и, кажется, пожалела об этом.

— А вот и я! Мы можем поужинать вдвоем.

— Я уже ужинала.

Она сидела на расстоянии вытянутой руки, а смотрела будто издалека. Я взял ее за руки. Начал извиняться за опоздание.

— Эвридика, как прошел день?

— Ну… смотрела тебя по телевизору.

Эвридика встала и закрылась в ванной. Я ужинал в одиночестве и слушал, как шумит вода в душе.

— Эвридика! — постучал я в дверь ванной.

— Что?

А действительно, что?

— Ты счастлива?

Ответа не последовало, но душ она выключила. Дверь открылась, и Эвридика вышла, закутанная в белое махровое полотенце, вместе с облаком пара и ароматом мыла. Попыталась меня обойти, но я ее остановил и попытался заглянуть в глаза.

— Мы собирались пойти в кино, помнишь?

Я сразу же начал обещать снова. Сходим завтра. Обязательно. Чего бы мне это ни стоило. «Я никак не мог прийти раньше. Ты ведь знаешь».

— Да, знаю. Но для меня важнее то, что ты забыл.

Я пришел в дом, в котором все было подготовлено для еще одного человека — меня. Но в то же время меня здесь заменяло лишь пустое очертание. Я попытался обнять Эвридику. Я боялся, что заставил ее страдать. Она остановила меня на расстоянии локтя, опустила голову и рассмеялась.

— Ты надел носки разного цвета.

Она была права. На белом полу гостиной стояли две маленькие босые ножки и две большие — коричневая и зеленая. Босые ноги отделились от моих и прошлепали в спальню. Мне хотелось последовать за ней, но надо было еще подготовиться к завтрашним занятиям со студентами. Я открыл окно и впустил свежий воздух. В комнату ворвался шум магистрали. Машины ехали двумя встречными потоками красных и белых огней. Время от времени с грохотом проносился какой-нибудь грузовик.

Когда около двух часов я ложился спать, на ночном столике обнаружил лекарство, которое принимал каждое утро от сердца. Бета-блокатор. Эвридика никогда не забывала о нем. Даже в такие дни, как этот, когда я опасался, что она хочет сказать мне гораздо больше, чем сказала на самом деле.

Гадес

Меня зовут Гадес, и я действительно существую.

Поскольку я живу в земле, для меня она прозрачна. Это среда, в которой я передвигаюсь. Я дышу землей, гуляю в камне, любуюсь пейзажами

внутри скал. Прожилки оксида железа, которые с поверхности смотрятся застывшими в мраморе кровавыми следами, дрожат перед моими глазами, как марево после дождя знойным летом, а полоски магния в зеленых камнях — лес, по которому я гуляю. Я очень люблю наблюдать за тоненькими ростками источников, которые жадно пьют воду из недр земли. Ад — красивейшее место, если ты здесь родился.

Иногда я лежу на спине и разглядываю людей над головой. Они движутся по земной поверхности, как конькобежцы по льду. Одни проявляют небывалую сноровку. Другие топчутся на одном месте. Самое интересное начинается, когда они сталкиваются. Тогда их количество умножается или они спускаются в мои владения. Рано или поздно у меня оказываются все.

Людям это не нравится. Говорят, что в камне им темно. Поначалу всегда так. Никому не хочется меняться. Хотя лично мне не понять, что значит такая перемена: я родился бессмертным. Мне жаль людей, я вижу, как они мучаются. В сущности, их мучения я вижу лучше, чем что бы то ни было: их постепенное отвердевание, которое начинается где-то между горлом и желудком. Некоторые носят в себе самые настоящие камни. Не у меня, разумеется, а там, наверху. Не побывав еще в моем царстве, они уже носят меня в своих сердцах. Зачастую здесь, внизу, им становится легче, но у меня нет возможности им об этом рассказать.

Меня зовут Гадес, и я действительно существую. Везде.

* * *

...Пегас был сыном Медузы Горгоны, чей взгляд обращал человека в камень. Ударом крыла о землю Пегас мог выбивать источники...

Эвридика

Мне приснилось, будто я бегу по полю летом. Небо странного красного цвета. Я еле продираюсь сквозь высокую траву, но с каждым шагом идти вперед становится все легче. Я не чувствую боли, хоть кожа расцарапана до крови. Вдруг я понимаю, что осталась одна. Подруги, с которыми мы вместе гуляли, где-то далеко позади. Орфея тоже нет рядом.

Я хочу узнать, зачем бегу. Надо мной сгущаются тучи. Трава колышется, словно перед бурей. Вокруг стоит полная тишина. Едва ли мне удастся отыскать обратную дорогу, остается только двигаться вперед. Чтобы увидеть, что меня ждет.

Останавливаюсь у высохшего дерева. Но оно похоже скорее на живое, сама не знаю почему. А потом замечаю: его ветви обросли плющом и выглядят покрытыми пышной листвой, хоть зелень эта им не принадлежит. Изнутри пустого ствола выползает змея. Наверное, сейчас ужалит. Я понимаю, что она ждала именно меня.

Вокруг ни души. Все что мне остается — это змея. Она не шевелится, просто смотрит на меня. Я протягиваю руку.

Заглядываю в дупло и вижу, что внутри — черная бездна, глубокая настолько, что заполняет все пространство под нашим миром. Мы, оказывается, ходим по тончайшей окрашенной в разные цвета поверхности.

Змея впивается зубами в мою руку, как любовник, в распоряжении которого одно-единственное свидание. Красное небо обрушивается проливным дождем.

Звуки скрипки сквозь сон проникли в мое сознание.

Музыка может очаровать только тех, кто никогда не присутствовал на репетиции. Музыкант повторяет одну и ту же фразу десятки раз, и так снова и снова. Я заглянула в гостиную.

— Орфей, за последние несколько часов ты будишь меня третий раз.

В ответ муж слегка пошевелил пальцами, не выпуская из руки смычок. Мелодия легкая, призрачная, будто слабая имитация веселья или истерического ночного смеха. Когда Орфей наигрывает даже небольшие фрагменты, в воображении всегда возникают живые картины. Не знаю, как ему это удается. Он становится очевидцем событий, о которых может рассказать все, но не понимает их значения. Я направилась в кухню, чтобы приготовить завтрак. С тех пор как Орфей начал работать в трех местах, утро стало для нас единственным шансом провести один час вместе.

Пока я ждала, когда закипит кофе, начала вырисовываться определенная мелодия. Фрагменты ее приближались друг к другу, соединялись в одну невыносимо красивую тему. Воспоминание о чем-то, что не повторится никогда. Словно я была мертва, а кто-то настойчиво пытался вернуть меня к жизни, рассказывая, как хорошо было там, наверху.

Я была уверена, что эту музыку сочинил Пегас. Вспоминаю, что с Орфеем они познакомились благодаря мне, я осознаю, что мне открылись очень важные, основополагающие истины. На втором курсе мы ставили одну пьеску, некоторые реплики в которой должны были быть исполнены на музыкальном инструменте. Тогда нам это казалось жутко оригинальным. Репетиции проходили вместе со студентами консерватории. Пегас в то время играл на пианино, учился на кафедре сочинения, и, по мнению многих, его ждало большое будущее. Однажды вечером нашу репетицию пришел посмотреть Орфей, так я их и познакомила. Их рукопожатие длилось минут пятнадцать, пока они обменивались репликами типа: «Хроматическая гамма? Довольно странное решение в данном случае» или: «Иногда интересно избегать естественной прогрессии обертонового ряда, но я бы не стал этим злоупотреблять». Потом Пегас составил нам компанию в ресторане, где они вдвоем с Орфеем обсуждали, кто какую музыку не переносит и почему. Я тогда сто раз пожалела, что познакомила их.

Нельзя сказать, что в то время Пегас сильно отличался от себя теперешнего. Как всякий порядочный маньяк, он всегда носил одну маску. Вот только воздействие Пегаса на окружающих было другим. Если не меняешься ты сам, то время бежит все равно, и рано или поздно различия между вами становятся непреодолимыми. Я бы все отдала, чтобы вернуть назад свои студенческие годы и снова синхронизировать звук с фоном. Но в моем случае даже такое утверждение — уловка и ложь. У меня, разменявшей третий десяток, нет ничего, чем я могла бы заплатить. Так что мое «все бы отдала» теряет всякий смысл.

Пегас тогда был в центре общественной жизни. Старенький домишко, в котором он жил со своей бабушкой, служил пристанищем для коллег, пьющих паленую водку, обсуждающих искусство и использующих для мимолетных знакомств бывшую комнату его матери. Среди них были будущие актеры, музыканты, писатели, балерины — последние меня тревожили особенно — и прочие лица, большинство их впоследствии выбрали экономику как второе высшее и распределились по разным этажам офисных зданий и гипермаркетов. Орфея все это невероятно притягивало.

Дом Пегаса был одной из тех импровизированных построек, которые новоиспеченные городские жители возводили за одну ночь. Со временем вокруг нее вырастал целый спальный район из многоэтажек. Днем над внутренним двором развевались выстиранные рубашки, пеленки, спортивные штаны и брюки, с которых стекали капли невыжатой воды. Ночью они напоминали черные знамена, являющие собой как бы последнюю оборо-

нительную линию. Я, выросшая среди яблочных и абрикосовых деревьев, долгое время не могла понять, почему люди в этом городе соглашаются на такую жизнь. Это сейчас я знаю, что в конце концов перестаешь обращать внимание на предметы вокруг себя и можешь жить где угодно и как угодно. Дорога к дому Пегаса вела через арку одного из домов, и в ее конце постоянно мигала лампочка. Не для того, чтобы указать дорогу, а скорее чтобы обозначить край ее первого отрезка. Потом следовало идти по дорожке из выбитых плиток, которые всегда почему-то оказывались мокрыми. Гостям необходимо было ориентироваться на светящиеся окна вдалеке, откуда грохотала музыка. В них двигались тени с бутылками в руках, общались, танцевали или просто курили у окна. Обычно на верхнем этаже в угловом окошке с кружевными занавесками горел свет. Там жила бабушка Пегаса, и это окно не желало иметь ничего общего с остальными.

Мы с Орфеем довольно часто бывали у Пегаса в гостях. Покупали бутылку в каком-нибудь гараже, переоборудованном наспех в магазин, и шли по мокрым плиткам. После третьего стакана Орфей произносил тосты за новое искусство, которое сметет с лица земли казенную породу творцов, усевшихся с ножами и вилками за государственный стол. Тогда все поднимали стаканы с мутной водкой и шли танцевать. Те, кому было известно, чьим сыном является Орфей, только подмигивали. Однако Пегас никогда в нем не сомневался, ведь они с самого начала выступали вместе.

Однажды появилась бабушка Пегаса с бигуди на голове и всех разогнала. Раскричалась, распахнула входную дверь и, чтобы указать гостям правильную дорогу, вышвырнула на улицу бутылку. Я подумала, что за этим последует спор между ней и Пегасом, который всегда отзывался о бабушке пренебрежительно. Но он лишь молча кивнул нам в направлении выхода.

Я тогда поняла, почему вопреки своему огромному таланту Пегас никогда не вызывал во мне чувства уважения. Что-то в нем было сломано. Что-то от брошенного матерью ребенка, который так и не сумел себя полюбить. Об этой ужасной женщине я узнала от Орфея. За границей она увлеклась каким-то иностранцем и без малейших колебаний приняла решение остаться там. Это произошло в то время, когда подобные поступки навсегда отрезали путь назад. Орфей повторял, что эта женщина была настоящим чудовищем, не позволяла сыну притрагиваться к приготовленным для гостей блюдам, и даже когда она все еще заботилась о нем, это все равно не приносило мальчику никакой пользы. Пегас упомянул о матери лишь однажды. Сказал, что она была певицей и очень красивой. Настолько красивой, что люди, глядя на нее, буквально каменели.

Все же Пегас не выглядел горьким сиротой. Отрастил волосы почти до пояса, смотрел на все затуманенным взором и периодически впадал в состояние романтического оцепенения. Позже я поняла, что этот его взгляд и оцепенение не объяснялись одним только романтическим складом характера. В конце третьего курса Пегаса исключили из консерватории за распространение наркотиков. Он занимался этим, чтобы оплачивать свои собственные дозы. Орфей попросил своего отца, который знал нескольких композиторов, помочь другу, но тот ничего не хотел слышать: «Если этот подонок попадется мне на глаза или я увижу вас вместе, вызову полицию». Тогда после долгих колебаний Орфей решил написать анонимное письмо.

Он знал, что героин Пегасу поставлял сын начальника полиции. Но тот парень никак не пострадал в результате всей этой шумихи и остался в университете. Орфей написал его отцу подробное письмо, в котором рассказал, в чем сынок был замешан и как втянул в это других. Мы так и не узнали, что стало с письмом. Знал ли чиновник о происходящем в его доме? Обратил ли внимание на неподписанный листок бумаги? Не прикрывал ли он сам делишки сына? Пегаса вскоре отправили на лечение, а спустя шесть

месяцев по возвращении он избегал в разговорах этой проблемы. История закончилась ничем, как и большинство вещей, на тему которых произносил пламенные речи Орфей.

Аромат кофе наполнил всю квартиру, и Орфей заглянул в кухню. Его русые волосы еще не были уложены привычным движением руки. Оказывается, он страшно злился на причесывающих его гримеров и перед началом съемки всегда укладывал волосы по-своему. Муж быстренько накрыл на стол и включил телевизор.

— Орфей, у нас с тобой так мало времени на двоих! Мы можем хотя бы за завтраком побыть без компании телевизора?

Я не собиралась развязывать скандал, просто мне стало тоскливо.

— Хорошо, что ты хочешь этим сказать? Что? Скажи, что ты хочешь сказать этим своим «мало времени»?

— Я хочу сказать, что у нас теперь стало очень мало времени, которое мы могли бы проводить вместе.

Вдруг Орфей взглянул на меня с таким холодом в глазах, на который, казалось, он не способен.

— У тебя, Эвридика, времени много. А у меня с недавних пор его нет совсем.

— Я не хотела, чтобы у меня было столько свободного времени.

— А я не хотел быть настолько занят.

— Так оставь университет. Нет необходимости тянуть эту лямку. Он не приносит никакого дохода.

— Я для этого получал профессию? Только чтобы приносить доход? Я хотел стать философом, защитил докторскую. Именно это было моей работой, прежде чем я пришел в «Хеброс» и похоронил свои увлечения.

— Множество людей были бы счастливы, будь у них возможность работать на телевидении.

— И почему это счастье выпало именно мне, кому оно даром не надо? Прямо чья-то злая шутка!

— Скорее предложение. Мне, к сожалению, его никто не сделал.

— А я согласился на это, потому что… — посмотрел на меня внимательно, — потому что мне его навязали.

У меня не было никакого желания ссориться.

— Орфей, я только хотела сказать, что тебе не надо столько работать. Я почти тебя не вижу. На мой взгляд, ты сильно переутомляешься.

— А на мой взгляд, у меня нет другого выхода. Или ты его видишь: какой-нибудь альтернативный источник дохода?

Мы уже перекрикивали телевизор.

— Все ясно. Я понимаю, куда ты клонишь, но я сейчас действительно не могу найти работу. Ее нет. Я бы с огромным удовольствием поменялась с тобой местами, но это невозможно. Тебя забрасывают предложениями, а я полный ноль. Не думаешь ли ты, что быть ничтожеством так просто?

— Эвридика, я никогда не говорил о тебе так! Никогда!

Произнеся слово «никогда», Орфей взмахнул рукой и уронил чашку с кофе. Его ловкости хватало лишь на занятия музыкой. Я схватила полотенце и начала вытирать пятно.

— Большое спасибо, ты, по крайней мере, никогда не произносил это вслух. Но хоть я еще и обладаю кое-какими способностями, мне уже негде их продемонстрировать. Приходят более молодые актрисы, а мне остаются лишь моноспектакли, — я уже не могла остановиться. — Орфей, я целыми днями сижу одна в этой квартире, как в гробу. Я так больше не выдержу!

В этот момент я поняла, что муж меня не слушает. Он увеличил громкость телевизора и дал знак, чтобы я не мешала. Я действительно замолчала от изумления. И перед кем я здесь распиналась, делилась самым

важным, что за долгие месяцы накопилось в душе? По телевизору как всегда рассказывали о каких-то разборках. Обыкновенные глупости, которые преподносят как новость государственного масштаба.

— Ты не услышала, кто и почему стрелял? — спросил Орфей.

— Что тебя сейчас интересует?

— Именно это.

— Орфей, опомнись! К нам это не имеет никакого отношения!

Он начал переключать каналы, потом встал и выключил телевизор.

На прощание Орфей меня обнял. «Эвридика, я попытаюсь тебе помочь. Я не оставлю тебя одну в этой дыре. Мы вместе, так ведь?» «Мы вместе». «Мы вместе»…

И ушел.

* * *

...Пентей был одним из тех, кто Сабазия не принимал, не признавал его родство с Зевсом и право считаться богом. Но Сабазий не терпел никаких препятствий на своем пути…

Орфей

Пока Эвридика мне что-то говорила, по телевизору я услышал:

«Три показательных расстрела являются, по мнению полиции, частью внезапно разгоревшейся борьбы за сферы влияния. Здесь, за домом № 246, найден труп одной из жертв — известной в подпольном мире личности, на которую, как и на двух других убитых, было собрано внушительное досье. Согласно показаниям свидетелей, убийцы скрылись с места преступления на черных автомобилях».

Репортер с обеспокоенным лицом вещала в микрофон, стоя возле мусорного контейнера. За ее спиной группка цыганят строила рожицы, пока кто-то их не разогнал. Затем картинка сменилась, и на экране появился кабинет с преждевременно поседевшим, с мешками под глазами следователем.

«Убитые являются людьми Пентея. Очевидно, на черном рынке появился новый игрок. Или кто-то расширяет сферы своего влияния».

Я сразу же направился к Сабазию.

Дом, в котором находился его офис, со времени моего последнего туда визита изменился до неузнаваемости, словно совершил прыжок во времени. Охранник на входе уступил место камерам скрытого видеонаблюдения, а сам прохлаждался в фойе, мечтательно разглядывая молоденькую консьержку.

— Мне нужен Сабазий, — сказал я.

— Вы записаны на какое-то время?

— Это его племянник, — подсказал охранник и указал наверх.

В здании хлопали двери, звенел смех, откуда-то сверху донеслось: «Да выключи ты эту музыку! Невозможно работать», — и снова смех. Группа старомодно одетых молодых людей курила на лестнице. По коридору пробежали две женщины с большими кружками кофе. Отовсюду веяло хорошо оплачиваемой беззаботностью.

Сабазий сидел за письменным столом и разговаривал с двумя молодыми сотрудниками. Он отослал их, как только я вошел.

— Орфей! Что за пожар?

Должно быть, я выглядел встревоженным. Я попытался объяснить, для чего пришел, не выставив себя при этом дураком.

— Сабазий, это тебя я вчера видел в черной машине?

— Откуда мне знать?

— Три черных автомобиля пронеслись вчера мимо, и мне показалось, что ты был в одной из них.

— Вполне возможно. Скажи лучше, что тебе налить, — поинтересовался Сабазий и открыл один из ящиков в поисках подходящей выпивки. В его кабинете теперь стоял домашний кинотеатр, на полу был застелен толстый ковер, а в углу зачем-то лежал футбольный мяч. Три статуи с недостающими частями тела стояли там же и по-прежнему словно пытались сказать что-то. Но кто разберет столь древнее послание?

— А… куда вы так спешили?

— На вечеринку. Красное или белое?

— Не надо, спасибо. Значит, это был ты.

Сабазий будто только сейчас заметил, что я присутствую в комнате.

— Говорю же, может быть. Да что с тобой такое? Ты устроился на работу в полицию?

— Нет, просто сегодня я видел репортаж о трех убийствах и…

— …и пришел расспросить, не я ли убийца. С тобой действительно не все в порядке. Этот Пентей, о котором ты так беспокоишься, — грязный мерзавец, ненавидящий всех и вся, садист, для которого не существует границ дозволенного, — тут Сабазий схватил стул и обрушил его на одну из статуй. Она приняла удар с достоинством, а стул разлетелся на щепки. — К сожалению, это сделал не я. Можешь спать спокойно.

— Мне известно, чем ты занимаешься.

— Чем же?

— Наркотики.

Кажется, в отличие от Пентея, я не был способен вызвать гнев Сабазия. Правда, я этого и не хотел.

— Разве что в прошлой жизни. Как видишь, я занимаюсь рекламой, туристическим бизнесом, массмедиа, интернетом, телекоммуникациями и прочими ликвидными сегментами рынка. Мне принадлежат несколько земледельческих фондов. Нужно быть полным идиотом, чтобы связаться с наркотиками. Приглядись внимательнее. Ты видишь здесь каких-нибудь злодеев с топорами в руках?

Наступил мой черед с облегчением рассмеяться:

— Скорее с пистолетами. По телевидению говорили о расстреле.

— Но они не сказали, что тела были изрублены топором.

— Прости, что ты сказал?

Сабазий в ответ хитро улыбнулся.

— Сабазий, откуда тебе это известно?

— Но я ведь только что сказал, что связан в том числе и с телевидением, не так ли? Орфей, ты заходи еще как-нибудь… — сказал он, взглянув на часы, и проводил меня до двери.

* * *

…И тогда Эвридику ужалила змея…

Эвридика

Какое-то время я стояла у окна и смотрела на машины внизу. Они тарахтели не переставая. В голову закралась мысль о самоубийстве. «Если выпрыгнуть сейчас, заметит это, пожалуй, один Орфей. Ну, и родители». Я

начала считать, скольких человек взволнует моя смерть. Пегаса — наверняка, но у парня расшатаны нервы, так что его мы считать не будем. Белерофонт? Вот вопрос, на который у меня нет ответа. Этот красавчик постоянно оглядывается на окружающих. Как-то в «Viniле» я отказалась пить водку, и он тут же появился со стаканом апельсинового сока. «Эвридика, это тебе», — произнес с такой интонацией, так доверительно, что я на секунду поверила в бесценность напитка. И самое смешное, что этот бархатистый голос, который предназначался тогда мне одной, по-видимому, ставил меня в один ряд со всеми женщинами, получавшими что-либо от Белерофонта. Для него грудной голос, как изменение цвета у хамелеона, — рефлекс. Глупо было думать о Белерофонте, высунувшись из окна по пояс, но я хотела знать точно, сколько людей заплачут по мне.

Зато есть человек, который обрадуется моей смерти, — Каллиопа. Ну, не то чтобы обрадуется, но, по крайней мере, испытает облегчение. Она невзлюбила меня с нашей первой встречи. Это было в тот раз, когда мы с ее сыном сбежали из школы, сказав, что едем с классом на экскурсию. С Орфеем мы встретились утром на автовокзале, обнялись. Его поцелуй прожег мой шарф, воротник пальто и оставил навсегда след на шее. От воспоминания о том прикосновении по телу пробежала дрожь. Я и теперь могу точно указать это место на шее. Почему, когда у нас есть все, мы плачем по малому, чем обладали когда-то?

Тогда Орфей достал из кармана два батончика «Баунти» и сказал:

— Угощайся! Райское наслаждение.

Сейчас-то я понимаю, что мы вели себя глупо, но раньше я этого не осознавала и была абсолютно счастлива. Казалось, ничего нежнее кокосовых стружек «Баунти» я в жизни не пробовала. Мы отправились в Боровец[1]. Лыжный сезон еще не начался, но уже пахло снегом. В отеле мы сняли комнату с видом на пока еще голые лыжные трассы. Оказалось, все связанные с нашим возрастом проблемы легко решаются с помощью денег, которых у Орфея было предостаточно. Там, вдали от города, в месте, предназначенном исключительно для отдыха, не ощущалось недостатка ни в чем. Мы обошли три заведения, прежде чем вернуться в номер. Нам двоим необходима была гарантия, что выпили мы достаточно.

В комнате Орфей принялся неумело расстегивать мою блузку. Не справившись с волнением, он резко рванул ее, и пуговицы рассыпались по полу. Слава богу, что в тот раз окружающие предметы нам будто помогали, ведь все это для нас было впервые. С тех пор, когда кому-то из нас приходилось идти по неизведанной дороге, мы с Орфеем привыкли держаться друг друга. Я не представляю, как людям, которые двигаются в разных направлениях, удается сохранить свой союз. У Орфея была абсолютно гладкая кожа, а тело — нематериальное и словно не бывшее в употреблении. При этом я чувствовала, насколько оно сильное и тяжелое, когда Орфей во сне закидывал руку мне на грудь.

Мы находились слишком близко от моего родного города, чтобы не вспомнить о нем. Не я, Орфей завел эту тему. Сказал, что хотел бы познакомиться с моими родителями. Его интересовало все, что было связано со мной. Я же какое-то время отказывалась ехать в Т. Но потом подумала: «А что здесь такого? Если нам суждено быть вместе, то рано или поздно Орфей все обо мне узнает. Почему не сейчас?»

Мои очень удивились. Была суббота, и мы застали их дома. Мама как всегда возилась в саду. Я смотрела на ее грузное тело, склонившееся над землей среди голых побегов винограда, и думала, как же оно мне дорого, надеясь, однако, что Орфей в этот момент смотрит в противоположную

[1] Боровец — один из горнолыжных курортов в Болгарии. *(Прим. пер.)*

сторону. Мама работала делопроизводителем на местном консервном заводе, что не способствовало активному образу жизни, который сводился в результате лишь к хлопотам по хозяйству. Я не знаю, чем это объяснить, но красивые тела — скорее привилегия обладателей утонченных профессий крупных городов. Мама с трудом выпрямилась, чтобы посмотреть, кто пришел, и бросилась нам навстречу. Подбежала ко мне, поглядывая то и дело на Орфея, собралась было меня обнять, но остановилась, вытерла руки о передник, подала Орфею руку и, пока он представлялся, во весь голос окликнула моего отца. Он выглянул из-за двери и рассмеялся. Только тогда мама меня обняла и осыпала лицо поцелуями. Отец, учитель географии, был полной маминой противоположностью — тихий, худой, со взъерошенными, некогда черными волосами. Я любила их всем сердцем, но сейчас, глядя на них глазами Орфея, готова была сквозь землю провалиться со стыда. Как позже выяснилось, глаза Орфея смотрели куда менее критично моих.

Домашняя ракия, мой отец с Орфеем за деревянным столом во дворе, где припекает солнце и не дует ветер, аромат дыма — здесь все осталось по-прежнему. Свирепый голод, демонстрации, стачки и митинги столицы бушевали словно в другом, параллельном мире. Мама варит курицу — фирменное блюдо для гостей нашего дома. Я шинкую капусту на салат. «Тоньше, тоньше режь», — подкидывает мне замечания мама, колдуя над сковородой. В тот раз мы впервые хозяйничали на кухне наравне. Мне было всего шестнадцать лет, но никого не шокировало, что я пришла с парнем. Раз он здесь, со мной, значит, есть кому за все отвечать. В Т. замужество считалось главной заботой девушки, переломной точкой в ее жизни и победой над превратностями судьбы, несмотря на то, что в половине семей обычным явлением становились побои и отчаянное пьянство. Все это было в порядке вещей и воспринималось как неизбежная плата за счастье быть семейным человеком. А если своей семьей ты еще не обзавелся, с тобой определенно что-то не в порядке.

И как только я решилась поступать в театральный? Только у бедных и глупых родителей рождаются дети с такими непомерными амбициями.

Между тем Каллиопа встретила учеников из нашей школы и догадалась, что никакой экскурсии не было. Разразился скандал, посыпались обвинения. «Я не могла подумать, что мой сын вор! А иначе откуда у тебя такие деньги?» Она не верила, что Орфей нашел их на улице, среди палой листвы, перетянутые резинкой. Вероятно, если бы не они, я не стояла бы сейчас, замурованная в бетоне, на пятнадцатом этаже, в одном из элитных кварталов, и не размышляла о самоубийстве. Удивительно, как издалека будущее притягивало меня к себе. И самое смешное, что с того времени все происходило именно так, как хотелось мне.

Я где-то читала, что в последние минуты перед глазами человека проносится вся его жизнь. Я всмотрелась в картину за окном. На противоположной стороне дороги стояли такие же дома, как наш. За ними виднелась какая-то складская база с кучами щебня и мраморной крошки. Время от времени через железные ворота проезжали самосвалы или осевшие под тяжестью груза легковушки. Вдалеке торчали трубы, за которыми синели горы. Ничто из этого не напоминало о моей прожитой жизни. Я подумала, что если выпрыгнуть из окна сейчас, то все мое прошлое исчезнет, так и не успев оставить свой след в окружающем мире. И сперва я решила полить цветы, высаженные на подоконнике в небольших одинаковых горшочках. Они хорошо принялись. Жаль, что есть кто-то, кто так сильно от меня зависит.

Я чувствовала необходимость в генеральной репетиции. Взяла из холодильника яйцо и внимательно его осмотрела. Оно было плотное, гладкое, с двухцветным содержимым внутри. «Ты будешь Эвридикой, — сказала

я ему. — Пока ты еще живое, и хотя с тобой уже все кончено, на вид не отличаешься от остальных».

И выбросила его в окно.

За секунду перед тем как яйцо должно было удариться об асфальт, из подъезда выскочил мужчина в шляпе и светло-сером пальто. Яйцо приземлилось точно на его правое плечо.

— Кто это сделал?! Узнаю — мало не покажется!

Я сразу же закрыла окно, но до меня еще доносились его беспомощные ругательства. Я хохотала и никак не могла остановиться. Казалось, еще немного — и я задохнусь. Этот бедолага даже не представляет, как ему повезло: ведь вместо яйца должна была быть я.

Потом вернулся Орфей с бутылкой вина, импортной клубникой, несколькими сортами сыра и, неизвестно зачем, семгой. Мы пили, подрисовывали помадой усы его «коллегам» по телевидению, с индейскими воплями носились по квартире, валялись по полу и, наконец, заснули в прихожей. Ночью я замерзла и принесла нам одеяло. Орфей обнял меня во сне. Там, где его кожа прикасалась к моей, я чувствовала жар.

Вдруг я почти физически ощутила, как кто-то меня тормошит. Это жизнь продолжала меня вести за собой.

Два дня спустя мы сидели в «Виниле». Просторное полуподвальное помещение, в котором размещался клуб, было переполнено. Стоял невообразимый гул из-за того, что каждый пытался перекричать другого, чтобы быть услышанным. Я с двумя бокалами пива протискивалась между людьми к зарезервированному для работников заведения столику, в данном случае — для музыкантов. Здесь я могла выдавать себя за «свою» сколько угодно. Те, кто были знакомы с Орфеем, очень хорошо знали и меня.

«Винил» был не простым подвалом, а скорее бывшим складом или роскошным бомбоубежищем для сотрудников соседних учреждений. Четыре высокие колонны подпирали потолок, под которым собирался сигаретный дым, пронизываемый лучами двигающихся прожекторов. На столиках, полукругом расставленных вдоль стены на небольшой платформе, горели свечи. Некоторые украшения напоминали о приближающемся Рождестве: колонны обвивали полупрозрачные трубки, вверх по которым пробегали световые импульсы, а на бармене была шапка с рогами, как у сказочного оленя Рудольфа. На площадке перед сценой уже толпился народ с бутылками и бокалами в руках. Две студентки Орфея заметили, что я смотрю на них, и любезно помахали мне в знак приветствия. Трижды в неделю в этом заведении выступали музыкальные коллективы, но публика, которая приходила в пятницу, была здесь исключительно ради «Аргонавтов».

Небрежно звучащий регги затих. Погасла неоновая вывеска «Винил» на каменной стене напротив. Приглушили свет. Горели только свечи на столах.

Глухой стук барабана прозвучал вначале неуверенно, как бы пробуя свои силы. Но вот ритм стал настойчивее. Острый звук от удара по тарелкам, как молния, пронзил темноту. Хлынул ливень хаотичных на первый взгляд ударов, а потом его стену прорезало лезвием нового ритма, мощного и стремительного, как варварская орда.

Луч света упал на Пегаса, который, скрытый за барабанной установкой, самоотверженно держал заданный темп. Из зала донеслись одобрительные восклицания. Пегас замер на мгновение и с отсутствующим выражением лица повертел палочками в воздухе. Все это — вдохновенная ложь. Уж мне-то известно, что никогда его присутствие не бывает столь очевидным, как здесь, на сцене.

Ритмичная секция внезапно крепнет, обретает форму. Это присоединился Белерофонт. Луч прожектора скользит по его мускулистому телу и вызывает экзальтированный женский визг. «Дамы и господа: «Аргонавты»!» — прокричал кто-то в микрофон, чем вызвал настоящие овации. Половину сцены залил желтый свет.

Возник силуэт Орфея, самый мощный из троих. Медведь с тоненькой скрипочкой в руках. Не торопясь, он кладет ее себе на плечо. Выжидает еще несколько тактов. Двигаясь под музыку, публика затихает в ожидании. Орфей еще не начал играть, но уже слился с залом в единое целое. Он вступает резко, с высокой ноты, и увлекает в запутанный лабиринт звуков, где мы мчимся за ним, но вдруг его мелодия удаляется от нас, а когда кажется, что его уже не догнать, неожиданно возникает из-за поворота. В музыке Орфея можно затеряться, открыть для себя что-то новое, ублажить свое тело или бросить его на растерзание. Отличие от реального мира состоит в том, что невозможно это открытие забрать с собой, продемонстрировать полученные раны. Лабиринт музыки — это город, в котором живут разные люди, непохожие друг на друга, каждый со своей мелодией. Вот, например, мужчина встречает красивую и недоступную женщину и следует за ней. В обычной жизни я Орфея не ревную, но когда вижу его на сцене, то просто схожу с ума. Белерофонт начинает петь и держит ритм, в то время как Пегас отбрасывает в сторону палочки и переходит за фортепиано в углу сцены. Я замечаю, что Орфей удивлен, но в еще большей степени заинтригован и подхватывает игру.

Неожиданно перед глазами публики возникает старинный дом из камня. Стены, увешанные зеркалами. Бегом вверх по лестнице… Мужчина и женщина из музыкального лабиринта находятся в пышном будуаре, полном таинственных и опасных развлечений. Две каменные скульптуры оживают и поднимаются над городом. История начинает жить своей жизнью и уже захватила не только слушателей, но и самих музыкантов. Зарисовки Пегаса послужили началом этого полного неожиданностей повествования. Если бы колонны могли двигаться, они наверняка бы склонились над «Аргонавтами», чтобы внимать их музыке.

Приведя себя в порядок после выступления, все трое уселись за столом.

— Белерофонт, в середине ты немного не успевал за ритмом.

— Это ты неизвестно куда разогнался. Орфей, скажи ему!

— Ладно вам, все было отлично. Я-то думал, что работаю с барабанщиком, а он, оказывается, пианист.

— Ну и что? Я хотел посмотреть на ваши физиономии, — рассмеялся Пегас. — Что скажешь, Эвридика?

Тут подошла девушка и попросила подписать ей диск. Ее приятель, застенчиво улыбаясь, остался стоять в стороне. Те, что в это время покупали диски в баре, догадались, что тоже могут получить автографы, и столпились вокруг нашего столика. Парни принялись расписываться с плохо скрываемым удовольствием.

В этот момент дверь распахнулась, и все присутствующие, в том числе и я, обернулись в сторону посетителя. Неоновый свет очертил на стене силуэт мужчины, чье тело двигалось с гипнотизирующей легкостью. Сильные плечи, я бы даже сказала — плечи рабочего, были словно переключены в «спящий» режим. Узкая талия. Широкий, уверенный, плавный шаг, как у мастера боевых искусств. Единственное, что смущало в этом необычном посетителе, — его длинные светлые локоны, которые должны были, скорее, принадлежать женщине.

Охранник, дремавший у входа, вскочил как по команде и вытянулся по стойке смирно. Бармен вышел поприветствовать гостя и, остановившись на почтительном расстоянии, слегка поклонился.

Мужчина обвел взглядом зал и направился прямо к нам. Две официантки застыли, забыв о своих подносах. Мне показалось, что он подмигнул одной из них. А может, виной тому была особенность его лица, которую я заметила чуть позже. Он опустил руки на плечи моего мужа, который еще не почувствовал, что что-то вокруг изменилось, наклонился и шепнул ему на ухо:

— Орфей, не познакомишь ли ты меня со своими друзьями?

К моему огромному изумлению, Орфей не счел нужным обернуться, чтобы понять, чьи это были слова.

...Когда Орфей начинал играть, все люди и животные, растения и камни приходили его послушать...

Орфей

Сабазий сел за наш столик и улыбнулся. В луче только что включенного прожектора его зубы блеснули иссиня-белым светом.

Белерофонт, сидевший слева от меня, улыбнулся в ответ. С каждым вдохом майка на его груди натягивалась, и глубокий вырез притягивал женские взгляды к загорелому накачанному телу.

Эвридика, оказавшаяся по правую сторону от Сабазия, застыла, как кролик перед удавом.

Пегас изменился в лице: посинел так, что я в какой-то момент подумал, будто причиной тому освещение зала. Он потянулся за пустым бокалом, скорее чтобы спрятать за ним лицо, чем с надеждой обнаружить на дне хоть каплю спиртного. Сабазий поднял руку, и к нам сразу же подбежала официантка.

— Что будете пить?

— Мне двойной виски, — ответил Белерофонт.

Остальные в нерешительности молчали.

Взгляд Сабазия остановился на Эвридике. На какое-то время застыл на ней, дал ей время. Эвридика начала оглядываться по сторонам. Я видел, с каким трудом она заставляла себя смотреть ему в глаза, но в то же время не могла от них оторваться. Сабазий кивнул так, словно принял у нее заказ, и шепнул что-то на ухо официантке.

— Ты пришел нас послушать? — спросил я. Кому-то надо было нарушить молчание.

— Я ведь обещал.

— Для нас это огромная честь, — ответил Белерофонт и представился. Это было то ли проявление его врожденного социального инстинкта, то ли он с самого начала знал, с кем разговаривает.

— Моя жена Эвридика, — поддержал я официальную часть беседы.

Обменялись рукопожатием только мы вдвоем. Никто не произнес ни слова. Как если бы между нами был заключен тайный договор. От затянувшегося молчания мне стало не по себе.

В это время вернулась наша официантка и начала расставлять на столе заказы: янтарный виски, прозрачную как слеза водку и сок. Перед Эвридикой она поставила бокал красного вина.

— Это что, какое-то особое вино? — спросила та, осматривая остальные напитки.

— Нет, просто мы видимся впервые, и мне бы не хотелось начинать с обмана.

И как прикажете это понимать? Сабазий указал официантке на то, что она не принесла льда. Девушка запаниковала, выпалила «Да, шеф, про-

стите, шеф!» и побежала исправлять свою ошибку. Для меня это было несколько неожиданно.

— Сабазий, почему она называет тебя шефом?

— Откуда мне знать? Может, ей так приказали.

— В таком случае, почему ей не сказали и ко мне так же обращаться?

— Ты этого хочешь?

— Дело не в этом. Хотя мне было бы приятно, если бы, к примеру, эта горилла на входе относилась с бо́льшим уважением к музыкантам и хотя бы помогала вносить усилители.

— Без проблем!

— Вот видишь! Ты ведешь себя как владелец всего этого.

— Ну, хорошо. Эта дыра и есть моя собственность.

Белерофонт даже не пытался скрыть, что сложившаяся ситуация доставляет ему удовольствие. Он явно знал обо всем и раньше. Пегас не шелохнулся, и только его рука все никак не могла донести до рта бокал. Неуклюжими движениями он напоминал сломанного игрушечного солдатика, у которого не получается отдать честь как положено.

— Не может быть! Так ты и есть тот скупердяй, что платит нам жалкие гроши за выступление?

Я почувствовал, как Пегас дергает меня за рукав, чтобы я замолчал.

— Действительно, выступлениями в клубах много не заработаешь, — согласился со мной Сабазий, словно выступал в роли независимого арбитра.

Я посмотрел на часы. Пора было возвращаться на сцену. Белерофонт поднялся, оставалось расшевелить Пегаса, который по-прежнему не подавал признаков жизни.

Тогда Сабазий медленно перегнулся через стол к Пегасу и замер буквально в десяти сантиметрах от его лица. Будто принюхивался к его дыханию.

— От тебя мне ничего не надо, — очень тихо, но отчетливо произнес он.

Пегас, словно только что очнулся, вскочил и начал искать среди стаканов барабанные палочки. Оставлять Эвридику одну с Сабазием мне не хотелось совершенно.

— Ты… будешь нас слушать отсюда? Если хочешь, можешь сесть где-нибудь поближе.

Я понимал, что это прозвучало по меньшей мере глупо.

— Нет, нам и здесь хорошо, верно? — ответил Сабазий, употребив «*мы*», и посмотрел на Эвридику. Ее взгляд ожил, и их глаза встретились.

Прежде чем выйти к зрителям, мы зашли в туалетную комнату и освежились ледяной водой. Белерофонт умылся, щелкнул пальцами перед зеркалом и предупредил, что будет ждать нас на сцене. Мне же хотелось убедиться, что с Пегасом все в порядке. Я старался, насколько это было возможно, не упускать его из виду, так как не был уверен, что он в таком состоянии может выкинуть. Спросил, что с ним происходит.

— Слушай, где ты откопал этого типа?

— Кого? Сабазия? Он мой родственник. А что?

У Пегаса был такой вид, словно ему не просто повстречался призрак, но еще и прошел сквозь него на прощание.

— Я считал его мертвым.

— Вы были знакомы?

— Нет.

Из зала доносился грохот музыки: Белерофонт уже вышел на сцену и ударял по струнам, как Лари Грэм, нимало не заботясь о том, что фанк не в нашем репертуаре. Такие одноминутные вольности он позволял себе и во время репетиций. Ну а публика сходила с ума, потому как всякий раз думала, что начинается новый трек. Пора было выходить. У Пегаса из прически

выбилась прядь волос и, мокрая, свисала на лицо. Я привел его в порядок и подтолкнул к выходу.

Не то чтобы Пегас стал лучше выглядеть. Я хотел, чтобы он появился перед публикой таким, каким нравился себе сам.

* * *

...Вернувшись после всех своих странствий обратно во Фракию, Сабазий нажил себе много врагов, которые не желали видеть в нем бога. Мириться с этим он не собирался. Царь Ликург был одним из тех, кто осмелился пойти наперекор его безумству. Оно овладевало всеми, как болезнь, и свита Сабазия все росла. Транс, в который вводил людей Сабазий, делал их способными на все, давал им иллюзию свободы и прозрения, силы и равенства бессмертным. Но поскольку сама жизнь — в определенной степени иллюзия, нет оснований обвинять Сабазия во лжи. Он лишь предлагал прожить привычную для всех жизнь ярче, но за меньшее время.

Ликург бросил в тюрьму всех его последователей, а самому Сабазию пришлось укрыться в пещере водной нимфы Тетиды. Его ответ последовал незамедлительно. Сабазий сделал со своим врагом то, что ему удавалось лучше всего: свел его с ума. В результате Ликург не узнал собственного сына и изрубил его на мелкие кусочки.

После этого несчастья плодородие во Фракии иссякло.

Тогда Сабазий заявил, что, пока жив Ликург, земля не начнет плодоносить. И царя по приказу его собственных приближенных разорвали на части, привязав к четырем лошадям...

Пегас

Мы с Белерофонтом закрылись в читальном зале библиотеки и пили водку. Эту бутылку я вынес из магазина, не дождавшись, пока придет девушка со второй смены. Деньги для нее я решил оставить в кассе, но позже, через день-два, когда нам заплатят в клубе. Деньгами из клуба я расплачиваюсь в магазине, деньги, заработанные за прилавком, пропиваю в клубе. Приходится работать в двух местах, чтобы накопить хоть немного.

За окнами падал снег. Некоторые снежинки были прямо-таки уродливо огромными, но опускались на карниз так же неслышно, как и те, что поменьше. Мы сидели на пустом библиотекарском столе и слушали тишину. Свет мы не зажигали. Когда люди говорят о зиме, они воображают именно такие хлопья снега, но правда в том, что подобных дней у нас два-три в году. Все остальное — рекламные уловки и красивые картинки на календаре.

— С Дриантом мы были тогда очень близки, — продолжал я, хоть и понимал, что это никого особо не интересует. — Именно он посадил меня на иглу. Привел однажды вечером на чердак какого-то старого, предназначенного под снос дома в центре города. В прошлом это был музей партизанского движения какой-то там области. Теперь же окна забили досками, а на двери повесили амбарный замок.

Мы вошли через задний двор. Коридоры здания утопали в пыли и грязи. На стенах висели фотографии фабрик и молодых людей с лопатами, которых, вероятно, давно не было в живых. У лестницы стояло три гипсовых бюста. На одном из них кто-то оставил кепку, так что на его голове оказалось два головных убора: один с пятиконечной звездой, другой — с вышитой надписью *Nike*. Глаза у головы посередине замазали красным лаком для ногтей,

который стек по щекам и засох. Третий бюст стоял нетронутый, и, проходя мимо, я каждый раз раздумывал, что бы такое с ним сделать.

Дриант завел меня на третий этаж в небольшое чердачное помещение и начал шарить в карманах. Я хотел было запротестовать, сообщить, что у меня нормальная ориентация, но он достал ключ. Открыл дверь справа, и мы оказались в кабинете, чудесным образом сохранившемся среди всей этой разрухи.

Время здесь словно остановилось.

За стеклом висели почетные знамена, на книжном шкафу с агитационными брошюрами и толстыми томами стояли два кубка победителя олимпиады по шахматам. Над широким столом висела в тяжелой раме картина маслом на тему «Зевс общается с простым народом». Громовержец излучал одновременно силу и внутреннюю доброту. Люди на картине не могли поверить собственному счастью. Крестьяне мяли в руках головные уборы, девушка со связкой пшеничных колосьев скромно, но на равных принимала участие в разговоре. Я помню их лица четко, словно учился с ними в одном классе.

В кабинете стоял покрытый толстым слоем пыли диван, такое же кресло, пыльный стеклянный столик с ножками из кованого железа, а у окна — несколько цветочных горшков с торчащими из них засохшими стеблями. Дриант достал из шкафчика газовую горелку, похожую на ту, которой мы пользовались в школе на уроках химии, и принялся раскладывать на столе инструменты. По всему было видно, что ему это не впервой. Алюминиевая тарелочка, лимонная кислота, полный пакет одноразовых шприцев — все это напоминало скорее посылку для диабетиков, по ошибке оказавшуюся в наших руках. Я не интересовался, где он достал такой набор. Его отец был большой шишкой в полиции, и этим объяснялось многое. Например, Дриант мог безнаказанно в пьяном виде гонять за рулем по городу и обливать грязью пытавшихся его задержать полицейских.

Мне было с ним комфортно, и я не видел ничего страшного в том, чтобы помогать ему сбывать товар. Я всегда боялся, что есть во мне что-то такое, из-за чего люди рано или поздно перестанут меня любить и я снова останусь наедине со своей бабкой, разливающей по тарелкам суп и без конца бормочущей что-то себе под нос.

— Зачем ты мне все это рассказываешь?

— Ты первый, кто все это слышит.

— Почему я?

— Мне всегда было страшно, что тот, кто узнает мою тайну, исчезнет так же, как исчезали остальные.

— Тебя не смущает, что я тоже могу уйти?

— Ну, это я, пожалуй, перенесу.

— Вот и скажи, как тебя после такого заявления не любить! Что же произошло потом?

За окнами включили освещение, и на нас упал свет уличного фонаря, разрезанный крест-накрест оконной рамой.

— В лице Дрианта я обрел компанию, в которой мне всегда были рады. Музей стал моим вторым домом. Некоторые аранжировки, между прочим, создавались благодаря нашей химии. Случалось, у меня на глазах сплетались в причудливые узоры, словно разноцветные нити, звуки различных инструментов. Музыку не транслировали по радио, она не звучала в записи. Музыка витала в воздухе, и надо было только прикоснуться к инструменту, чтобы услышать ее смогли другие. Под потолком стояло старое радио, огромное, размером с сундук. Разумеется, электричество в здании давным-давно отключили, но иногда это радио работало. Однажды я нашел какую-то станцию, по которой звучала передача о нас, «Аргонавтах».

— Но в то время наша группа еще не существовала.

— Передача была из будущего. Ведущая говорила что-то в духе: «Пегас посвятил всего себя…» Я хотел записать ее слова, но карандаш растаял у меня в руках. В завершение программы я задал ей пару вопросов, на которые получил развернутый ответ.

Так было вначале. Но со временем, как известно, картина меняется до неузнаваемости: тебя бросает в пот, мучают запоры и ломота в теле, кажется, потолок вот-вот обрушится на голову, приходится увеличивать дозу, и ты становишься абсолютно другим человеком. В результате оказывается, что тебе приходится платить за то, чем раньше обладал по праву. Хитро придумано, правда? Между тобой и миром появляется некто, кто крадет твою жизнь.

В консерватории пронюхали, чем я занимаюсь. Откуда мне было знать, кто мои покупатели? По чьей-то наводке меня исключили из университета. Честно говоря, я тогда опустился настолько, что мне на все было наплевать. Дриант вышел сухим из этой заварушки. Да и не мог я им рисковать, когда напрямую от него зависел.

Все могло этим и закончиться, но вдруг Ликург получает анонимку, в которой подробно описываются делишки его сына. Ума не приложу, как автор этого письма мог узнать о некоторых вещах… А старик, оказывается, ни о чем и не догадывался. Он вытаскивал сына из любых переделок, но ни разу не подумал закатать ему рукава и взглянуть на руки. Он кричал, громил посуду, запирал Дрианта под замок — в общем, принимал все меры, какие человек, воспитанный на военных фильмах, считает целесообразными.

Ликург на этом не остановился. Он был в бешенстве и решил бороться до конца. Развернулась массовая борьба против наркоторговцев. Хватали дилеров, наркоманов, всех подряд. Накрывали притоны, фотографии изъятого оружия и боеприпасов размещали в газетах. На снимках никогда не было лиц, в объектив попадал только изъятый товар и рука, на него указывающая. Карающая рука закона в действии. Потом пожаром уничтожило две лаборатории за городом. Это меня, конечно, не касалось, но неожиданно наступил такой дефицит, что люди метались по городу в поисках еще действующей точки. Мне кричали вслед: «Эй, чувак, подожди!» Но как же я мог ждать? Дриант передал мне рецепты метадона, и если они годились для него, значит, должны были выручить и меня.

Следующий раз мы с Дриантом встретились в одной из местных пивнушек. Он все так же разрабатывал проекты гипотетических супермаркетов с клозетами и комнатами для персонала, стал даже примерным студентом. Но зато в моем распоряжении была куча свободного времени, так что к его приходу я успел пропустить бокал-другой пива.

Дриант показался мне сильно испуганным, постоянно оглядывался. Я тогда подумал, что отец наверняка установил за ним постоянный контроль. Мы опрокинули по бокалу, чтобы снять напряжение. У него были проблемы… Приходилось слушать очень внимательно, чтобы понять, что он пытается сказать. После еще одного бокала пива Дриант начал приходить в себя. Мы смеялись, болтали о всяких глупостях. Но тут подошла официантка, и он снова вскочил, будто увидел перед собой привидение. Заплатил за нас обоих.

Только собрались уходить, как из-за спины Дрианта возник какой-то тип, присел рядом на лавку и обнял за плечи. У него была густая шевелюра красноватого оттенка. «Что, разлагаемся потихоньку?» — произнес он. Я подумал, что это приятель Дрианта.

— Я могу все объяснить, — засуетился Дриант, — со временем я расплачусь.

— Твой отец стал плохо себя вести, приносит мне огромные убытки. Я не думаю, что у тебя хватит денег расплатиться по этому счету.

Он говорил тихо, почти шептал, и голос его разлетался на мелкие осколки, как если бы запертые дети, чтобы их услышали, выкрикивали слова одновременно. Дриант попытался было встать, но мужчина придержал его за плечо. «Шш-ш-ш», — прошептал на ухо, словно маленькому ребенку, готовому вот-вот расплакаться. Дриант на подкашивающихся ногах последовал за ним к машине. Двое мужчин за соседним столиком расплатились и направились к выходу. «Ты тоже», — обратился ко мне один из них, и я не посмел возразить.

В этом мире существует определенная иерархия. Представители низшей касты ползают на своих двух, над ними стоят те, у кого есть собственные автомобили, потом идут обладатели машин с личными водителями и т. д. Сабазий, который всю эту шайку кормил, передвигался как минимум на двух машинах одновременно. Позже мне стало известно, что при исполнении наиболее важных поручений он предпочитал присутствовать лично. А Дриант был сыном Ликурга и далеко не последним человеком в его окружении.

Нас доставили на двух машинах к тому самому зданию бывшего музея. Дриант яростно вырывался, в кабинете, куда нас затащили, попытался выскочить в окно. Тогда его повалили на диван и одним ударом переломали ноги. Потом сделали то же с руками между запястьем и локтем. Чтобы не кричал как сумасшедший, Дрианту заклеили рот скотчем, а заодно и мне. Но поскольку с меня ручьями тек пот, скотч все время перекручивался куда-то назад и в конце концов превратился в веревку, которая больно врезалась в лицо. «Теперь ты будешь от нас бегать?» — пытали Дрианта, а он все вертел головой, и слезы стекали по щекам и заклеенному рту. Сабазий схватил его за нос, и в руке блеснуло лезвие бритвы. «Похоже, у тебя проблемы с дыханием? Ну так я могу помочь!» — произнес он. Лицо Дрианта сначала стало багровым, а потом посинело. Я начал в отчаянии биться головой о шкаф, чтобы остановить его. Этот садист склонился надо мной, вытаращил свои уродливые глаза и сказал: «От тебя мне ничего не надо».

В этот момент я, должно быть, отключился. Нас нашли час спустя. Мы оба были под завязку накачаны наркотиками — на прощание о нас хорошенько позаботились. Кто-то лично позвонил Ликургу и сказал, что в здании скрывается наркоторговец, имеющий прямое отношение к его сыну, очень опасный тип.

Дриант не лишился носа, но был застрелен. И не людьми Сабазия, а Ликурга. Выбив дверь, они не разглядели, кто лежал на полу. Увидели только, как что-то блеснуло у него в руках, и выстрелили. Это оказался кубок, наполненный готовыми дозами героина. Потом выяснилось, что кубок закрутили скотчем к рукам Дрианта. Я очень хорошо помню выгравированную на нем курсивом надпись: *«Первый»*.

Ликурга вскоре сняли с должности, но не без помощи его же собственных коллег, потому как Сабазий постарался сделать так, чтобы они не могли больше получать взятки. А поскольку действовал он от имени Зевса, никто не представлял, как его остановить.

— И ты хочешь, чтобы я поверил во все это?

— Да нет… Мне все равно. Я сам себе уже не верю.

— Почему?

— Сабазий мертв. Я знаю, что на трассе его машина была взорвана. Это абсолютно точно.

— А мне он показался вполне здоровым и компанейским парнем. Угощал всех присутствующих за свой счет. Люди отрывались по полной. Давненько у нас не было такого концерта.

— Да, он действительно хорошо выглядел. Но как же ему удалось выжить?

— Зачем ты мне все это рассказываешь? Почему мне, а не Орфею? Ведь у вас с ним отличные отношения.

— Потому что Сабазий его родной дядя. Я не могу говорить при нем о подобных вещах.

— Мы живем в маленькой стране, Пегас. Отыскать между всеми родственные связи не составит особого труда.

— Да уж…

— А твой приятель мог бы и появиться на репетиции или хотя бы позвонить и предупредить, чтобы мы его напрасно не ждали.

— Белерофонт, оставь ты его в покое.

Действительно, об Орфее он больше не вспоминал, но потом признался, что хотел бы попросить меня об одной услуге.

Окончание следует.

Перевод с болгарского Ольги ПЕТРЕВИЧ.





ГЕОРГ КОТТ

Обретение крыльев

Немецкий писатель Георг Освальд Котт родился в 1931 году в городе Зальцгиттер, живет в Брауншвейге, член Союза немецких писателей и ПЕН-центра Германии. Закончив ремесленное обучение и сдав экзамен на кондитера, поступил в университет, где изучал диетологию и германистику. Впоследствии преподавал в профессиональной школе и в университете в Ганновере. Вышли в свет 22 его книги — рассказы, сатиры, но прежде всего стихотворения. Кроме этого он написал ряд радиопьес, а также несколько сотен сочинений, эссе и беллетристических статей для радио, телевидения, литературных журналов, антологий и дневной прессы Германии и других стран. Его стихотворения переведены на разные языки и положены на музыку.

Подборка предлагаемых стихов взята из его книги «Траектория полета сороки».

Елена СЕМЕНОВА

* * *

На картинке
спрятано место счастья

я пристально всматриваюсь
и не вижу ничего

быть может оно прячется
в листьях ежевики

или там где
большой подковонос

висит
ногами вверх

и кровь не стучит
у него в голове

* * *

Лебедь-шипун ты
собираешься взлететь

интересно наблюдать за тобой
как ты поднимаешься вверх

мы бескрылые
увлекаемся

раскачиваемся и раскачиваемся
пока не начинаем подпрыгивать

* * *

Не спотыкаясь в полете
стрекозы играют в догонялки

застывают в воздухе

будто прислушиваясь
к пению цикад

* * *

Без головокружения
белка
измеряет высоту падения
перепрыгивает
через паутину
скользит с ветки на ветку
падает
качается в кусте лещины
и все время думает
о запасах на зиму

* * *

Тебе хорошо
когда тебе приходится перевести дух

сведения о китах гласят

что каждый кит
должен вынырнуть для вздоха

* * *

Сторожевая собака теребит
веревку

собака-ищейка ложится
у ног

комнатная собачка лижет
руку

все три лают
во сне

каждой снится
что она волк

* * *

Электрическая дойка
уже не новейшее изобретение

хотя доильные машины
принесли с собой больше
чем предполагалось

кто еще сегодня мог бы
с уверенностью сказать

сколько сосков
у вымени

Перевод с немецкого Елены СЕМЕНОВОЙ.



АРСЕНИЙ ТУРЦЕВИЧ

Русские крестьяне под владычеством Литвы и Польши

Краткий исторический очерк

От редакции.

Имя археографа и историка Арсения Осиповича Турцевича сегодня крайне редко встретишь в периодической печати, не говоря уже о книжных изданиях. Многотомная «Беларуская савецкая энцыклапедыя», вышедшая в первой половине 70-х, посвятила ему несколько строчек, из которых следует, что Турцевич родился в 1848 году в Минской губернии в семье священника. В 1872-м окончил Петербургский университет. С 1901-го работал в Виленской археологической комиссии. Он автор «Краткого исторического очерка Виленской комиссии для разбора и издания древних актов. 1864—1906», очерка «Русские крестьяне под владычеством Литвы и Польши», предисловий к 35-му и 38-му томам «Актов Виленской археологической комиссии», а также составитель учебников по русской истории для гимназий и «Хрестоматии по истории Западной России». Еще из той же публикации можно узнать, что монархическо-клерикальные взгляды Турцевича после 1905 года стали более либеральными. Умер он после 1915 года. Вот, пожалуй, и все. Любопытно, что новая «Беларуская энцыклапедыя», издание которой завершилось уже в нынешнем тысячелетии, буквально слово в слово повторила сведения об Арсении Осиповиче тридцатилетней давности — это, вероятно, свидетельствует о том, что его место в отечественной истории осталось прежним и, судя по всему, достаточно скромным.

Тем не менее нашему читателю, интересующемуся прошлым белорусского народа, надеемся, будет интересно познакомиться с творческим наследием А. Турцевича, в частности, его работой «Русские крестьяне под владычеством Литвы и Польши», впервые напечатанной в 1908 году в виленском журнале «Крестьянин». При этом, конечно, следует помнить, что географические термины, которыми оперирует автор, в подавляющем большинстве своем к современным географическим картам не имеют прямого отношения или же имеют сегодня несколько иное значение. К примеру, Литва историческая, времен Великого Княжества Литовского, о которой пишет Турцевич, и Литва нынешняя — это не одно и то же. Точно так же, говоря о русском крестьянстве, автор относит к нему и белорусов, и украинцев, земли которых в свое время входили в состав Российской империи. Вполне естественно, что и свою оценку тем или иным историческим событиям он дает исходя из той, которая официально проповедовалась царской Россией.

К уже упомянутым сведениям о А. Турцевиче, почерпнутым из «Беларускай савецкай энцыклапедыі», можно добавить, что некоторое время он работал учителем истории и географии 1-й Виленской гимназии. В те годы в гимназии училось примерно 600 учеников, из которых дворяне и дети чиновников составляли около 80%. Учебная программа была весьма насыщенной, а требования к знаниям достаточно высокими, поэтому не считалось чем-то экстраординарным, если кто-то из учеников был вынужден остаться на второй год «по малоуспешности». Большое внимание уделялось, как теперь сказали бы, культурно-массовой работе. Нередкими, например, были литературно-музыкальные вечера. Вот как описывал современник один из таких вечеров, прошедший 6 мая 1891 г. «...По случаю высокоторжественного дня рождения Государя Наследника Цесаревича зал гимназии был убран флагами, государственным гербом и Императорским вен-

зелем, а портрет Наследника Цесаревича был изящно задрапирован сукном, живыми экзотическими растениями и множеством цветов. Программа вечера состояла из произнесения наизусть учениками прозаических и стихотворных образцов русской литературы и стихотворных отрывков на латинском и французском языках. Музыкальная часть состояла из хоровых песен, исполненных хором учеников средних учебных заведений, и нескольких музыкальных пьес, исполненных отчасти оркестрами из учеников 1-й и 2-й гимназий поочередно, отчасти solo на скрипке, корнет-а-пистон, виолончели, под аккомпанемент фортепьяно и цитр...»

Кстати, среди учеников 1-й Виленской гимназии последней четверти XIX века были Петр Столыпин, Юзеф Пилсудский, Феликс Дзержинский, актер Василий Качалов. Вероятно, среди их учителей был и Арсений Осипович Турцевич.

Очерк под заглавием «Русские крестьяне под владычеством Литвы и Польши» был напечатан в 1908 году в Виленском журнале «Крестьянин». В настоящем отдельном издании этот очерк не только дополнен, но и совершенно переработан.

А. Турцевич
Вильна, 21 января 1911 г.

I

Характер русских земель во время присоединения их к Литве. — Разделение крестьян на группы. — Данники. — Их общественный быт. — Копный суд. — Заключение.

Западная Русь вошла в состав княжества Литовского в XIII—XIV веках. В это время она стояла гораздо выше Литвы как по своему политическому, так и по своему гражданскому развитию. «Это были старинные русские земли, — говорит один историк, — население которых до литовского владычества сплотилось в довольно крепкие политические союзы, привыкло к политической самодеятельности при князьях Рюрикова дома, приобрело любовь к местной самостоятельности и привязалось к местной старине. Это были те земли, про которые еще летописец второй половины XII века сказал, что оне «якоже на думу, на веча сходятся, на что же старейшии сдумают, на том же пригороди станут»[1]. В таких землях литовские князья, не обладавшие хорошо огранизованной администрацией, не могли нарушить старины и поневоле должны были оставить прежний общественный строй, поэтому все классы населения, а в том числе и крестьяне, сохранили здесь все те права, какими они пользовались под властью своих русских князей.

Насколько можно судить по некоторым документам, западно-русские крестьяне в первые века литовского владычества подразделялись на следующие группы:

1. Данники. Они были вольными земледельцами. Положение данников прежде всего определялось данью, которая была главною повинностью их, независимо от того, сидели они на княжеской земле или на частной. Данники пользовались правом выхода, по выполнении, конечно, известных формальностей.

---

[1] Профес. М. Любавский: «Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко времени издания первого Литовского статута», стр. 26.

2. Слободичи (известные также под названием людей захожих, похожих, прихожих, слободников или вольников). Они были людьми свободными и снимали по контракту участки земли у частных землевладельцев, которым князья жаловали пустыри с правом «людей на новом корне посадить».

3. Отчичи. Главной повинностью отчичей была барщина: они должны были ходить на господское дело с серпом, косою, топором. Отчичи были прикреплены к земле, почему поступали в продажу и в раздел по наследству вместе с землею, на которой сидели. Отчичи не могли сходить с земли, и господин мог искать их и их детей неопределенное число лет[1].

4. Закупни, или закладни, т. е. люди, поступившие во временное рабство в уплату долга. При отсуствии в то время правильно устроенной власти число лиц, закладывавшихся за кого-либо с целью приобрести себе защиту и покровительство, было довольно значительно. Условия закупничества определялись в каждом отдельном случае взаимным договором, но по закону закупни считались людьми свободными.

5. Невольная челядь, или холопы. Невольная челядь составляла единственное совершенно бесправное крестьянское сословие. В это состояние свободные люди могли попадать по следующим причинам: военнопленные, рожденные от рабов, выданные по суду истцу за преступление и вступившие в брак заведомо с лицом, состоящим в рабстве. Челядин, посаженный на земле, тем самым превращался в тяглого отчича[2].

Из всех перечисленных групп крестьянского населения самую многочисленную составляли *данники*. Это несомненно были вольные люди. «Западно-русский данник, — говорит профессор Довнар-Запольский, — является непосредственным преемником древне-русского свободного смерда и в своем быту, в своих отношениях к владельцу земли, в своих данях, в экономическом строе, главным образом выражавшемся в добывании «скры и меду», в устройстве волостного и сельского быта сохранил глубоко-архаичные особенности»[3]. Данники жили сельскими общинами. Хотя земля признавалась собственностью князя, но каждая община имела в своем непосредственном владении определенное количество пахотной земли и разных угодий, которыми распоряжалась самостоятельно. Одна часть пахотной земли и все угодья, как лес, выгон, бортные земли, бобровые гоны, находились в общем владении; другая часть пахотной земли делилась на участки, известные под именем *отчин*. Отчинами владели отдельные домохозяева на правах личной собственности и могли их продавать, обменивать, передавать по наследству, отдавать в залог и т. п.[4]. Каждая сельская община пользовалась известным самоуправлением. Во главе такой общины стоял выборный старец, как постоянный блюститель общинных интересов. Община сама производила разруб (раскладку) податей и повинностей, которые на нее налагались общею суммою[5]. Кроме того, община имела свой собственный суд, известный под именем *копного суда.*

---

[1] Профессор Любавский говорит, что отчичи могли покидать свои участки, если им удавалось посадить вместо себя других, соглашавшихся нести ту же службу («Областное деление», стр. 376).

[2] О разделении крестьян на группы см. сочинения: 1) М. Довнар-Запольский: «Очерки по организации западно-русских крестьян в XVI в.», стр. 142, 146, 148, 299 и др.; 2) В. Б. Антонович: «Архив Юго-Западной России», ч. II, предисл., стр. 11—15; 3) Ив. Новицкий: «Архив Юго-Западной России, ч. VI, т. I, предисл., стр. 52—53, а также проф. Леонтович: «Крестьянский двор в Литовско-Русском государстве» и проф. Любавскиий: «Областное деление» и «Очерки истории Литовско-Русского государства».

[3] «Очерк по организации з.-р. крестьян», стр. 297.

[4] Г. Новицкий высказывает мысль, что землевладельческие права крестьян были одинаковы с правами высших сословий (Архив Юго-Западной России, ч. VI, т. I, стр. 12, 13, 15, 29), а профессор Любавский, хотя и не соглашается с мнением г. Новицкого, но в свою очередь признает, что «крестьяне имели свои владельческие права, но эти права осуществлялись не в их отношении к господарю или своим панам, а в отношении друг к другу и к другим владельцам». («Област. дел.», стр. 408).

[5] Подробности об общинном быте данников см. в соч. Довнар-Запольского «Очерки по организ. з.-р. крест.», стр. 57—149 и др.

Копой называлось народное собрание из домохозяев нескольких соседних селений, составлявших сельскую общину. Эти домохозяева носили название сходатаев, копных судей и др. Копа собиралась в центральном месте сельской общины, которая называлась коповищем или копищем и занималась исследованием и решением дел под открытым небом. Для исследования дел уголовных копа собиралась на месте преступления: в дубраве, в бору, под горой; если нужно было решить спор о поземельной собственности, то копа собиралась на спорной земле; а когда в округе общины оказывался труп убитого человека, то копа собиралась в том месте, где находился труп. Копа производила суд и расправу по стародавним обычаям. Допрашиваемого нередко подвергали пытке, т. е. его секли прутьями и жгли огнем. Приговор постановлялся общим голосом всех сходатаев. В случае присуждения обвиняемого к смертной казни палач совершал казнь в присутствии копы, но истец имел право окончить дело добровольным соглашением; тогда преступник освобождался от всякого наказания. Ведомству копы подлежали все лица простого сословия, имевшие свою оседлость в округе сельской общины, а именно: крестьяне королевские, помещичьи, монастырские и церковные, свободные поселенцы и мещане городов, не пользовавшиеся Магдебургским правом. В некоторых случаях власть копы простиралась и на самих помещиков. По окончании суда копа отправляла в уряд гродский депутатов, которые вместе с возным излагали дело и объявляли решение для внесения в гродские книги[1].

Таким образом, западно-русские крестьяне, за немногими исключениями, в древнейшую эпоху были людьми свободными, владели поземельною собственностью, даже с правом отчуждения своих участков посторонним лицам, сами заведывали раскладкой податей, имели свой суд и вообще пользовались довольно значительным самоуправлением. Но такое положение западно-русских крестьян с начала XV века стало изменяться, чему немало способствовала Польша.

II

Соединение Литвы с Польшей при Ягайло. — Положение польских крестьян. — Постепенное закрепощение западно-русских крестьян. — Утрата крестьянами права землевладения и суда. — Панский суд. — Юридическое положение западно-русских крестьян после Люблинской унии. — Религиозные преследования.

В 1386 году великий князь литовский Ягайло женился на польской королеве Ядвиге и, сделавшись польским королем, соединил под своею властью Литву с Польшей. Хотя Литва вскоре получила своего особого князя и успела сохранить свою самостоятельность, но с этого времени она подверглась сильному влиянию Польши и стала постепенно заводить у себя польские порядки, которые прежде всего отразились на взаимных отношениях землевладельцев и сельского населения. Дело в том, что польские крестьяне в это время уже находились в полном подчинении у шляхты, или дворян. «История развития крестьянских отношений в Польше, — говорит В. М. Мякотин, — в общих чертах была следующая: общинное устройство и землевладение в первоначальном периоде, разрушение этого строя в исторический период уже к XII и XIII веку, установление впервые прикрепления в XIV столетии в пользу шляхты и духовенства, уже раньше добывших себе право суда над поселившимися на их землях крестьянами, достижение шляхтой господства в стране и, под влиянием этого господства, окончательное закрепощение кметей к концу XV века». Далее г. Мякотин устанавливает, что в XVI веке польские крестьяне уже слились в один класс крепостных, окончатель-

---

[1] См. соч. Н. Д. Иванишева: «О древних сельских общинах в Юго-Западной России».

но утратили все личные и гражданские права и сделались полной и безусловной собственностью своих владельцев[1].

Такое рабское состояние польских крестьян не могло не отразиться на положении их западно-русских собратьев, так как в Литве и Польше, вследствие их сближения, довольно скоро начал устанавливаться одинаковый общественный строй. Действительно, по мере распространения в Литве польского шляхетского права распространялось здесь и закрепощение разных групп крестьянского населения. Так, уже в 1457 году польский король Казимир IV издал привилей, которым запрещалось перезывать поселенцев с частных имений на великокняжеские и обратно[2]. В то же время частные землевладельцы и княжеская администрация, не обращая внимания на законы, всеми силами стали стремиться к закрепощению не только свободных крестьян, но даже и мелкого дворянства, которое не успело стать в ряды полновластной шляхты. «Помещик или господарский державна, — говорит профессор Довнар-Запольский, — подстерегал вольного человека или боярина, чтобы обратить его в тяглеца. Суды завалены массами дел о «привлащении» похожих и бояр в отчичей. Стоило боярину «приубожать», или снять соседнюю тяглую землю, пропустить одну-другую земскую военную службу или военный попис, как сейчас же к нему предъявляется иск о «привернении» в тягло, выйти на господарскую работу, хотя бы даже по условию с землевладельцем взамен какой-нибудь службы, свойственной свободному (наприм., взамен военной), и это служит доказательством для прикрепления; свободный человек мог также случайно «замолчать» при каких-нибудь сделках на землю о своей свободе, — и его постигал тот же результат; очень часто задолжавший крестьянин добровольно переходил в разряд отчичей, равно как и человек, выданный «шиею» истцу на казнь за преступление или вследствие неуплаты судебного штрафа. Жизнь становится очень трудной, охрана свободы приносит тяжелую борьбу, бедность, угнетение, поэтому усиливается закладничество и закупничество, но и оно быстро переходит в тяглое состояние. К закладням и закупням предъявляются аналогичные иски об обращении в отчичей; беглый должник возвращается заимодавцу, по Статуту 1529 года «не мней, яко отчич», т. е. может быть обращен и в рабство[3]… Кроме этой частной борьбы между двумя элементами, происходившей в пределах каждого владения, землевладельцы целых областей издавали постановления, клонившиеся к затруднению арендных условий для свободных крестьян, к однообразию этих условий»[4]… Особенно быстро шло закрепощение крестьян по судебным решениям о «заседелости», или давности поселения. Сначала суд в таких случаях решал дела по своему произволу, без всякого законного основания, но Статутом 1588 года постановлено было, что если слободич проживал в имении одного и того же владельца десятилетий срок, то он лишался права выхода[5]. «Эта статья Статута, — говорит г. Довнар-Запольский, — должна быть рассматриваема как заключительная стадия в истории свободного крестьянства»[6].

---

[1] «Крестьянский вопрос в Польше в эпоху ее разделов», стр. 61.

[2] М. Ф. Владимирский-Буданов: «Хрестоматия по истории русского права», вып. II, стр. 31.

[3] Литовск. Статут 1529 г., раздел VIII, артикул 20.

[4] «Очерки по организации западно-русских крестьян в XVI веке», стр. 304—305.

[5] Литовский Статут 1588 года, разделы VII, IX, XII.

[6] «Очерки по организации западно-русских крестьян в XVI веке», стр. 304.

Закрепощению западно-русских свободных крестьян отчасти способствовал перелом в экономической жизни страны, потребовавший выработки новых условий рабочего труда, но не подлежит никакому сомнению влияние в данном случае и Польши. «Нельзя также отрицать», говорит проф. Леонтович, внешних влияний на организацию тягловых отношений литовско-русских крестьян, главным образом со стороны западных соседей, в особенности со времени первых опытов польско-литовской унии и полонизации края, вместе с развитием шляхетских вольностей и распространением в Литве-Руси польско-немецкой волочной системы сельского хозяйства» («Крестьянский двор в Литовско-Русском государстве». Журн. Мин. Народн. Просв., 1897 г., апрель, стр. 415).

Вместе с лишением свободы крестьяне лишаются права участия в землевладении, которое и делается исключительно шляхетскою привилегией. Так, относительно определения права собственности на бортные деревья, проданные или отданные крестьянами в приданое в чужое село, Статут 1566 года добавляет следующие знаменательные слова: «И вже от того часу хто бы с подданных наших князских, панских и земянских дерево бортное за границу панов своих отдавал, даровал и яким кольвек обычаем в чужие руки заводил, таковый мает горлом каран быти», т. е. подвергался смертной казни[1].

Наконец, крестьяне лишаются своего собственного суда и подчиняются суду своего пана, не исключая даже и обвинения в таких преступлениях, за которые полагалась смертная казнь[2]. Всего важнее было то постановление, по которому совместные владельцы нераздельных имений получали право суда над крестьянами не только сообща, но и каждый в отдельности, и притом как по жалобам третьих лиц, так даже и в тех случаях, когда обвинителем или истцом являлся тот именно из участников общего владения, которому предстояло творить суд и расправу[3]. «Таким образом, произволу владельца, — говорит г. Новицкий, — который в одно и то же время являлся и заинтересованною стороною, и судьей, и представителем власти исполнительной, предоставлялся полнейший простор, а крестьянин, лишенный всякой гарантии и покровительства закона, тем самым приближался к положению раба»[4]. Впрочем, в более важных делах помещик обязан был приглашать к участию в суде посторонних шляхтичей, своих приятелей, отчего этот суд назывался *приятельским.* Но и приятельский суд не ограничивал произвола владельцев. «Иные паны, — говорит вышеназванный автор г. Новицкий, — опираясь на право по закону или, еще проще, на свою силу, творили подобие суда самоуправно, пытая без всякого повода чужих крестьян, заставляя их пыткою взводить на себя преступления, предавая казни невиновных обвиняемых или попросту вешая без суда чужих подданных из-за какого-нибудь соседского спора, с оставлением при этом виселиц по дорогам и селам в виде предупреждения и угрозы жителям последних»[5]. Самоуправству шляхтичей немало способствовал закон об убийствах ими чужих крестьян. В древнейшее время, по Статутам 1529 и 1566 годов, шляхтич ограничивался за убийство чужого крестьянина лишь уплатой его пану *головщины*, или вознаграждения, и только в конце XVI века, по Статуту 1588 года, виновный в убийстве шляхтич подвергался и смертной казни. Но последняя была обставлена такими условиями, что шляхтич всегда мог избежать ее. Так, в этом же статуте сказано, что за убийство простолюдина шляхтич подвергается смертной казни только при поимке его на самом преступлении, и кроме того, когда обвинение будет подтверждено присягою истца сам-семь, т. е. шестью свидетелями, людьми честными, неподозрительными и достойными веры, причем в числе свидетелей должны быть непременно два шляхтича. При отсутствии таких условий обвиняемый или освобождался от всякого наказания, или только платил головщину. С другой стороны, шляхтич мог сложить с себя всякое обвинение только присягою сам-треть с двумя шляхтичами или простолюдинами[6]. Вообще обвинения в убийстве крестьян для шляхтичей были совершенно не опасны, и они нередко отвечали на такие обвинения в шутливом

---

[1] Лит. Ст. 1566 г., раздел X, артикул 6.

[2] В 1387 году великий князь литовский Ягайло освободил от общего суда имения, пожалованные католическому духовенству, а в 1457 году польский кроль Казимир IV то же самое сделал и по отношению к имениям шляхетским, но окончательное установление владельческого суда относится к концу XV и началу XVI века (Новицкий: «Архив Юго-Западной России, ч. VI, т. I, предисловие, стр. 17—19).

[3] Литовский Статут 1529 года, раздел VI, артикул 32.

[4] «Арх. Юго-Зап. России», ч. VI, т. I, предисловие, стр. 56.

[5] Ibid., стр. 88.

[6] Литовский Статут 1588 г., раздел XII, артикул 1, 3.

тоне. Так, пан Михаил Ласко на упрек в самоуправстве отвечал: «Кто безвинно велел умертвить боярина Евхима, тот за него хорошо заплатит, а велел я его повесить потому, что он был в то время моим крестьянином». Точно так же отвечала и княгиня Настасья Козечина на вопрос о безвинном истязании ею на пытке крестьянина, принадлежавшего князю Роману Сангушке: «Я его казала змучити, яж его и заплачу»[1].

В 1569 году, по Люблинской унии, произошло окончательное соединение Литвы с Польшей в одно государство с одним королем, общим сеймом и общим сенатом. К этому времени литовско-русские дворяне, подобно польской шляхте, уже вполне упрочили свое положение как привилегированного сословия и поставили в полную зависимость от себя крестьян, получивших унизительное название *хлопов*. Подтверждением этому может служить конституция Варшавской генеральной конференции 1573 года. В этой конституции шляхта дает обет не преследовать друг друга за разногласие по делам веры и потом прибавляет: «Однако конституция сия не должна нисколько нарушать власти над подданными как светских, так и духовных панов, ни ослаблять должного повиновения панам их подданных; напротив того, если бы где-либо возникло своеволие под предлогом разногласия веры, то в таком случае каждый пан будет иметь и впредь право, которое всегда имел, наказать по своему усмотрению всякого подданного, не повинующегося ему как в светском, так и в духовном отношении»[2]. Польский историк Корзон так объясняет значение приведенной конституции: «В этом параграфе заключалась отдача головы крестьянина, права над его жизнью и смертью (jus vitae et necis) в руки его пана, т. е. в руки каждого шляхтича-владельца. В Литве вместо одного великого князя Ягеллона, неограниченно распоряжавшегося кровью подданных всех сословий, внезапно появились десятки тысяч таких великих князей над одним крестьянским сословием. Вместо княжеского государственного суда для крестьян отныне существовал только дворный суд, патримониальная юрисдикция с самым высшим приговором владельца. Последствием такого общественного переворота должно было явиться невольничество земледельческого люда, какого мы ныне не видим ни в одном цивилизованном обществе со времен освобождения негров из-под власти плантаторов в Америке»[3]. В таком положении крестьяне находились и в последующие века. Польский юрист XVIII века Островский так определяет юридическое положение крепостных людей его времени: 1) подданные не только сами, но и с потомством принадлежат владельцу; последний имеет право их продать, подарить или переселить в другое место; 2) беглого подданного владелец имеет право разыскивать; 3) подданные не могут вести без своего пана ни гражданских, ни уголовных дел, и 4) крестьянин не имеет собственности и ничего не может завещать из имущества, которым он пользуется[4]. К этому следует добавить, что крестьянин не мог вступать в брак без разрешения своего господина. Вообще шляхтич, по выражению одного польского историка, в своем имении был «абсолютным монархом»[5]. Хуже всего для западно-русского крестьянина было то обстоятельство, что помещику подчинены были не только его личность и имущество, но и его совесть. Конституция Варшавской конфедерации 1573 года, предоставившая каждому пану право наказывать не повинующегося ему подданного в духовном отношении, поставила в самые тяжелые условия православных крестьян, так как их владельцы, перейдя из православия в католичество, стали смотреть на своих прежних единоверцев как на отступников от истинной веры. Особенно ухудшилось положение православных крестьян из Западной Руси

---

[1] «Архив Юго-Западной России», ч. VI, т. I, предисловие, стр. 89.
[2] Volumina legum, т. II, стр. 124.
[3] Корзон: «Kosciuszko», стр. 64.
[4] «Prawo ciwilhe narodu Polskiego», 1787 г., т. I, стр. 47—50.
[5] Корзон: «Wewnętrzne dzieje Polski», т. I, стр. 365.

после введения там церковной унии (в 1596 г.). Известный историк В. Б. Антонович, после тщательного ознакомления как с польским законодательством о православной церкви, так и с множеством дел о всевозможных насилиях католиков над православными, говорит следующее: «В каждой данной местности судьба православного священника и его прихожан зависела от расположения духа, каприза или корыстолюбия владельца села или местечка; но, умилостивив последнего, православные далеко еще не были безопасны: дворянин сосед, партия проходящих жолнеров, настоятель ближайшего католического костела, иногда просто проезжий шляхтич, вдруг неожиданно воодушевлялись фанатическим рвением и, в виде нечаянной грозы, обрушивались на несчастный приход, — факты же, которыми выражалось это рвение, не удовлетворяли требованиям самой элементарной нравственности»[1].

III

Службы, дворища и оседлые дымы. — Введение волочной системы. — Господарские, или королевские, волости. — Разделение королевских крестьян на три группы. — Их повинности. — Староства. — Референдарский суд.

Такому бесправному положению западно-русских крестьян соответствовало и обременение их всевозможными повинностями. Размер этих повинностей обыкновенно зависел от величины земельных участков, находившихся в пользовании каждого отдельного крестьянского хозяйства. В древнейший период, когда население было редко, крестьяне занимали столько земли, сколько могли обработать. Затем постепенно началось регулирование размеров крестьянского хозяйства, причем оно подводилось к известным нормам; такая, признаваемая за нормальную, средняя величина крестьянского владения носила не одинаковое название в разных местностях: в Литве называлась она *службою*, на Волыни и Полесье — *дворищем* и в Украине — *оседлым дымом*. Но все эти названия не определяли сколько-нибудь точно величины участков; не только не было различия между службами и дворищами, не было также различия между участками одного и того же наименования. По некоторым данным можно, однако, заключить, что земельные участки с наименованием служб, дворищ и дымов были довольно значительны, и хотя на них помещалось не по одному, а по два и более хозяйств, обеспечение их земельными угодьями следует считать весьма достаточным[2]. За эти земельные участки крестьяне отбывали барщину, платили чинш и давали дань натурою. Для примера приведем несколько данных относительно повинностей

---

[1] «Монография по истории Западной и Юго-Западной России», т. 1, стр. 300. Приведем здесь еще отзыв о религиозных преследованиях русского народа в Польской Украине В. Мякотина. «Мы видели выше, — говорит почтенный историк, — что положение крестьян в ней было едва ли не тяжелее, чем во всех других частях Польши, так как к экономическому утеснению здесь, благодаря различию религии высшего и низшего классов народа, присоединялось угнетение чисто религиозного характера. Украинскому народу силой навязывали ненавистную ему унию, не останавливаясь ни перед какими средствами. Страшный факт сожжения живым крестьянина Данила Кушнира один представлял бы уже достаточное доказательство этому, но более мелких фактов угнетения православных можно бы привести множество. Наряду с этим произвол помещиков и тем более их управляющих и поссессоров в поборах с крестьян, по свитедельству самих современников-поляков, доходил до ужасающих размеров» («Крестьянский вопрос в Польше в эпоху ее разделов», стр. 196).

[2] И. Новицкий: «Архив Юго-Западной России, ч. VI, предисловие, стр. 101—103. Между прочим, этот автор определяет величину одного дворища на Волыни в 60 десятин пахатной и в 20 сенокосной земли. По-видимому, таких же размеров были и службы. Так, в имении Белой Полоцкого воеводства в 1676 г. одна служба равнялась приблизительно 4 уволокам (40 служб равнялось 150 уволокам).

дворищных крестьян Волынской губернии во второй половине XVI века. В имении Цевовском крестьяне отбывали с каждого дворища барщину по шести дней в неделю, платили по шести грошей чинша и давали по восьми мац[1] овса и по двое кур[2]; в имении Конюхах крестьяне обязаны были работать «коли роскажут», платить по полкопы грошей чинша, давать по двое кур и по восьми мац овса[3]; в имении Верхово крестьяне отбывали барщину по три дня в неделю «с чим роскажут», платили по двенадцати грошей чинша и по два гроша порохового и сторожевого, давали с вола по четвертыннику овса, по двое кур и по одному гусю, подвода далекая и близкая (водле часу потребы), десятину от свиней, от овец и от пчел и одну яловицу[4]. Из этих примеров видно, что и при дворищной системе земельного владения крестьянские повинности были довольно значительны, но если принять во внимание значительную величину дворищ, то можно признать, что повинности эти не были особенно обременительны.

Эти благоприятные для крестьян условия стали изменяться с введением **волочной системы**, которая стала распространяться в Северо-Западной Руси в XVI, а в Юго-Западной в XVII веке. Волочная система состояла в точном измерении земли и в разбивке ее на участки-уволоки, заключавшие в себе по 19 десятин. При введении этой системы землевладельцы выделяли лучшие участки для устройства своих собственных ферм, известных под именем *фольварков*, а на остальных селили крестьянские семейства по одному, по два, а иногда и более на каждой уволоке. Волочная система введена была как в волостях господарских, или королевских, так и в имениях частных владельцев.

В королевских волостях порядки волочной системы определялись особой инструкцией, изданной в 1557 году под названием «Устава на волоки господаря его милости во всем великом князстве Литовском»[5]. На основании этой «Уставы» все сельское население королевских волостей подразделялось на три категории: 1) *служебные люди*, 2) *осадники* и 3) *тяглые крестьяне*.

Служебные люди почти все получали в надел бесплатно по две уволоки земли, за что обязаны были отправлять разные специальные обязанности. Так, *путные бояре* отправляли подводную повинность, а некоторые из них, так называемые *служки*, постоянно жили при дворах для развозки писем, денег и разных посылок; *бортники* в военное время исполняли военную службу, а в мирное время мостили мосты; *стрельцы* обязаны были являться на лов и на войну; *осочники* обязаны были оберегать пущи и участвовать в ловах; *сельские войты* исполняли обязанности приказчиков и ближайшей полицейской власти; *лавники* обязаны были производить судебные осмотры и освидетельствования[6]; наконец, *конюхи* и *дворные слуги* исполняли обязанности, соответствующие их названию.

Осадниками назывались крестьяне, состоявшие на оброке, они обязаны были платить с уволоки по 30 грошей чинша и давать по бочке ржи или вместо того по 10 грошей; обязаны были также отбывать по 12 толок или заплатить за них по 12 грошей и убирать половину фольварковых сенокосов. Такой же оброк обыкновенно платили и служебные люди, если они не отправляли своих специальных обязанностей.

Тяглые крестьяне, которых было всего больше, получали в надел по одной уволоке. Повинности их с каждой уволоки были следующие: чинша платили 21, 12 и 8 грошей, смотря какого качества была земля; овса давали 2 или 1 бочку или

[1] Маца равнялась 1 Варшавскому гарнцу (около одной трети ведра). Словарь Горбачевского.

[2] «Архив Юго-Западной России», ч. VI, т.I, стр. 97.

[3] Ibid., стр. 113

[4] Ibid., стр. 202.

[5] Этот документ напечатан в «Памятниках Киевской Комиссии», т. II, отд. 2, и в «Актах Западной России», т. III, № 19, стр. 72—92.

[6] Лавники за свою службу получали особое вознаграждение, поэтому волоки их от повинностей не освобождались.

же по 10 грошей за бочку (5 за хлеб и 5 за отвозку), по возу сена или по 5 грошей (3 сено и 2 отвоз), по гусю или по 1 $^1/_2$ гроша, по 2 курицы или по 16 пенязей, по 20 яиц или по 4 пенязя, по 2 гроша на «неводы» и по 2$^1/_2$ за «станцию», т. е. за сборы, которые взимались по случаю проезда князя, туземных или чужеземных послов и разных гонцов; барщины полагалось по 2 дня в неделю и по 4 толоки летом. Кроме тяглых крестьян при дворах существовали еще *огородники*, пользовавшиеся небольшими участками земли; за эти участки они, как и тяглые крестьяне, отбывали разные повинности, но только в меньшем размере.

Согласно «Уставе на волоки» в королевских имениях наблюдалось, чтобы на каждую уволоку фольварковой запашки приходилось не менее семи уволок, находившихся в пользовании тяглых крестьян, а крестьянские повинности соразмерялись не только с количеством, но и с качеством земли.

Такое сравнительно благоприятное положение королевских крестьян с течением времени изменилось. Крулевщизны, или королевские имения, в конце XVI века разделились на два разряда: одни назывались *экономиями*, или *столовыми имениями*, доходы с которых шли на содержание короля, а другие назывались *староствами* и раздавались в пожизненное владение шляхте в награду за заслуги (jako chleb zasłużonych). Первые обыкновенно сдавались в аренду частным лицам, вторыми же управляли старосты на правах временных владельцев. Положение крестьян как в экономиях, так и в староствах определялось *инвентарями*. Так назывались описи имений, заключавшие в себя опись движимого и недвижимого имущества владельца, а также поименный список крестьян с перечислением членов их семейств, их рабочего скота и повинностей. Из сравнения инвентарей имений королевских и частновладельческих видно, что крестьяне в тех и других имениях обложены были почти одинаковыми повинностями. Это объясняется тем, что старосты в своих отношениях к крестьянам пользовались такою же властью, как и частные владельцы. По выражению одного польского писателя, староста был в своем старостве полным *самодержцем* (samowładzcą)[1]: он устанавливал количество барщины и других рабочих дней, вводил разные дани и денежные платежи, творил над крестьянами суд, подвергал их наказаниям и т. д. Старосты обязаны были только вносить в казну на содержание войска *кварту*, т. е. четвертую часть доходов. Иногда для более точного определения кварты, а также при новом пожаловании кому-нибудь староства или при переходе его от одного лица к другому, инвентари староств проверялись королевскими чиновниками, так называемыми люстраторами, но последние нисколько не стесняли старост в их отношениях к крестьянам. Например, в старостве Куцки Ошмянского повета при проверке инвентаря в 1789 г. люстраторы записали следующее: «Эта деревня прежде отбывала барщину, теперь же посажена владельцем на чинш; оставляем затем на волю старосты, держать ее на чинш или же обратить на барщину»[2].

Королевские крестьяне, в случае притеснения их старостами и разными управителями, имели право приносить на них жалобы *в референдарский суд*, учрежденный в конце XVI в.[3]

Но это право, по-видимому, мало принесло пользы крестьянам. Польский писатель Барановский так изображает деятельность референдарских судов: «Теснимые (naciskani) и угнетаемые (nękani) старостами, связанные с ними общностью своих классовых интересов, судьи часто, даже очень часто, заходили далеко (posuwają sie dalęy), устраивая отношения между двором и крестьянами на основании обычаев, господствующих в других староствах. Так, достаточно было одному владельцу в данной местности сломить упорство крестьян и увеличить число рабочих дней, как уже появлялся прецедент, который облегчал референ-

---

[1] Encyklopedya powszechna, т. 23, стр. 983.

[2] Акт. Вил. Арх. Ком., т. XXXV, № 93.

[3] По словам г. Барановского, первое решение референдарского суда относится к 26 мая 1591 г. «Przegląd historyczny» за 1909 г., вып. 1, стр. 83.

дарским судам узаконивание увеличенных тягостей. Иногда суды референдарские идут еще далее: они ничего не упоминают об «обычаях», господствующих в других староствах, но разрешают увеличение рабочих дней, принимая во внимание только пользу старостинских фольварков. Постановление подобного рода на долгие годы узаконило злоупотребления старост, ибо решения референдарских судов, в случае позднейших процессов, становились основой для разрешения тяжб. Таким образом, референдарские суды, благодаря своей излишней снисходительности, узаконивали введение в королевских имениях всех тех тягостей и ограничений, которые прежде существовали только в имениях частновладельческих. Им-то отчасти должны быть благодарны старостинские крестьяне за введение монополии на водку и пиво, а часто и на мельницы; им должны быть благодарны за введение все новых и новых даровых работ; наконец, им же обязаны были увеличением количества барщинных дней»[1].

Чаще всего, по словам г. Барановского, королевские крестьяне жаловались на то, что старосты увеличивали количество фольварков в староствах, захватывали в свои руки пастбища, запрещали вход в леса, увеличивали количество рабочих дней, заставляли «обывателей» крулевщизн работать в их частных имениях и т. д. Но особенно гибельным для крестьян было признание правила, в силу которого старосты (dzierżyciele królewszczyzn) не отвечали за преступления своих подстарост и арендаторов, а между тем последние нередко совершали такие злоупотребления и даже злодеяния, которые «взывали о мщении к небу». Приведем ряд подобных насилий, заимствованных г. Барановским из *референдарских книг*. Так, в 1638 г. провентовый писарь в старостве Гавролинском причинял крестьянам всякие обиды, наезжал на их дома и отнимал у них скот и деньги. В 1666 году подстароста Осецкий приказал созвать крестьян во двор и там высек всех поодиночке веревками, приговаривая: «Вот вам, хлопы, право»; тот же подстароста, рассердившись на крестьянина Яна Вельгоса за обращение с жалобою на него в референдарский суд, заковал его в кандалы. В 1671 году пан Даниил Кржевский, арендатор деревни Высоцина (Черского староства), рассердившись на крестьян за то, что они подали на него жалобу, приводил в свой дом на веревке, надетой на шею, и там их бил и калечил, требовал необычных работ и повинностей, разорял крестьянские избы (chałupy), зимние рабочие дни переносились на весну и лето, забрасывал несправедливо (niesłusznie i nienależycie) пивом и т. д. В 1690 г. референдарский суд приказал сжечь крестьянских пчел в войтовстве Домбровском, потому что пчелы эти будто бы очень злые, не понравились владельцам войтовства панам Гуссаржевским. В 1699 году пан Павел Пражмовский, староста Ломжинский, приехавши с воинами в Новогрод, приневолил бортников к необычной дани и приказал взять у них силою 2000 злотых, а когда те заявили свой протест, приказал своим людям окружить их, поочередно класть на землю и так бить, чтобы тело отпадало от костей; кроме того, он приказал своему управляющему Зимноху отнять у крестьян привилегии и некоторые из них уничтожить. Пан Щенсный Боски, державца Стромецкий, заковал в цепи женщину, имевшую грудного младенца, вследствие чего младенец этот, оставленный дома без матери, умер от голода; тот же пан Щенсный принуждал крестьян к работам более тяжким, чем какие были установлены, отнимал у них косы, серпы, платье и другое имущество, без уважительной причины заковывал их в цепи и до такой степени издевался над ними, что они принуждены были скрываться (taić kontach). В 1633 г. староста Осецкий застрелил своего подданного Мартина из деревни Гоцлавиц; кроме того, он ужасно бил и подвергал тюремному заключению тех подданных, которые обращались с жалобой в референдарский суд[2].

---

[1] Игн. Тад. Барановский: «Sądy Referendarskie», в журнале «Przegląd Historyczny», zeszyt 1, str. 93, 1909 r., Warszawa.

[2] Игн.Тад. Барановский: «Przegląd Historyczny», zeszyt 2, str. 170—177, 1909 r., Warszawa.

Все перечисленные преступления остались безнаказанными. Был только осужден на 6 недель заключения и 60 гривен штрафа в пользу одной богадельни арендатор Даниил Кржевский, но и этот в высшей степени снисходительный приговор не был приведен в исполнение. «Дело затянулось надолго, назначались все новые и новые комиссии, крестьяне разорялись на посылку делегатов на назначенные сроки, а между тем осужденный продолжал преследовать крестьян, «позволяя своему слуге стоять над шеей подданных с обнаженной саблей». Наконец, бессильный референдариат передал дело Черскому старосте, который едва ли мог оказаться справедливым судьей по отношению к своему арендатору[1]. Само собою разумеется, что старосты и даже их официалисты почти совсем не подвергались наказаниям, так как референдарские судьи не решались привлекать их к ответственности[2].

Таким образом, референдариат представлял весьма слабую защиту для королевских крестьян Западной России, тем более что значительная часть этого края, как воеводства Брацлавское, Подольское и Киевское, а также южная часть воеводств Русского и Волынского находились вне круга его деятельности[3].

IV

Частновладельческие имения. — Крестьянские земельные участки. — Барщина. — Гвалты и другие дополнительные рабочие дни. — Денежные платежи. — Дань натурою. — Пропинация. — Заключение. — Повинности крестьян в Юго-Западной России.

В **имениях частных владельцев** порядки волочной системы определялись исключительно инвентарями, которые составлялись самими же помещиками по их усмотрению, или, как сказано в одном инвентаре, по их «воле и желанию»[4]. На основании этих инвентарей можно установить размер крестьянских земельных участков, количество барщины и дополнительных рабочих дней, размер денежных платежей, виды и количество дани и даже степень благосостояния крестьян. Рассмотрим эти вопросы сначала по отношению к Северо-Западному краю России, а потом и к Юго-Западному, ограничиваясь главным образом второй половиной XVIII века.

1) **Крестьянские земельные участки** в первое время после введения волочной системы равнялись одной уволоке[5], но с течением времени они стали постепенно уменьшаться. Так, во второй половине XVIII века во многих имениях Западной России крестьянские участки состояли уже из $^1/_2$, ¼ и $^1/_8$ уволоки. Например, в имении Венгрове Ковенской губернии 19 крестьян имели по $^1/_2$ и 27 — по ¼ уволоки[6]; в имении Кляпине Минской губернии 5 крестья имели по $^1/_2$ и 16 — по ¼ уволоки[7]; в имении Каменце Витебской губернии 79 крестьян

[1] Ibid., стр. 175.

[2] «Когда не хватало смелости карать старост, — говорит г. Барановский, — референдариат отсылал дипломатически дела в комиссию, с которыми умели ладить старосты и державцы, поэтому даже ужасное дело Пражмовского было передано комиссарам; началось бесконечное следствие, крестьяне напрасно ездили в назначенные сроки в Варшаву, а пан Пражмовский веселился себе безнаказанно, и даже не знаем, дожил ли он до окончания начатого против него процесса» (Ibid., стр. 177).

[3] T. X-cia. L. (Любомирский): «Rolnicza ludność w Polsce», стр. 8. Здесь кстати заметим, что в царствование последнего польского короля Станислава Понятовского сделано было несколько попыток преобразовать референдарский суд, но попытки эти, по выражению г. Барановского, «не произвели глубоких перемен в организации и компетенции» означенного суда. (См. «Przegl. Histor.», 1909 г., вып. 2, стр. 177—184.)

[4] Вилен. Центр.Арх., кн. № 12518, л. 72.

[5] См. «Акты Вилен. Археогр. Ком.», т. XIV.

[6] «Акты Вилен. Археогр. Ком.», т. XXXV, № 21.

[7] Ibid., № 13.

имели по 1/3, 54 — по ¼ и 20 — по 1/8 уволоки[1]; в имении Соболевке Могилевской губернии 26 крестьян имели по ¼, и 34 — по 1/8 уволоки[2]. Все это были уволоки *тяглые* (grunt ciągły, osiadły, sadzibny, pryhonny), за которые отбывалась барщина, но многие крестьяне имели в своем пользовании и уволоки *платные* (grunt płatny, czynsowy, przyiemny, kunieczny, bojarski, ziemianski), за которые отбывались только дополнительные рабочие дни и платился чинш. Например, в имении Поникввах Гродненской губернии 48 крестьян имели по ¼ уволоки тяглой и по ¼ уволоки платной[3]. Такое разделение крестьянских участков на тяглые и платные, практиковавшееся во многих имениях, было весьма выгодно для помещиков: получая со своих имений увеличенный денежный доход, они в то же время не терпели нужды в рабочих руках, так как недостаток барщинных дней для обработки собственных ферм всегда могли пополнить дополнительными рабочими днями, число которых вполне зависело от их усмотрения[4]. Бывали, впрочем, случаи, когда помещик весь крестьянский участок обращал в платный, но подобные случаи встречались в виде исключения[5].

Таким образом, крестьянские земельные участки состояли не только из тяглой земли, но и платной. Если соединить ту и другую землю вместе, то размер крестьянского земельного участка во второй половине XVIII века можно принять в среднем выводе приблизительно в пол-уволоки, т. е. в 9 1/2 десятин пахотной и сенокосной земли[6]. Свои участки крестьяне обязательно должны были обрабатывать сами и ни в каком случае не могли переуступать их другим лицам[7].

2) За право пользования помещичьей землей крепостные крестьяне отбывали разные повинности, из которых самой главной была **барщина** (*панщина*, а в Витебской и Могилевской губ. — *пригон*). Крестьянские земельные участки, как мы видели, с течением времени все более и более уменьшались, наоборот, количество барщинных дней все более и более увеличивалось. Так, с 1 уволоки пахотной и сенокосной земли в XVI веке отбывалось барщины по 3—4 дня в неделю[8], а в XVIII веке — уже по 8—10 дней в неделю. Приведем несколько примеров относительно издельной повинности крестьян из инвентарей второй половины XVIII века. В имении Рогачев Витебской губернии с ¼ уволоки еженедельно отбывали барщину по 2 дня мужчины и по 2 дня женщины[9]; в имении Путилов, той же губернии, с ¼ уволоки — по 1 дню мужчины и по 1 дню женщины[10]; в имении Кляпине Минской губернии с 1/2 уволоки — по 3 дня мужчины или женщины[11]; в имении Соколове Виленской губернии с 1/2 — 1/3 уволоки — по 2 дня мужчины и по 2 дня женщины[11]; в имении Савиничах Могилевской губернии с ¼ уволоки — по 2 дня мужчины и по 2 дня женщины[13]; в имении Заньковщине той же губернии с 1 — 1/2 уволоки — по 3 дня мужчины и по 2 дня женщины[14]; в имении Лелюнах Ковенской губернии с 1/2 уволоки — по 3 дня

---

[1] Ibid., № 25.
[2] Ibid., № 10.
[3] Ibid., № 49.
[4] Ibid., № 86.
[5] Платными, или чиншевыми, участками пользовались особые классы сельского населения — бояре и земляне, но число их в XVIII в. было незначительно. См. Акты Вил. Арх. Ком., т. XXXV, предисловие, стр. XXVIII и след.
[6] «Акты Вилен. Арх. Ком.», т. XXXV, предисл., стр. XIV.
[7] Ibid., № 78. Не могли также крестьяне уходить на заработки. Вот что сказано об этом в инвентаре (1792 г.) имения Бернова Полоцкого уезда: «Крестьяне не должны быть увольняемы в город на заработки ни под каким предлогом, но если бы отлучились без ведома двора и барщины в свое время не отбыли, то за такое дерзкое ослушание должны быть наказаны, а потом должны были выполнить свои обязанности» (Вил. Центр. Арх., кн. № 718, л. 502).
[8] «Акты Вилен. Арх. Ком.», т. XIV, стр. 187, 208, 315, 359, 466, 478, 538 и др.
[9] «Акты Вилен. Арх. Ком.», т. XXXV, № 2.
[10] Ibid., № 11.
[11] Ibid., № 13.
[12] Ibid., № 5.
[13] Ibid., № 36.
[14] Ibid., № 86.

мужчины и по 3 дня женщины[1]; в имении Торольдах той же губернии с ¼ уволоки — по 2 дня мужчины или женщины[2]; в имении Семеновке Гродненской губернии с ½ уволоки — по 3 дня для мужчины и по 3 дня женщины[3]. Из этих примеров видно, что в одних имениях барщинных дней было больше, а в других меньше. Такое разнообразие в отбывании барщины зависело от количества других повинностей: где крестьяне отбывали много дополнительных рабочих дней и много вносили денежных платежей и разной дани, там барщины было меньше. Таким образом, барщина была неодинакова в разных имениях, но если принять во внимание порядки большинства имений, то количество барщинных дней во второй половине XVIII века можно принять в среднем выводе приблизительно по 4 дня в неделю с крестьянского семейства, имевшего в своем пользовании пол-уволоки тяглой земли[4].

Барщина несомненно была одной из самых тяжелых повинностей. В летнее время число барщинных дней нередко увеличивалось, причем летнее время определялось самими помещиками совершенно произвольно; так, для одних лето продолжалось от св. Георгия весеннего до св. Георгия осеннего, для других от св. Якова до св. Мартина, для третьих от Пасхи до Филиппова поста и т. д. В некоторых имениях женские работы исполнялись посредством дополнительных рабочих дней, а барщину отбывали исключительно мужчины, причем последние иногда обязаны были являться на работу с помощниками. Например, в имении Мейшаголе Виленского повета каждый крестьянин с ½ уволоки обязан был работать помещику от св. Георгия (23 апреля) и до Всех Святых (1 ноября), с парой рабочего скота и с помощником (unternikiem), не выходя со двора, 5 дней в течение одной недели, а в другую неделю был свободен, за исключением одного дня, когда он обязан был являться на гвалты также с помощником и с парой рабочего скота, в остальное же время года, т. е. от Всех Святых и до св. Георгия крестьянин обязан был отбывать те же 5 дней, но с одной лошадью и без помощника и освобождался от еженедельных гвалтов[5]. В имении Венгрове Вилкомирского повета с ½ —¼ уволоки от св. Георгия и до св. Мартина (11 ноября) каждый крестьянин отбывал барщину по 3 дня в неделю с помощником, а от св. Мартина и до св. Георгия по 3 дня без помощника; но если бы какой-нибудь крестьянин не имел помощника, то за все лето обязан был уплатить помещику 10 злотых, этой льготой не могли пользоваться богатые, а только те, у которых были малолетние дети, небольшая семья или кто не мог нанять помощника (dostać czeladzi)[6]. Некоторые помещики заставляли крестьян работать даже по празникам, причем последние делились между двором и крестьянами пополам (swięta ze dworem wpuł dzielone być powinne)[7].

На работу крестьяне обязаны были являться «с чем расскажут», т. е. с рабочим скотом или пешими, и работать от восхода и до захода солнца, пользуясь весьма незначительными промежутками времени для подкрепления себя пищею, а всякое уклонение от выхода на работу влекло за собою самые суровые меры со стороны владельца. Вот, например, как описан порядок отбывания барщины в инвентаре имения Раклишки Лидского повета от 1585 года: «На работу крестьяне обязаны выходить и становиться на назначенном месте с восходом солнца, а уходить с работы скоро по заходе солнца; работу же должен заказать войт или урядник; а кто бы после такого заказа не вышел на работу, тот за такое непослушание должен работать за один день два дня, не уходя со двора, а за другой день — четыре дня, также не уходя со двора; а если бы все три дня кто-нибудь не вышел или в течение шести

[1] Ibid., № 52.
[2] Ibid., № 78.
[3] Ibid., № 59.
[4] Ibid, предисловие, стр. XVI.
[5] Ibid., № 4.
[6] Ibid., № 21.
[7] Ibid., № 21.

недель дозволил себе это, особенно летом, по разу в неделю, то за это целую неделю в оковах должен работать на дворе, а после этого уряднику должен дать барана; а если бы и после того оказался упорным, тогда — бичевание у столба. Однако же, если бы кто по причине болезни не мог выйти на работу, тот должен дать знать уряднику или войту через соседа, надежного человека, а урядник должен к нему заехать, осмотреть его и, убедившись в уважительности причины, не должен повергать его ни одному из названных наказаний. Но если бы кто по какой-нибудь другой причине от этой работы хотел уклониться, тогда он должен кого-нибудь другого послать вместо себя на эту работу под страхом вышеописанного наказания. А от работы никто не должен отказываться; а если бы относительно кого-нибудь это было доказано, то такового подвергали каре, как за воровство (złjdzieyską wyną ma bydz karan). Отдыха тем, которые со скотом работают, перед обедом один час, в полдень час и перед вечером час; а работающим без скота отдыха в те же часы по полчаса, и только летом, когда бывают большие дни»[1].

3) Число рабочих дней каждого крестьянина в пользу помещика далеко не исчерпывалось барщиной; везде были еще дополнительные, или сверхбарщинные рабочие дни, которые в Северо-Западной Руси назывались **гвалтами** (в Витебской и Могилевской губерниях — **згонами**)[2]. Гвалты требовались в том или другом количестве от каждого крестьянского дыма (chaty), независимо от размеров участка земли, находившегося в пользовании крестьянина (a nie według gruntu rachuiąc[3]. Гвалты подразделялись на малые и большие, или генеральные. В первом случае на работу должен был являться только один работник от каждого дыма, а во втором — все способные к работе члены крестьянской семьи, за исключением одного лица, которое могло остаться дома для присмотра за огнем и для охраны имущества от воров (dla pilnowania ognia y złodzieja)[4]. Двенадцатилетние дети в некоторых имениях признавались уже работоспособными и должны были выходить на работу[5]. Гвалты были обязательными рабочими днями во время осенней и весенней пахоты, вывозки навоза, жнитва и уборки сена, т. е. в те дни, когда в имениях особенно много скоплялось неотложной работы. Число гвалтов от одного дыма в течение года было неодинаково в разных имениях. Например, в имении Угольце Пинского повета было 3 гвалта[6], в имении Рогачеве Витебского повета было 10 гвалтов[7]; в имении Самсонове Ошмянского повета было 12 гвалтов[8]; в имении Лелюнах Вилкомирского повета было 12 гвалтов[9]; в имении Лососине Витебского повета, было 15 гвалтов[10]; в имении Соколове Ошмянского повета было по 1 гвалту в неделю[11] и в имении Семеновке Гродненского повета было по 1 гвалту в неделю[12]. Из этих примеров видно, что крестьяне в разных имениях отбывали гвалтов от 3 до 15, а где были в обычае еженедельные гвалты, даже до 25 в год. Принимая во внимание, что в большинстве случаев гвлаты были большие и что в каждом крестьянском семействе было не менее 3 работников, можно в среднем выводе принять для второй половины XVIII века по 36 малых гвалтов (по 1 человеку) в год на каждый крестьянский дым[13].

---

[1] «Акты Виленской Археографической Комиссии», т. XIV, стр. 315.

[2] В некоторых имениях Витебской губернии в дополнение к згонам существовали еще уроки. Так назывались дополнительные рабочие дни, назначенные специально для уборки сена (См. «Акт. Вил. Ком.», т. XXXV, № 3, 44, 47, 53, 58 и 65).

[3] Ibid., № 53.

[4] Ibid., № 68 и др.

[5] Ibid., № 81.

[6] Ibid., № 30.

[7] Ibid., № 2.

[8] Ibid., № 10.

[9] Ibid., № 52.

[10] Ibid., № 62.

[11] Ibid., № 5

[12] Ibid., № 54.

[13] Ibid., предисловие, стр. XVIII.

Кроме гвалтов на крестьян возлагалось немало второстепенных дополнительных работ, из которых самую распространенную составляла молотьба. Почти во всех имениях крестьяне обязаны были ходить на молотьбу небольшими группами, «хоть бы и по два раза в неделю»[1], до тех пор, пока не будет вымолочен весь господский хлеб. Эта повинность обыкновенно отбывалась поздней осенью и зимой, а так как дни в это время года бывают короче летних, то работа должна была производиться ночью (już nie dni, ale nocy do molodzby isć powinni[2]. Иногда крестьяне обязаны были являться на молотьбу со своими дровами и предварительно высушивать господский хлеб в овине[3]. По окончании ночной молотьбы крестьяне не всегда отпускались домой, в некоторых имениях они обязаны были исполнять во дворе разные работы с лошадью еще и днем (do mlocenia o kurach, we dnie robocizna z koniem do czego dwor każe[4]). Не менее распространенную повинность составляли *сторожа* (straź, stróźozszczyzna) и *ночная стража* (warta, ponocne), которые существовали во всех имениях. Сторожей называлась обязанность крестьян являться по очереди во двор помещика на неделю для исполнения разных домашних работ; ночной же стражей была повинность охранять господский двор ночью, чередуясь каждую ночь. Сторожу крестьяне отбывали в небольших имениях по одному, в более значительных — по два, по три и более человек[5], а стражу — всегда по одному человеку. Такую же постоянную повинность составляла обязанность крестьян отвозить господский хлеб на мельницу и в места его сбыта, иногда верст за 100, 200 и более. Вообще крестьяне обязаны были выполнять сверх барщины множество самых разнообразных работ. Так, они должны были починять дворовые постройки и мельницы, возить дрова, исправлять плотины, мосты и дороги, ловить рыбу, являться на облаву, иногда со своими сетями, заготовлять волчьи ямы, приготовлять для помещика солод, делать крупу, возить в ледник лед, выжигать золу, чистить трубы и т. д. В то же время жены крестьян обязаны были, сверх барщины и гвалтов, приготовлять на господском огороде грядки, садить и поливать капусту, полоть, прясть, ткать, стирать белье, стлать лен, мыть и стрич овец и т. д.

Количество дополнительных рабочих дней почти никогда не обозначалось в инвентарях, и помещики оставляли за собою право требовать их столько, сколько понадобится. Например, в имениях Шолкове и Шовкове Вилкомирского повета крестьяне должны были отбывать гвалты «по соображению двора» (podług umiarkowania dwornego), подводы назначал помещик по «своей воле и желанию» (podług woli y upodobania), а все другие повинности зависели от «неограниченной воли» (absolutney woli) владельца[6]. Еще меньше определенности существовало относительно женских повинностей. В некоторых инвентарях прямо сказано, что крестьянки должны были приходить на господскую работу столько раз, сколько нужно будет (tyle razy, ile tego potrzeba będzie wyciągała[7], и отбывать такие повинности, какие двор потребует (iakie ieno dwor potrebowac będzie[8]. Ввиду такого произвола помещиков в требовании от крестьян рабочих дней очень трудно установить их общее число, но на основании многих инвентарей второй половины XVIII века можно принять в среднем выводе до 40 второстепенных (кроме гвалтов) *дополнительных рабочих дней*, падавших на каждый крестьянский дым в течение года.

---

[1] Ibid., № 2.
[2] Ibid., № 76.
[3] Ibid., № 2.
[4] Ibid., № 67.
[5] Иногда крестьян обязывали нанимать на свой счет сторожа и сторожиху на целый год. Ibid., № 35.
[6] «Вилен. Центр. Арх.», кн. № 13944, л. 846. См. также «Акты Вил. Арх. Ком.», т. XXXM, № 42, 45, 86 и др.
[7] «Акты Вил. Арх. Ком.», т. XXXV, № 55.
[8] Ibid., № 16.

4) Незаисимо от барщины и всевозможных дополнительных рабочих дней крестьяне обязаны были вносить своему помещику разные *денежные платежи*, из которых наиболее постоянными были: чинш, подорощизна и подымное.

Чинш взимался не только за платные уволоки, но и за тяглые. Размер этого налога отличался большим разнообразием: не только в разных имениях, но часто в одном и том же он был далеко не одинаков, а где изделная повинность была очень высока, его и совсем не было. Например, в имении Ледце Витебской губернии в 1775 г. с 1 куничной уволоки крестьяне ежегодно платили чинша по 8 руб. или по 80 золотых русских, а с 1 глухокуничной, т. е. такой, за которую не полагалось не только барщины, но и дополнительных рабочих дней, платили по 10 рублей[1]; в имении Торольдах Ковенской губернии в 1784 году платили с ¼ уволоки приемной по 25 злотых[2]; в имении Самсонове Виленской губернии в 1756 году платили с 1 уволоки тяглой по 2 злотых[3]; в имении Сорах той же губернии в 1782 году с 1 уволоки тяглой платили по 20 золотых и 20 грошей[4]; в имении Савиничах Могилевской губернии в 1771 году с ¼ уволоки тяглой платили по 36 злотых[5]; в имении Дубое Минской губернии в 1773 году с 1 уволоки тяглой платили по 9 злотых и с 1 уволоки приемной по 15—21 злотому[6]. Несмотря, однако, на такое разнообразие в количестве платимого крестьянами чинша, на основании инвентарей размер его для второй половины XVIII века можно принять в среднем выводе по 80 злотых для уволок платных и по 10 злотых для уволок тяглых в год[7].

Поставка подвод крестьянами своим помещикам принадлежала к числу самых обычных повинностей, но в некоторых имениях разрешалось за подводы вносить определенную сумму денег, которая называлась **подорощизной.** Например, за одну подводу в Ригу взималась следующая подорощизна: в имении Самсонов Ошмянского повета — по 8 злотых[8], в им. Сорах того же повета, — по 24 злотых[9], в им. Островщизне Вилкомирского повета — по 16 злотых[10] и в им. Лососине Витебского повета — по 6 рублей[11]. Впрочем, подорощизна в Северо-Западном крае принадлежала к числу платежей мало распространенных, а преобладала поставка подвод в натуре. Стоимость этой повинности во второй половине XVIII в. можно определить, на основании инвентарей, приблизительно в 10 злотых в год с каждого дыма.

Подымным называлась государственная подать, которая взималась ежегодно с каждого крестьянского дыма. Размер ее определялся особыми постановлениями сейма. Ввиду этого условия подымное за известный период времени должно было бы взиматься в одном и том же размере, но на практике этого не было: не только в разных, а даже в одних и тех же имениях налог этот был далеко не одинаков. Например, в имении Мейшаголе Виленского повета в 1753 году было 28 крестьян, из которых 6 платили по 2 зл., 1 — 3 зл., 11 — по 4 зл., 3 — по 6 зл. и 7 — по 8 зл. в год[12]; в имении Венгрове Вилкомирского повета в 1761 году крестьяне платили подымного по 2 злотых[13]; в имении Светлянах Ошмянского повета в 1784 году — по 6 злотых[14] и в имении Репшах Тельшевского повета в 1785 году — по 12 злотых[15]. Такое разнообразие в уплате подымного указывает на то, что некоторые помещи-

[1] Ibid., № 53.
[2] Ibid., № 78.
[3] Ibid., № 10.
[4] Ibid., № 73.
[5] Ibid., № 36.
[6] Ibid., № 46.
[7] Ibid., предисловие, стр. XXI.
[8] Ibid., № 10.
[9] Ibid., № 73.
[10] Ibid., № 76.
[11] Ibid., № 62.
[12] Ibid., № 4.
[13] Ibid., № 21.
[14] Ibid., № 77.
[15] Ibid., № 79.

ки, пользуясь государственною податью, устанавливали известный налог и в свою пользу. Размер такого подымного во второй половине XVIII века можно принять в среднем выводе по 5 злотых в год с каждого крестьянского дыма.

Кроме перечисленных платежей в некоторых инвентарях встречаются еще и другие, как, например, *куница* — налог за выход замуж вдов и девушек[1], за *дробь* — налог за мелкую птицу, *грошовое* — по одному грошу от каждого уплачиваемого помещику злотого, *вепровщина*, *роговое*, *воловщина*, *торговое*, *весчее*, или *ваговое*, *померное*, *погребельное*, *пороховое*, *облавщина* и т. д.

5. Дань *натурою* известна была в Северо-Западном крае под названием **дякла** и касалась всех предметов крестьянского хозяйства. Обыкновенно крестьяне обязаны были доставлять своему помещику в установленном последнем количестве следующие предметы: рожь, овес, ячмень, хмель, лен, пеньку, сено, тальки, или мотки, полотно, гусей, кур, каплунов, яловиц, баранов, грибы, орехи, ягоды, мед, рыбу, лыко, дрова, дрань, сети, маты, или циновки, мешки, колеса и т. п. Иногда помещиками требовались такие предметы, которые крестьянами не изготовлялись, а покупались, как, например, кошениль[2]. Но наиболее распространенными видами дани все-таки были обычные предметы крестьянского хозяйства, как зерновой хлеб, домашняя птица и мед. Размер дани с отдельного крестьянского хозяйства определялся следующим образом: ржи, овса и хмеля — от 2 до 4 осьмин; грибов — от 1 до 2 коп или 2 венка; орехов и ягод — от 1 до 2 гарнцев[3]; кур и каплунов — от 1 до 2 штук; гусей — от $^1/_2$ до 1 штуки, яиц — от 5 до 30 штук; талек — от 1 до 2 и более; льну — около 10 связок; полотна — от 2 до 4 локтей; сетей — от $1^1/_2$ до 20 саженей; лык — около 1 копы витушек; драни — около 2 коп; дров и сена — от 1 до 2 возов и меду — половину[4]. Последний представлял для помещиков особый интерес, потому что они брали себе не только одну часть всего сбора, но нередко оставляли за собою право требовать от крестьян за известную плату и другую. По-видимому, этот обычай был значительно распространен, так как опытные хозяева иезуиты, владевшие в Пинском повете обширным имением Дубой, нашли нужным включить в свой инвентарь условие, «что доставшейся крестьянам части меда двор не будет отнимать (odbierac nie będzie), а предоставляет полную свободу продавать кому угодно»[5]. Перечисленные виды дани не все были обязательны для каждого крестьянского хозяйства. В одних имениях не существовало дани зерновым хлебом, в других — каплунами, в третьих — дровами, в четвертых — сеном и т. д., но если подвести итог той дани, которую вносили крестьяне большинства имений, то стоимость ее во второй половине XVIII века можно определить в 10 злотых для каждого отдельного крестьянского хозяйства[6].

В числе доходов помещика была еще **пропинация**, которая состояла не только в праве торговли крепкими напитками, но и в запрещении крестьянам покупать их где-либо на стороне. Вот как об этом сказано в арендном листе на имение Микитичи Луцкого повета от 1607 года: «Питя вшелякого на потребы свои нигде инде не брать, а ни привозить, кроме корчем помененных; а где бы которого досведчено с тем за слушным доводом, мает заплатить вины на мене и на арендара три копы грошей литовских. Также пива волные в тых маетностях моих быть

---

[1] В имении Худовец Ошмянского повета за выход замуж девушки в том же самом имении куница определена была в один шостак и курицу, а за выход в чужое имение — в один рубль (Вил. Центр. Арх., кн. № 15479, л. 521).

[2] Ibid., № 35.

[3] В случае неурожая грибов, ягод и орехов в некоторых имениях крестьяне обязаны были платить за них, по условию с двором, курами («Акты Вил. Арх. Ком.», т. XXXV, № 23).

[4] Меду крестьяне должны были давать половину не только от осеннего сбора, но и от весеннего, т. е. от пропавших за зиму пчел (tudzież na wiosnę z odpadłych y podmiatanych pszczoł miod y wosk po połowie do dworu przy widzu dawac maią). «Акты Вил. Арх. Ком.», т. XXXV, № 80.

[5] Ibid., № 46.

[6] Ibid., предисловие, стр. XXIV.

не мают, опроч весел (свадеб), и то за ведомостю арендаров, от которых броварщизны повинен заплатить грошей дванадцать и мерку солодовую»[1]. Нередко за покупку крепких напитков в посторонних корчмах крестьяне подвергались не только штрафу, но и побоям. Так, в имении виленского епископа Массальского Германишках Ошмянского повета уличенные в этом «преступлении» крестьяне наказывались тридцатью ударами и платили по 4 злотых штрафа[2], а в имении Семятичах Дорогичинского повета за привоз крепких напитков из чужого поместья крестьянин подвергался штрафу и 100 ударам на рынке[3]. Вообще пропинация была страшным бедствием для крестьян как в Польше, так и в Западной Руси. «Кроме работы на барщине, — говорит один историк, — кроме всевозможных прямых повинностей и даней, существовали еще косвенные средства эксплуатации его труда и имущества, из которых самым распространенным и в то же время самым тяжелым для крестьян была пропинация. Помещик обязывал своих крестьян брать у него или его арендатора известное количество крепких напитков, хотя бы вообще они не пили. Этот обычай, делавший источником панского дохода пьянство хлопов, должен был, конечно, самым губительным образом влиять на народное хозяйство, прививая крестьянам вредную привычку. Результатом его во многих местностях явилось повальное пьянство крестьян, при котором и без того не имевшие особых средств хлопы теряли последнее достояние»[4].

Кроме пропинации были еще и другие *монополии*. В некоторых имениях крестьяне обязаны были покупать все необходимое для них, как соль, сельди, косы, лемехи, только у своих владельцев; некоторые припасы, например, соль, предписывалось приобретать непременно в установленном на каждую семью количестве; запрещалось также крестьянину продавать его хозяйственные произведения кому-либо другому, кроме своего владельца или еврея арендатора[5].

Установив приблизительно виды и количество разных повинностей, падавших на каждое крестьянское хозяйство, подведем им общий итог, принимая за общую меру стоимость рабочих дней. Барщину крестьяне отбывали в год с пол-уволоки пахотной и сенокосной земли 190 дней, стоимостью в 9 руб. 50 коп.[6]; гвалтов и других дополнительных, или сверхбарщинных, рабочих дней — 76, стоимостью в 3 руб. 80 коп.; чинша, подорощизны и подымного платили 4 руб. 25 коп., что составит 30 рабочих дней. Сложивши все эти итоги, получим 381 рабочий день стоимостью в 19 рублей 5 коп. Эти цифры и будут выражать собою степень экономической зависимости крестьян от помещиков в Северо-Западном крае во второй половине XVIII века.

Теперь перейдем к определению крестьянских повинностей в Юго-Западной России за тот же период времени. По исследованию профессора В. Б. Антоно-

---

[1] «Арх. Юго-Зап. России», ч. VI, т. I, стр. 343.

[2] Вилен. Центр. Арх., кн. № 4066.

[3] «Rolnicza ludnoćś w Polsce». T. X-cia L. (Любомирского). Warszawa, 1862 г., стр. 59.

[4] В. Мякотин: «Крестьянский вопрос в Польше в эпоху ее разделов», стр. 72. Этот же историк приводит, со слов одного польского писателя, следующий факт относительно пропинации в Польше, прекрасно характеризующий заботы панов об этой статье доходов: «Случилось раз, что в одну деревню приехал комиссар и на прогулке с экономом увидел густые толпы крестьян. Он спросил эконома, что это значит, и получил ответ, что там находится очень хороший источник, к которому крестьяне собираются пить воду. Тогда комиссар приказал разогнать крестьян, а упорных бить, опасаясь, чтобы чрез это не пострадала панская пропинация».

[5] См. соч. В. И. Семеновского: «Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II», т. II, стр. 94. Иногда крестьянам разрешалась свобода торговли за известные налоги. Например, крестьяне Якунского староства Ошмянского повета ежегодно платили двору по 3 злотых и за это получали право продавать свои товары где угодно («Акты Вил. Арх. Ком.», т. XXXV, № 92).

[6] Здесь оценка рабочего дня принята в 10 грошей, но в 90-х годах XVIII столетия она возвысилась до 15 грошей за мужской рабочий день и до 10 грошей за женский (Вил. Центр. Арх., кн. № 4228).

вича, в конце XVIII века на Волыни количество *барщины* равнялось 4 дням в неделю с каждого крестьянского хозяйства (размер крестьянских участков не известен). Дополнительные, или сверхбарщинные, рабочие дни носили здесь следующие названия: *толоки*, *шарварки*, *зажинки*, *обжинки*, *закоски*, *обкоски*, *заорки* и *оборки*. Толоки были обязательною работою, но за угощение; впрочем, давать угощение во время каждой толоки помещики весьма скоро нашли лишним, поэтому явилось деление толок на мокрыня, т. е. с угощением водкою, и сухие — без угощения. Шарварки прикрывались предлогом общественной нужды и служили для починки дорог, мостов или вместо них экономических построек. Зажинки, обжинки, закоски и др. составляли как бы общую надбавку к обыкновенным полевым работам, приставленную в начале и конце каждого отдела этих работ. Кроме перечисленных рабочих дней помещики возлагали еще на крестьян различные хозяйственные работы, обусловливаемые исполнением известной задачи, например, приготовить огород, посадить капусту, полоть огород, пшеницу и просо, давать по очереди к господскому двору сторожу и т. п. К концу XVIII века это количество повинностей показалось помещикам недостаточным, и они увеличивали число дополнительных рабочих дней под самыми странными предлогами; так, в инвентаре 1792 года мы находим, что крестьяне помимо толок, шарварок и других работ отбывали помещику еще по 4 дня в год за право пользования лесными продуктами: 1 день за берест (березовую кору), 1 день за рыжики, 1 день за опенки и 1 день за ландыши. *Денежные платежи* взимались под названием чинша (от 1 до 8 злотых) и подорощизны (также до 8 злотых); последняя дань могла быть взимаема натурою, т. е. крестьянин должен был взамен ее доставлять, по указанию своего владельца и по его оценке стоимости извоза, хлеб и другие продукты в места их сбыта. *Дань натурою* распространялась на все предметы крестьянского хозяйства, но наиболее постоянные и важнейшие ее виды составляли: осеп, или дань зерновым хлебом, которая приносилась крестьянами в виде известного количества ржи (от 1 до 4 осьмин) и овса (от 1 до 2 осьмин); десятина от кур и яиц и десятина от льна и пеньки, известная под названием мотков. К этой дани, смотря по ходу крестьянского хозяйства и по свойству местности, прибавлялись и другие предметы: то взималась десятина с гусей, то известное количество хмеля и грибов, то пчельная десятина, т. е. десятый улей, оцениваемый обыкновенно в 8 злотых; но если количество пчел, принадлежавших крестьянину, было менее 10 колод, то вместо пчельной десятины крестьяне платили очковое, т. е. по 15 грошей от каждой колоды.

Всех повинностей в общем итоге было: рабочих дней 240, стоимостью в 80 злотых; чинша и подорощизны 16 злотых, стоимостью в 48 рабочих дней, и дани натурою на 11 злотых, стоимостью в 33 рабочих дня. Следовательно, всех работ и поборов с крестьянского хозяйства, если их перевести на рабочие дни, было на Волыни в конце XVIII века 321рабочий день, стоимостью в 107 злотых, или 16 руб. 5 коп.[1]

Из этих данных видно, что на Волыни повинности крестьян были легче, чем в Северо-Западном крае России. Это объясняется тем, что из Волыни возможны были побеги крестьян в соседнюю Украину, где население было очень редко; что же касается самой Украины, т. е. южной части губерний Киевской и Подольской, то здесь повинности крестьян были еще легче, так как помещики желали побольше привлечь поселенцев на свои свободные земли[2].

Окончание следует.

[1] «Архив Юго-Запад. России», ч. VI, т. II, предисловие В. Б. Антоновича, стр. 41—45.

[2] Ibid., стр. 51.

ДЕНИС МАРТИНОВИЧ

«Донжуанский список» Короткевича

Общеизвестно, что большая часть произведений мировой литературы создавалась мужчинами. Признание творческих способностей женщин (Жорж Санд, Шарлотта Бронте, Маргарет Митчелл и других) является скорее исключением, чем правилом. Но сторонники литературного «патриархата» забывают, что все лучшие «мужские» произведения были написаны о женщинах и ради женщин. Их портреты и образы, взаимная любовь или холодное безразличие вдохновляли писателей на создание шедевров.

Да, знаменитых женщин, муз из прошедших столетий, давно нет на свете. А возлюбленные известных творцов XX века приближаются к осени своей жизни. Но писатели сделали им самый лучший подарок: оставили для потомков их облик, чувства и улыбки. А также взяли с собой в вечность героинь, прототипами которых стали музы.

Теперь наша задача — оставить в читательской памяти их настоящие имена и судьбы.

Зачем нам «Донжуанский список»?

В чем видится положительная сторона такого документа? Он привлекает внимание к личности автора. Помогает выяснить прототипы героев в прозаических и поэтических произведениях. Уточнить, кто вдохновлял поэта на создание того или иного шедевра. Познакомить читателей с судьбами женщин, которых любил известный писатель. А также выделить определенные хронологические этапы в творчестве. Не зря среди искусствоведов существует традиция выделять в биографии некоторых художников периоды, напрямую связанные с их личной жизнью. Например, именно так многие исследователи воспринимают творчество Пабло Пикассо, когда каждый новый период («голубой», «розовый», кубизм и т. д.) был связан с появлением в его жизни новой музы.

Стремлением решить хотя бы некоторые из обозначенных задач и объясняется создание автором этих строк исследования под названием «“Донжуанский список” Короткевича». Поскольку тема личной жизни каждого творца является чрезвычайно деликатной, я использовал два подхода. Первый, «документальный», основан на воспоминаниях и эпистолярном наследии, которые ни у кого не вызывают возражений.

Второй подход можно условно назвать методом внимательного чтения текста, когда акцент делается на биографиях главных героев произведения и их сходстве или совпадении с реальной биографией писателя. Риск тут, конечно, большой: попробуй понять, что правда, а что проявление богатой фантазии автора. Одна ошибка может направить ход исследования не в ту сторону. Таким образом, второй подход превращается для некоторых любителей изящной словесности в настоящую игру, своеобразное разгадывание ребусов или кроссвордов. Одновре-

менно это настоящая «охота» за прототипом главного героя или героини с обязательными для этого жанра элементами: преследованиями, засадами и погонями. Чтобы не заблудиться на такой «охоте», автор этих строк стремился по возможности совмещать два подхода.

Заметим, что «Донжуанский список» Пушкина состоял из двух столбцов. Согласно мнению исследователей, первый включал имена женщин, которых поэт любил сильно, второй — тех, кем только восхищался. На мой взгляд, «Донжуанский список» Короткевича может выглядеть следующим образом:

1. «Нонка»
2. Екатерина
3. «Алёнка»
4. С. М.
5. Раиса
6. Нина
7. Новелла
8. Нателла
9. Валентина
10. Валентина[1]

Кавычки означают, что точные имя и фамилия объекта внимания неизвестны, поэтому употребляется имя героини, через образ которой она появилась в произведениях. В этом номере журнала речь пойдет о четырех первых «пунктах».

Личности девушек, которых любил Короткевич в годы юношества и молодости (в «Списке» они идут под номерами 1, 3 и 4), помогут расшифровать два его письма, отправленные в январе 1955-го и феврале 1957 года своему другу Юрию Гальперину. В них Короткевич упоминает о трех историях любви. В письме от 27 января 1955 года он спрашивает: *«Скоро там Стась и Валька* (друзья писателя по Орше. — *Д. М.*) *поженятся? Повезло им. А я никак не могу отыскать такую девушку, чтоб решиться потерять свободу. Были три. Из них одна уехала, 2*[я] *— не любила меня (а может, и да, но получилась какая-то ерунда), об этой истории Валька хорошо знает, мы с ним дружить начали из-за ссоры по этому поводу; 3*[я] *— э, да ладно, чего толковать. Пока что жениться не на ком»* (Белорусский архив-музей литературы и искусства — далее БелДАМЛМ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 11. Л. 6 об.). Более подробная информация содержится в письме от 5 февраля 1957 года: *«Я дважды любил взаимно — одна уехала, вторая — умерла, и я не знал обеих так, как желал. А в других случаях те, кто любили меня, были мне безразличны, а те, которых любил я, наверное, не любили меня. И была одна в Киеве».* Попробуем разобраться в личностях людей, о которых шла речь.

«Нонка»

Девушка с таким именем (Нонка Юницкая) является главной героиней повести Владимира Короткевича «Листья каштанов». Друзья и приятели, хорошо знавшие писателя, единодушно свидетельствовали об автобиографическом характере произведения. Исследователь Анатоль Верабей писал в своей книге «Абуджаная памяць», что повесть являлась одним из *«самых автобиографических произведений»* Владимира Семеновича. Василь Быков отмечал в предисловии к двухтомнику Короткевича: *«Это одно из самых автобиографических произведений писателя, созданное на материале первых послевоенных лет, проведенных им в Киеве. Точно и легко выписанные образы юношей и девушек большого города с его нелегким послевоенным бытом основываются на определенных прототи-*

[1] На мой взгляд, «Нонку», «Алёнку», С. М. , Нину и вторую из Валентин надо отнести к первому столбцу. Екатерину, Раису и первую из Валентин — ко второму. Что касается Новеллы и Нателлы — вопрос пока остается открытым.

пах, и даже трагический финал повести взят из жизни, построен на основе конкретного факта». В пользу этого свидетельствуют и ряд совпадений между биографиями автора и героя.

Например, в автобиографии «Дарога, якую прайшоў» Короткевич писал: *«А потом началась война. Бомбежки. Эшелоны. Чувство беспомощности подростка, (...). Бунтовал против этого чувства. Несколько раз убегал из интерната на фронт. Задерживали, конечно. А из интерната потому, что случилась обычная на войне вещь: долгое время не знал, где родители и живы ли они вообще, а если живы, то где, за линией фронта или успели эвакуироваться. Был сначала в Москве, потом на Рязанщине. Потом пришлось убегать и оттуда. На Урал, в окрестности Кунгура. Случайно узнал, что родители в Оренбурге. С большими трудностями (без пропуска и билета) добрался до них. В Оренбурге закончил шестой класс. Потом недавно освобожденный Киев (Беларусь еще была оккупирована)».* А вот отрывок из повести «Листья каштанов»: *«Общежитие на Урале, несколько безуспешных побегов. Наконец убежал совсем и несколько месяцев беспризорничал. Воровал, правда, только в чужих огородах. Доходило до того, что пас в северном Казахстане верблюдов — хотите — верьте, хотите — нет. Чудом отыскал родителей. (...). Потом были освобождены два небольших клочка Беларуси, и «предка» моего послали на освобожденную территорию, куда-то под Лиозно. (...). Как раз в тот момент проезжал через наш город мой дядя, которого перевели с Далекого Востока на фронт, и взял нас с собою в большой южный город, от которого немцы откатились дальше, чем от Лиозно».* Заметим, сколько общего в обеих цитатах! Значит, основные события повести действительно были взяты из жизни.

Одна из сюжетных линий «Листья каштанов» — любовь между главным героем Василькой Стасевичем и Нонкой Юницкой. В произведении ее портрет выглядит следующим образам: *«Девчонка лет пятнадцати. Склонилась, почесывая очень длинные, поцарапанные ноги шоколадного цвета, потом потерла коленкой о коленку, вскинула голову — черно-бурые волосы тяжелой волной отлетели назад — и улыбнулась мне, и я увидел темно-синие глаза с ненатурально огромными, безумно веселыми черными зрачками».* О речи героини Короткевич писал так: *«Это был тот южный жаргон, на котором разговаривают большие черноморские портовые города. У меня нет ни силы, ни умения, ни, честно говоря, желания передавать все эти тропы, идиомы, всю бесконечность живых интонаций. Но это и невозможно, потому что больше, чем слова, тут значили южные жесты, мимика, движения всего тела. Это было — ужас как «по-молдавански» и удивительно, ужас как красиво. Да и тип ее, если разобраться, был удивительный. Тут тебе и украинская, и молдавская, а может, и капля цыганской крови».*

Почему автор этих строк уверен, что у Нонки был реальный прототип? В обоих письмах, цитировавшихся выше, упоминается уехавшая девушка (*«из них одна уехала»*, *«одна уехала»*). Для повести характерен именно такой финал. Нонка и Василька чудом остаются живы (остальные герои из их компании подрываются на минах: они искали оружие, чтобы сбежать на фронт) и уезжают из Киева. Полагаю, то же произошло и с их прототипами. Короткевич, как известно, отправился в Оршу, реальная Нонка уехала в неизвестном для нас направлении. Если бы девушка осталась в городе, она могла бы встретиться с Владимиром, когда тот учился в Киевском университете. Кстати, одной из причин поступления туда будущего писателя могло стать желание отыскать реальную Нонку. Ведь, возможно, она хотела вернуться в город своей юности.

Для объективности замечу, что в эпилоге произведения герои встречаются в Киеве через годы и женятся. Но скорее всего, он был придуман, а писатель и девушка, ставшая прототипом Нонки, никогда больше не увиделись. Период взаимоотношений Владимира и реальной героини можно датировать 1944 годом, когда он жил у тетки в Киеве.

Екатерина

Вернувшись в Оршу после войны, Короткевич пошел в 8-й класс местной школы № 1. Литературу у него преподавала Екатерина Ивановна Гриневич, которой в то время исполнилось 28 лет. Вместе с учениками она выпускала рукописный литературный альманах, автором которого был и Владимир, а также организовала драматический кружок. Одной из постановок стал «Ревизор», в которой будущий писатель исполнил роль Добчинского.

Леонид Кригман, одноклассник Короткевича, вспоминал: *«Все парни нашего класса были влюблены в нашу учительницу литературы. Но сильнее всех Володя. Однажды мы с Юриком* (Юрий Падва, их одноклассник. — *Д. М.*) *залезли на сеновал, где Володя обычно писал и прятал свои произведения. Мы нашли его тетрадь со стихотворениями и взяли ее. Там были романтичные стихи, посвященные Екатерине Ивановне. Дело почти дошло до драки, когда Володя узнал о краже. Он не разговаривал с нами целый месяц. Но потом мы опять стали неразлучными друзьями».*

Полагаю, тут можно говорить скорее о юношеском восхищении, чем о любви. Вспомним: тот же Пушкин без сомнений включил в свой «Донжуанский список» жену Николая Карамзина. Поэтому полагаю, что имя Екатерины Ивановны также должно быть внесено в «список». Согласно свидетельствам Леонида Кригмана, Короткевич переписывался со своей учительницей до конца жизни. В начала 1990-х годов Екатерина Ивановна жила в Костромской области. Дальнейшая ее судьба, а также другие подробности биографии, пока что остаются неизвестными.

«Алёнка»

Девушка, которую звали Алёнка, действует сразу в двух прозаических произведениях Короткевича. Это повесть «У снягах драмае вясна» и роман «Нельга забыць» («Леаніды не вернуцца да Зямлі»). В этой части речь пойдет только об Алёнке из романа (причины будут объяснены ниже).

Согласно сюжету произведения, главный герой Андрей Гринкевич был знаком с Алёнкой Столич еще в детстве. Потом они очень долго не виделись и встретились уже молодыми людьми. Влюбились и решили пожениться. Но их счастье было недолгим: девушка погибла в автомобильной катастрофе.

В поэме «Плошча Маякоўскага», которая была включена в роман «Леаніды не вернуцца да Зямлі», Короткевич писал:

Любая, ты памятаеш, была вясна.
Вясна на гэтай зямлі?
Проста ў машыну ляцела сасна,
У неба ўзняўшы крылы галін.

Определенное время я считал такой сюжетный поворот произведения литературным приемом, который объяснял, почему Гринкевич до встречи с московской преподавательницей Ириной Горевой жил *«как во сне»* и никого не любил. Поэтому особенно ужаснула строчка в письме Короткевича к Янке Брылю от 29 февраля 1960 года: *«Знаете, мне никогда не везло с большой любовью. (...). Два раза пришло ко мне настоящее. И однажды оно погибло во время автокатастрофы на шоссе Минск — Орша».*

А теперь обратимся к двум письмам Короткевича, адресованным Юрию Гальперину. На первый взгляд, там содержится противоречивая информация. В первом письме обстоятельства не слишком понятны: *«2-я — не любила меня (а может, и да, но получилась какая-то ерунда), об этой истории Валька хорошо знает, мы с ним дружить начали из-за ссоры по этому поводу»*. Во втором пись-

ме утверждается, что девушка умерла. Но при дальнейшем анализе все становится понятно. Упоминание об оршанском друге писателя Валентине Кравце свидетельствуют, что эта история связана с Оршей. В свое время бард Змицер Бартосик записал воспоминания Валентина Кравца для одной из радиопередач. Согласно словам ведущего, друзей «*...свел случай. Сам того не зная, Валентин Кравец стал соперником Короткевича в любовном треугольнике. Однажды Валентин проводил домой понравившуюся девушку, в которую, как выяснилось позже, был влюблен и Владимир».* Как вспоминал Кривец: *«Одним чудным вечером я шел, а с Вовкой мы были почти врагами, мы не разговаривали, два соперника. А когда я оказался брошен, я шел через дом Володи Короткевича, а домик у них был небольшой, деревянный домик. Там лежало большое бревно, на котором сидел Володька и о чем-то думал. Проходя мимо, я спросил: «У тебя спички есть?» Он говорит: «Есть». Я подошел, закурили. Слово за слово, и начали мы... «Что такое «Я»? Известный философский вопрос. И мы проговорили с ним несколько часов. Я ему рассказал о своем несчастье. Короче, с этого момента началась наша дружба».*

Что касается разной информации в двух письмах, то на момент написания первого из них (1955) Короткевич давно не виделся с «Алёнкой». На момент написания второго (1957) девушка погибла. Поскольку финал истории, описанной в романе, соответствует действительности, можно признать достоверными и другие события, которые воссоздаются в произведении.

Интересно, что девушка по имени Алёнка упоминается еще в одном стихотворении Короткевича — «Баладзе аб нашэсцях», помещенном в сборнике «Мая Іліяда». В произведении рассказывается о девушке из Приднепровья, которую завоеватели принесли в жертву. Остается только догадываться, имеет ли этот образ связь с реальной Аленкой.

На мой взгляд, взаимоотношения будущего писателя с этой особой необходимо разделить на два периода. Начало первого неизвестно. Его финал стоит ограничить как минимум 1949 годом (время отъезда на учебу в Киев), а как максимум — 1941-м (в случае, если дружеские отношения длились до войны). Второй имел место в 1955—1956-х годах.

С. М.

Что касается третьей героини «Донжуанского списка», то удалось отыскать ее инициалы. Девушку звали С. М. Впрочем, обо всем по порядку.

Знакомство с образом этой героини произошло для меня на страницах повести «У снягах драмае вясна», написанной в 1957 году. Сестра Короткевича, Наталья Семеновна, нашла ее в писательском архиве в Орше перед самой смертью писателя. Для того времени повесть была чересчур смелой вещью, которая решительно осуждала проявления сталинщины в общественной жизни, потому при жизни Короткевича она не печаталась. Сюжет произведения кратко можно очертить так. Студент Владислав Бересневич полюбил Алёнку. Она ответила взаимностью на его чувство. Перед Владиславом открывались перспективы научной карьеры: он был одним из реальных кандидатов на зачисление в аспирантуру. Но карьерист Пятрусь Маркич организовал против Бересневича показательный процесс, где звучали традиционные для того времени обвинения (шел 1952 год). Поверив в обман, Алёнка отреклась от любимого, а тот был вынужден оставить университет и уехать учителем в деревню. И только через несколько лет Бересневич встречается с Алёнкой. Они понимают, что их любовь не угасла, и договариваются встретиться опять, чтобы, возможно, не расстаться уже никогда.

В какой степени этот сюжет совпадает с реальностью? Опять обратимся к письмам Короткевича, адресованным Юрию Гальперину. В первом из них ситуация неопределенная: *«З^{я} — э, да ладно, чего толковать».* А вот второе письмо

расставляет все точки над «і»: *«И была одна в Киеве. (...). Ну я знаю, для других она другая, а для меня* ***та самая*** (выделено Короткевичем. — *Д. М.*). *Она была моим хорошим другом. (...). Мать у нее строгая была, хотела для единственной дочери самого лучшего, будь я аспирантом — и разговору бы не было бы. А я обострил со всеми отношения, высек стихами многих начальников из университета. Я не жалею, но не стоили они такой моей жертвы. (...). А тут еще помог друг и догадался пустить между нами черную кошку. И была обидчивость, и была космическая, невероятная, страшная глупость. Почему не остался, почему не убедил, почему? Ждал все, вот явлюсь и брошу книгу. (...). И вот сегодня получаю письмо от ее подруги, и там «узаконили свои взаимоотношения С. М. (это она) и Миша»* (БелДАМЛМ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 13. Л. 4, 4 об.).

В том же феврале 1957 года Короткевич еще раз рассказал эту историю своему другу: *«Еще в университете был влюблен в чудеснейшего человека. Это была короткая история: кончилась тем, что нам насплетничали один на одного, было много неприятного, трагического. Ей было тем легче отвернуться от меня, что о моем отношении к ней она не знала, в лучшем случае могла догадываться»* (БелДАМЛМ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 13. Л. 8, 8 об.).

Фактически процитированные моменты целиком повторяют сюжет в повести «У снягах драмае вясна». История любви Короткевича и С. М. нашла свое отражение и в поэзии. Будет очень уместно обратиться к сборнику поэзии «Матчына душа», страницы которого буквально дышат любовью. По воле поэта эти произведения собрались на последних страницах книги:

Але затое так яскрава бачу:
Пакой, Чайкоўскі хмуры на сцяне,
Раяль пра нешта дарагое плача
І прывіды каштанаў у акне.
(...)
Есць дробязі, што поўныя значэння:
Каханне першае растопіць лёд
І нават палавік у цёмных сенях
Век памятны, як казкі першых год.
Мо толькі для таго яно прыходзіць,
Каб мы запамяталі на вякі,
Як пахнуць рыбаю начныя воды,
Як у траве мігаюць светлякі.
(«Зімняя элегія»).

Разве не очевидная связь процитированных музыкально-поэтических фрагментов с повестью, с другими прозаическими фрагментами? Тем более что Алёнка серьезно занималась музыкой в консерватории.

Историю своей любви Короткевич помнил всю жизнь. Не зря в книге «Быў. Ёсць. Буду», над которой писатель работал в конце жизни, помещено стихотворение «Юнацтва маё»:

О юнацтва маё! Як забуду цябе?
І догмы, навука, тлум...
«Piramus et Thisbe...
Piramus et Thisbe...
Piramus et Thisbe
Iuvenum...»
Як забуду?
Завея акацый мяла
Квецень на вулках крывых.
Ты была, мая Цізба, была, была,
Пажаданая больш за ўсіх.
Радасны боль, нясцерпны, як шкло
Між сэрцам маім і тваім...
І ніколі такога ні з кім не было

І не будзе ніколі ні з кім.
І развёў нас не леў і не востры кінжал,
Не вакзалаў далёкіх агні,
А гады пакут і няшчырых пахвал,
Даносаў і брыдкай хлусні.
І ведаў паклёп, як сэрца крануць,
І нас аддзяліў сцяной,
І паверыла ты, і змяніла вясну
На шаўкі, што знасіла даўно.
Але сэрца не можа забыць пра замах,
Сэрца поўнае да краёў…
Будзь праклятым, юнацтва маё, ў вяках!
Будзь праклятым, юнацтва маё!
Будзь праклятым!
Каштаны квітнелі вясной,
Хаваў нас бэзавы дым,
І былі мы з ёю — адно, адно,
І ніколі не будзем адным.

Што ж, не плачу.
Паэзіі горды прытон
І радок, што сталлю звініць, —
Усё адкуў я на горне юнацтва майго,
На яго пакутным агні.
І праўды зніч, і подласці дым,
І сілу мужную жыць,
І тое, што веру ў сэрцы маім
Нават смерць не можа забіць.
І руку дагэтуль помніць рука.
Сэрца помніць шчасце баёў…
Блаславена юнацтва маё ў вяках,
Блаславена юнацтва маё.

Чем закончились взаимоотношения Короткевича и реальной героини? Как выясняется, у них был шанс все начать сначала. В процитированном выше письме, написанном Юрию Гальперину в феврале 1957 года, Короткевич рассказывал: «*Недавно мы снова начали переписываться. Потом, при встрече я убедился, что она меня любит. А я, как дурень какой-то, не мог разобраться в своих чувствах к ней. То временами оживало на душе старое, потом вдруг приходило охлаждение, смешанное с чувством старой обиды. И это при самом теплом, самом дружеском отношении к ней как к человеку. К тому же примешивалось сознание, что я с низов лестницы, а она с верхов, что мне еще пробиваться и пробиваться к тому моменту, когда я смогу спокойно писать, не заниматься другой работой*» (БелДАМЛМ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 13. Л. 8, 8 об.).

Получается, что финал повести «У снягах драмае вясна» соответствовал действительности? Те же сведения встречаются в стихотворении «Размова з Кіева-Пячэрскім сланом», опубликованном в сборнике «Матчына душа». Лирический герой радостно сообщает слону, символу киевской жизни, что *«мне яна напісала ліст // У сэрцы зноўку парасткі даўніх надзей»*.

Сборник был издан в 1958 году. Очевидно, что письмо было получено за год или два до этого. Разве в этом не проявляется связь с событиями, изложенными в письме за февраль 1957 года? Может, это и стало эмоциональным толчком для написания последних, оптимистических разделов повести «У снягах драмае вясна»? Произведение было завершено как раз в то время, в ночь на 28 мая 1957 года.

События, рассказанные в письме, нашли свое отражение в рассказе «Ідылія ў духу Вато». Это произведение было опубликовано в самом первом прозаическом сборнике Короткевича «Блакіт і золата дня». Предлагаю послушать историю жизни героя рассказа в его разговоре с главной героиней: *«Шесть… нет, даже девять лет мы не виделись, — спросила она. Да. С пятьдесят первого».* Расстояние от 1952 года — времени действия повести «У снягах драмае вясна», — никакое, его почти нет.

«— Ты развелась?
— С кем?
— С Борисом.
— Чтобы развестись, надо сначала выйти замуж, — сказала она».

А в повести «У снягах драмае вясна» мы прочитаем что-то похожее:

« — Дело в том, что ты недослышал… Я не замужем… И, наверное, никогда не буду».

Сюжет похож просто фантастически! А теперь, чтобы окончательно убедить тебя, читатель, предлагаю следующие цитаты: *«Я узнала, что они возвели на тебя клевету, что это они выжили тебя из университета. (…). Это была огромная подлость: наклеить на тебя, такого доброго к людям, тот паршивый ярлык. Но ты же помнишь, какое было время? И я отшатнулась от тебя, поверила»* (Обе цитаты из «Ідыліі»).

История взаимоотношений Короткевича и С. М. закончилась в 1957 году. В цитированном выше письме, датированном февралем месяцем, Владимир Семенович писал Юрию Гальперину: *«Была и еще одна причина, вследствие которой я молчал: ужасно угнетенное состояние. Ты знаешь, гораздо легче получить отставку от девушки, чем дать ее самому. Получить отставку в сравнении со вторым прямо радость, особенно для поэта. Из этого терзания душевного рождаются лучшие вещи. А вот когда наоборот получается, это до такой степени гадко, что страх один»*. И ниже: *«Какое я имею моральное право сказать ей «да», если сам еще не знаю, «да» или «нет» и, скорее всего, «нет»? Скверно, брат, и гадко на душе, очень гадко, тем более что чувствую, могу испортить ей жизнь»* (БелДАМЛМ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 13. Л. 8, 8 об.). *«И все же, я почему-то не верю»*, — сомневался писатель 23 февраля (БелДАМЛМ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 13. Л. 7). Скорее всего, вскоре после этого жизненные пути Владимира и С. М. окончательно разошлись. Таким образом, взаимоотношения между ними имели место в два периода: начало в 1950—1954 годах (последняя дата связана с окончанием университета), а также в 1956—1957 годах.

Тем не менее хотел бы предложить читателям одну версию, которая касается дальнейших отношений героев. В мае 1962 года Короткевич написал стихотворение «Мёртвае рэчышча»:

Мне сказалі: мяне ты шукаеш,
Зноў шукаеш — пасля ўсяго, —
Плынь рачная, калісьці жывая,
Што пазбылася ложа свайго.
Усё дарэмна: пратокі-песні
Абмялелі пад рэзкай травой.
Я не Лазар, я не ўваскрэсну,
Нават голас пачуўшы твой.
Ні твой заклік, калісьці любы,
Ні пяшчотны дотык рукі,
Ні ад смагі пасохлыя губы
Не абудзяць вялікай ракі.

На мой субъективный взгляд, эти строчки посвящены как раз С. М. Почему? Все следующие героини «списка», взаимоотношения с которыми имели место до 1962 года, в тот период жили в Москве. Поэтому у них не было необходимости искать писателя. Что касается Нины Молевой, о которой речь пойдет дальше, отношения между ней и Короткевичем имели место в следующием году.

Поскольку «Нонка» уехала, а «Алёнка» погибла, именно С. М. можно считать наиболее достоверным прототипом главной героини стихотворения. Кроме того, стихотворение могло отобразить ситуацию, воплощенную в рассказе «Ідылія ў духу Вато».

В этой истории стоит ответить еще на два вопроса. Во-первых, почему героиня, которую звали Алёнка, действует сразу в двух прозаических произведениях

Короткевича: повести «У снягах драмае вясна» и романе «Нельга забыць» («Леаніды не вернуцца да Зямлі»)? Первоначально я считал, что речь идет об одной и той же личности. Основание для такого мнения дал сам автор, ведь при сравнении произведений мне бросилось в глаза несколько чрезвычайно характерных деталей, которые настойчиво повторяются в обоих произведениях. Например, и там, и там главный герой идет с девушкой в парк. Дальше: *«И они, не сговариваясь, убежали от всех остальных»,* — это из повести; *«Вечером они убежали от компании, с которой пришли в парк»,* — это в «Леанідах...».

Или следующий отрывок: *«Это была обычная рыбалка, с которой не привозят рыбы, но зато привозят загорелые руки, мозоли на ладонях и хорошее настроение»* («У снягах драмае вясна»). *«Как-то вечером… они, три парня и четыре девушки, поехали на челне за Днепр, ловить рыбу. Не до рыбы, конечно, там было. Но зато… сколько там было шуток и смеха!»* («Леаніды…»)

Добавлю, что в повести герои также едут вместе с компанией, также на челне (правда, в рассказе на двух челнах) и, конечно, на Днепр! В обоих произведениях главный герой рассказывает сказку *(«Штрафую за это тебя, Владик, на какую-нибудь сказку»,* — в одном произведении; и *«Андрей, сказку»,* — во втором), и не просто сказку, а именно об ужиной королеве. И там, и там!

И дальше эпизод все той же рыбалки. Повесть «У снягах драмае вясна» говорит нам о следующем: *«Они отошли берегом… и сейчас не спеша плыли к заводи… Темно-голубая вода, и в этой воде светло-голубые руки Алёнки. Она плывет невольным брассом. Вот он догнал ее»».* А теперь цитата из «Леанідаў…»: *«Алёнка осторожно зашла в воду и поплыла. Плыла брассом, приподняв над поверхностью закинутую головку. Он плыл возле…».*

Тем не менее перед нами две совсем разные личности. На мой взгляд, эпизоды, воссозданные писателем, произошли с киевской «Аленкой», ведь повесть была написана раньше, чем роман. Почему же Короткевич позволил заимствования у самого себя? Возможно, причина в том, что автор не рискнул печатать повесть «У снягах драмае вясна» при жизни. А потому решил воспользоваться отдельными фрагментами уже написанного в новом произведении. Тем более что рассказанная история продолжала волновать его.

Второй вопрос касается личности, которая прячется под инициалами С. М. Кроме упоминания в письме, в пользу этой девушки свидетельствуют следующие факты. Стихотворение «Матчына душа», которое дало название первой книге Короткевича, по-видимому, начало писаться в июле 1954 года. Ведь именно этим временем датируется автограф на русском языке «Ты теперь у теплого моря» с посвящением загадочной «С. М.-к.», который находится в Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Беларуси. В БелДАМЛМ находится беларусскоязычный автограф под названием «Прадмова да песні. Прысвячаю С. М.», который датируется примерно 1955 годом.

Не прячется ли под аббревиатурой «С. М.» Муза Снежко, однокурсница Короткевича по Киевскому университету? Теперь можно уверенно сказать, что нет. Даже если оставить в стороне косвенные обстоятельства (несоответствие первому сокращению — «С. М.-к.», а также традиция сначала сокращать имя, а не фамилию: Муза Снежко, а не Снежко Муза), остается главный аргумент: после окончания университета Муза Евгеньевна некоторое время работала в Украине, а потом перебралась вместе с мужем Эриком Ивановичем в Архангельскую область. Потом вернулась на родину, где счастливо живет до сих пор. Напомню, что избранника С. М. звали Михаил.

К сожалению, пока нет определенной информации, которая бы помогла точно идентифицировать личность девушки, которую любил Короткевич. Наиболее простой путь — найти списки выпускников, которые в середине 1950-х годов окончили киевские ВУЗы, и соотнести их с двумя приведенными аббревиатурами. Возможно, загадочную девушку звали Светлана — именно это имя упоминается в одном из писем Короткевича к Гальперину (БДАМЛМ. Ф. 56. Оп. 2.

Д. 11. Л. 13). Будем надеяться, что новые факты и точные сведения станут делом времени.

Как же оценивал роль С. М. в своей судьбе сам писатель? 23 февраля 1957 года он писал Юрию Гальперину: *«Я все же благословляю эту вздорную и, возможно, чужую мне по взглядам девочку. Что в нас двоих было такое, что редко светит друг другу в мужчине и женщине. Ну ты сам понимаешь, мог бы я на Марсе, она в XIII веке. Нет, встретились; оказывается, встретиться это еще не все»* (БелДАМЛМ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 13. Л. 7).

С. М. очень сильно повлияла на творческую судьбу писателя. Да, он писал и раньше. Способности, которые потом переросли в талант, проявились у него еще в детстве. Но полагаю, что именно те романтические чувства и переживания, потрясения и та несчастная любовь стали одними из факторов, которые привели Короткевича в литературу. И писать свое первое серьезное произведение «У снягах драмае вясна» он начал не только затем, чтобы передать атмосферу времени, но и для того, чтобы вновь пережить былые чувства.

На первый взгляд может показаться, что в истории литературы С. М. хотя и останется, но не как героиня первого плана. Да, именно ее образ повлиял на общую тональность сборника «Матчына душа», которому свойственны элегичность и светлая грусть (тогда как в следующей книге, «Вячэрнія ветразі», они уступают место трагизму и надрыву). Но если обратиться к прозе, то действительно, «Ідылія ў духу Вато» — всего-навсего один из рассказов нашего классика. «Леаніды...» — талантливо написанный роман, но по своей значимости он все же уступает таким творческим достижениям автора, как «Колосья под серпом твоим» и «Христос приземлился в Городне». «У снягах драмае вясна» — первое произведение Короткевича, предвестие его известности и славы. Но только предвестие, а в литературе, к сожалению, остаются только отдельные произведения — шедевры.

А теперь в своих размышлениях отойдем чуть в сторону. Еще со школьных времен нам известно, какое влияние оказала Мария Раевская (будущая Волконская) на великого Пушкина. Ученые не оставили этот факт вне внимания, и в одной из книг, посвященной этой теме, я нашел очень интересные факты. Один из исследователей творчества поэта привел имена героинь некоторых его произведений. В «Бахчисарайском фонтане» — это Мария, в стихотворении «Фонтану Бахчисарайского дворца» — тоже Мария, в поэме «Полтава» — Мария Кочубей, в незаконченном «Романе в письмах» — Машенька, в «Метели» — Мария Гавриловна Р***, в «Выстреле» — Маша Б***, в «Романе на Кавказских водах» — Маша Томская, в «Капитанской дочке» — Мария Ивановна Миронова. Ни одно женское имя не встречается в произведениях Пушкина чаще этого.

Конечно, провести прямую аналогию с Короткевичем невозможно. Женских имен в его произведениях бесчисленное количество: Алёнка и Нонка, Ирина, Майка и Гелена, Анея и Мария Магдалена. О том, что прототип С. М. оказал на Короткевича большое влияние, я уже говорил. Но рассмотрим тему с другой стороны.

Женские образы Короткевича представляют определенную тайну для исследователей. Среди ученых существует мнение, что глубина воплощения их характеров и психологии поведения значительно отличается от мужских, а если быть точным, даже уступает в своей конкретности и детальности обрисовки характеров. Наиболее показательный пример — Анея, возлюбленная Юрася Братчика в романе «Христос приземлился в Городне». Несмотря на общее романтическое очертание образа, Анея напоминает какое-то видение, которое летает в воздухе, почти не касаясь земли.

У оппонентов есть свои контраргументы. Во-первых, такое воплощение главных героинь диктуется контекстом произведения (рядом с могучей фигурой центрального персонажа главная героиня должна находиться отчасти на втором плане). Во-вторых, кто сказал, что у Короткевича не получались женские образы? Взять хотя бы Гелену Карицкую в «Колосьях…», Марию Магдалену в романе «Христос приземлился в Городне», Ирину Гореву в «Леанідах...». По-мастерски выписанным характерам этих женщин (в особенности первых двух) позавидовало бы большинство прозаиков.

Но добавлю от себя очень важную деталь. Это не те личности, которых любит главный герой (Ирина Горева тут — скорее исключение). Он уважает такую личность и даже симпатизирует ей. Она понимает его лучше, чем другие. Но в итоге герой уходит к любимой и верной женщине. Слово «верной» употреблено не случайно. После печальных событий 1952 года такое качество человеческого характера имело для Короткевича чрезвычайную значимость. Вероятно, таким образом можно пояснить ситуацию с женскими персонажами, представленными в творчестве Короткевича. Никто не будет спорить, что в образах главных героев писателей — много от их заветных мыслей, светлых и горьких чувств, много от пережитого в реальной жизни. Возможно, в чем-то главные герои книг писателей — это они сами, такие, какими себя видят и воспринимают. И не только тогда, когда речь идет об автобиографическом произведении. Даже если действие разворачивается в прошлом, писатель может отождествлять себя с главным героем.

Все вышесказанное в полной мере относится к Короткевичу. Это он искал дикую охоту, он принимал участие в подготовке к восстанию 1863 года. Это он вел свой народ за хлебом на Городню и вместе с Юрасем Братчиком одержимо искал свою родину. Всю жизнь…

И главную героиню своих произведений он также встречал в реальной жизни. И как Пушкин долго не мог позабыть Марию Раевскую, так и Короткевич, думаю, не мог позабыть свою любимую. Например, в апреле 1959 года было напечатано его стихотворение «Было юнацтва», которое, на мой взгляд, посвящено С. М.:

Я зноўку засумую
Па дарагой дзяўчыне,
Халоднай, як лілея,
Што дрэмле на вадзе.
Блакітная і белая,
Жамчужная, ружовая,
Ўсю цеплыню хавае
У самай глыбіні.
Пакут маіх не бачыць,
Майго не чуе слова,
Каханне зневажае
І пра каханне сніць.
(...)
Далёкая, маўклівая,
Халодная і чыстая —
Зусім яна не думае
Што мне балюча жыць.

Ряд героинь Короткевича чрезвычайно похожи на С. М. Точнее, на ее образ, который вплотился в Алёнке. Сравните Майку из «Колосов…», Анею из романа «Христос приземлился в Городне» и Алёнку. Не сомневаюсь — вы найдете много схожих черт. Но самое главное, что они были верными и, в отличие от С. М., не предали ни Юрася Братчика, ни Алеся Загорского.

Та горечь и отчаяние, те ошибки, которыми завершилась история в реальной жизни, не перенеслись в литературу, а вместе с ней — и в вечность. И поэтому Алёнка из «Снегов…» осталась: с *“пушистыми волосами над чистым лбом, миндалевидными синими глазами, маленьким прямым носом, немножко великоватой нижней губкой, тонкой, детской еще шеей;* с *“общим выражением чего-то детского, робкого и, вместе с тем, хитрого”.* И когда ты встретишь в наше время на улице ее младшую сестру, попробуй не повторить ошибок середины прошедшего столетия. Возможно, тогда весна, что дремала в снегах, проснется и улыбнется тебе…

Окончание следует.

ГАЛИНА ТЫЧКО

Польский и русский авангардизм в творческой судьбе Максима Танка

Максим Танк (Евгений Иванович Скурко (1912—1995)) — один из самых ярких представителей современной белорусской поэзии XX века. В его творческой судьбе отразились исторические и национально-ментальные особенности жизни белорусского народа в прошлом столетии, а также важнейшие этапы развития национальной литературы. Будущий поэт родился в деревне Пильковщина Виленской губернии тогдашней Российской империи. В годы Первой мировой войны дороги беженства приводят его родителей в Москву, где он получает начальное образование. В 1922 году, когда в результате Рижского договора (1921 г.) Западная Беларусь, в том числе и родные места Максима Танка, включаются в состав Польши, семья Скурко возвращается на родину. Продолжать образование юноше пришлось в четырех гимназиях, две из которых были белорусскими (в Радошковичах и Вильно) и две русскими (Вилейская и Виленская им. А. С. Пушкина). С 1929 года и до начала Второй мировой войны Максим Танк живет и работает в Вильно. Этот период один из самых сложных в его личной и творческой жизни и в то же время, пожалуй, один из самых плодотворных. Какой была жизнь поэта в Вильно, лучше других сказал он сам: «*Положение мое катастрофическое. В Вильно не за что жить. Оставить Вильно — перестать писать*».

Становление творческой индивидуальности молодого поэта в этот период проходило параллельно с подпольной деятельностью, арестами и тюремными заключениями. По заданию Коммунистической партии Западной Беларуси Максим Танк работает в белорусских и польских журналах и газетах народнофронтовского направления, а также ведет белорусскую рубрику в польском журнале «Poprostu». Эти факты из своей биографии и воспоминания о политической и литературной жизни в Вильно поэт обнародовал в автобиографических дневниках, фрагменты из которых Максим Танк впервые опубликовал в 1967 году под названием «Странички календаря» (Полымя // № 1—4).

Первые стихи Максима Танка, вошедшие в поэтический сборник «На этапах» (1937), относятся к 1930 году. Примерно в это же время в Вильно молодые польские литераторы, относящие себя к авангарду, основывают поэтическую группу «Жагары», просуществовавшую до марта 1934 года. Группа начинает издавать одноименный ежемесячный журнал, провозглашенный как «журнал передового Вильно, посвященный искусству». У истоков этого авангардного движения стоял Чеслав Милош, молодой польский поэт, будущий лауреат Нобелевской премии в области литературы.

Вспоминая те времена, Ч. Милош писал: «В 1931 году возникла в городе Вильно, принадлежавшем в то время Польше, литературная группа «Жагары», одним из основателей которой был и я. Происходило это вскоре после краха Нью-Йоркской биржи (1929 год), принесшего огромные последствия не только для Америки. В европейских странах росла безработица, в Германии она достигла восьми миллионов, и казалось, что только революция может спасти мир от голода и войны, ведь капитализм вошел в фазу упадка. К сожалению, революция, готовя-

щаяся в соседней Германии, должна была стать национал-социалистической. Эта вторая часть определения представляла собой уступку в пользу распространенной среди рабочих масс веры в социализм, сродни тому, как присутствие мысли Маркса продиктовало вскоре надпись на воротах Освенцима: Arbeit macht frei (Работа делает свободным). Неудивительно, что в этой атмосфере наша группа была левой. Однако ожидание революции странным образом уживалось в нас с ожиданием апокалипсической катастрофы, предчувствуемой интуитивно, пророчески и неосуществимо ex post, поскольку даже атмосфера ужаса во время захвата власти Гитлером не позволяла предугадать последствий (…). Наша группа получила название «катастрофистов», что наводит меня на размышление о разнообразии проявления так называемого «принципа надежды» (Эрнст Блох). Этот «принцип надежды» подчеркивает романтическую родословную марксизма, ведь формировалась же философия Маркса в эпоху возвышенного, а дата, когда появился Манифест коммунизма, 1848, — говорит сама за себя. «Принцип надежды» действует также везде, где предугадывается катаклизм, несущий конец существующему порядку, ради того, чтобы появилась новая действительность, очищенная революцией, потопом либо conflagration universele (мировым катаклизмом). Иначе говоря, нет большого противоречия между ожиданием радостным и тревожным» (Miłosz Czesław. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku. —Warszawa, 1987).

Неудивительно, что «жагаристы», представители виленского авангарда, на страницах своего журнала дискутировали об общественной роли искусства как инструмента формирования личности, объявляли программу создания новой литературы, литературы моральной и политической заданности. Самые горячие споры вызывала у них тема роли литературной традиции и отношения художника к современности. Большое значение имели и средства художественного отображения. Двадцатилетний Чеслав Милош опубликовал программную статью под названием «Бульон из гвоздей» в 5-м номере «Жагаров» за 1931 год, где, по его собственному шутливому определению, сделанному уже в зрелом возрасте, сформулировал теорию соцреализма раньше, чем это сделали в Москве.

Появление «Жагаров» по времени почти совпадает с издательской деятельностью Максима Танка. В 1931 году он издает два номера рукописного журнала «Пралом», а в 1933-м — журнал «Краты» (вышло 6 номеров). Нам кажется, что «Жагары» в значительной степени послужили импульсом к появлению этих изданий, поскольку эстетические установки молодого белорусского поэта в 30-е годы во многом совпадают с программными манифестами «жагаристов». Например, в программном стихотворении «Акт первый» (1935) Максим Танк, провозглашая новые задачи литературы, воспевает романтику социальной революции:

Досыць!
Не штука іграць на кларнеце,
Меднай жменяй сыпаць акорды,
Блудзіць па прытонах,
Цешыць тлустыя морды.

Хай хто
Зайграе з вас шыбеніц струнамі.
Глянь!
Чорныя сёння прадмесці прыйшлі,
Першы свой акт будзем іграць на пятлі (…)

О влиянии поэтики авангардистов свидетельствует и соответствующая запись в дневнике Максима Танка от 15 ноября 1935 года: *«Окончил «Акт первый». Пробую освободиться от старых поэтических канонов, из плена напевности, традиционной образности, хоть пока что на этом пути у меня больше поражений, чем успехов. Ощущение кризиса архаических форм еще ничего не дает (...). Новое само по себе не существует. Его каждый художник должен создать сам».*

Характерно, что этой записи предшествует следующий факт из биографии поэта. Под датой 5 августа 1935 г. он записал: *«Уладак Борисевич привел меня на Сконувку, где в доме № 5 разместилась редакция «Папросту». Он мне дал несколько экземпляров первого номера газеты, которая сегодня отмечает свой день рождения, и одолжил на пару дней поэму Чеслава Милоша "О застывшем времени"»*.

Издание «Папросту», упомянутое Максимом Танком, сгруппировало вокруг себя виленскую литературную молодежь авангардно-левого направления и в определенной мере, как и позднейшая «Карта», являлось преемником «Жагаров». С середины 30-х гг. XX в. начинается активное сотрудничество Максима Танка с названными польскоязычными журналами и другими периодическими изданиями, а также его личные знакомства и дружба с активистами и лидерами виленского литературного авангарда. В дневниках поэта часто встречаются записи о беседах с Ежи Путраментом, Генриком Дембиньским, Владиславом Борисевичем и др.

Дневники Максима Танка ведут отсчет времени с 1935 года. Этот год считается переломным в творчестве поэта, является пиком его художественно-эстетических исканий. Благодаря дневникам можно из первых уст проследить направленность и внутреннее содержание нравственно-эстетических стремлений художника. Эмоциональная и творчески напряженная атмосфера авангардистского Вильно закономерно привела Максима Танка к увлеченности теоретическими разработками всемирно известных лидеров футуризма, в частности Маринетти, а также их практическим воплощением в творчестве В. Маяковского и В. Хлебникова.

Лидеры виленского авангарда также в своих программных высказываниях подчеркивали *«связь с еще свежими традициями Маринетти, Аполлинера и Маяковского»*. Так, Теодор Буйницкий характеризовал произведения виленских авангардистов как *«не собственное новое изобретение, а использование уже апробированных изобразительных средств, способных наравне с белым стихом, поэтической прозой, прозаической лирикой существенно обогатить арсенал поэтических средств, но при условии, что в то же время они не приведут к забвению других форм, по-прежнему дающих большие возможности для творческого человека»* (*Kiślak Elżbieta*. Walka Jakuba z aniołem: Czesław Miłosz wobec romantyczności. — Warszawa, 2000).

Максим Танк в этот период знакомится с творчеством Маяковского в основном в переводах на польский язык. Запись в дневнике, датированная 15 февраля 1935 года, гласит : *«В старых своих бумагах нашел переписанную еще в 1932 году, переведенную Ю. Тувимом на польский язык, поэму В. Маяковского «Облако в штанах». И чернила выцвели, и текст стал невыразительным. Надо будет вновь переписать ее, или лучше, заучить наизусть. Эх, если бы мог найти эту вещь на русском языке!»* А вот произведения В. Хлебникова оставили Танка почти равнодушным и привели к интересному и, возможно, оправданному заключению: *«подобными экспериментами могут заниматься поэты, перед которыми никогда не стоял вопрос: быть или не быть их языку»*.

Революционные процессы в России начала XX века, поселившие в душах людей идеи отрицания современного мира и вызвавшие зарождение футуристической поэзии, в некоторой степени были созвучны политико-экономической ситуации в Западной Беларуси в период между I и II мировыми войнами. Безусловно, это были качественно иные идеи, но они основывались на классическом понимании социальной справедливости и гуманизма, в первую очередь — на идеях равенства, уважения к человеку независимо от его национальной принадлежности.

Поэзия и неординарная личность В. Маяковского не случайно так захватили Максима Танка. Жизненный и творческий путь знаменитого русского поэта, с одной стороны, был отрезком всеобщего пути, по которому шло прогрессивное человечество в первой половине XX века. Но к этому присоединялся еще и личный момент. Очень многие факты из биографии и творческих устремлений В. Маяковского накладывались на жизненный путь и творчество молодого Максима Танка.

Как известно, В. Маяковский в 1907—1908 гг. вступил в РСДРП(б). За революционную агитацию среди рабочих был трижды арестован. В 1909 году просидел 11 месяцев в Бутырской тюрьме, где начал писать стихи. Неприятие тогдашнего российского общества и стремление ввести новые литературные формы соединялись у В. Маяковского с искренней верой в торжество социалистической революции.

В 1929 году идеи социалистической революции привели и Максима Танка — ученика Радошковичской белорусской гимназии — в ряды подпольной комсомольской организации. Распространение нелегальных изданий в 1932 году послужило основанием для его первого ареста. Тюремное заключение длилось всего один месяц, но этого оказалось достаточно, чтобы ненависть к буржуазному строю Польши достигла критической точки. Осенью 1932 года молодой поэт, искренне веривший в идеалы социализма, воплощаемые на практике по ту сторону границы в Советской Беларуси, нелегально переходит государственную польско-советскую границу. Однако его постигло горькое разочарование. После двухнедельного заключения его отправляют назад, обременив партийным заданием подрывной деятельности в пользу СССР. И все же для Максима Танка это был не самый худший вариант, поскольку альтернативой был арест и расстрел без суда и следствия как польского шпиона. С этого времени Танк не принадлежит сам себе, его жизнь и поэтический талант принадлежат партии. В 1932—1933 гг. он является инструктором ЦК комсомола Западной Беларуси, в 1936-м вступает в ряды КПЗБ. Слежка, аресты, допросы становятся повседневной реальностью. В знаменитой виленской тюрьме Лукишки Танк с небольшими перерывами проводит около двух лет.

В сложившейся ситуации слова В. Маяковского о том, что *«сегодняшняя поэзия — поэзия борьбы. Каждое слово должно быть, как в войске солдат, из мяса здорового, красного мяса»,* — полностью соответствовали поэтическим установкам Максима Танка.

Однако не только атмосфера революционно настроенного западнобелорусского общества и непосредственное участие в авангардном движении межвоенного Вильно, культивирующем традиции В. Маяковского, влияли на творческую индивидуальность Максима Танка, его эстетические взгляды и предпочтения. Не последнюю роль играли и особенности его поэтического таланта, своеобразие художественного восприятия реальности, основанного, как и у знаменитого русского поэта, на предметности, физически ощутимой земной реальности, характерной для белорусского языка вообще и поэтому и для национальной поэзии:

На касагоры хаты батракоў,
Пападпіраныя парканамі,
Голадам,
Чаканнем перамен,
Стаяць з дзіравымі
    капелюшамі
      стрэх.

Хтось кінуў
Месяца грош серабрысты,
Ды ён не затрымаўся —
Недзе зазвінеў
На самым
  дне іх нэндзы.

Якая цёмная
На «Ўсходніх крэсах» ноч!
Пажары толькі ў ноч такую бачны.

Это одно из самых первых стихотворений Максима Танка, датированное 1930 годом, впечатляет и нетрадиционной для тогдашней национальной литера-

туры формой, и необычно яркими, запоминающимися образами. Тем не менее, несмотря на свою общественно-политическую заангажированность, Максим Танк не принимает нарастающую в советской литературе тенденцию превращения искусства в утилитарно-прикладной инструмент социума.

«У нас литературе отводится огромнейшее значение, которого у других народов она давно не имеет. Не находя в сегодняшней жизни справедливости, народ ищет в литературе ответ на все вопросы, волнующие и беспокоящие его. У нас нет разницы между литературой и воззванием, литературой и забастовкой, литературой и демонстрацией, потому почти во всех политических процессах вместе с борцами за социальное и национальное освобождение на скамье подсудимых находилась и наша западнобелорусская литература», — записывает Максим Танк в своем дневнике.

Уже к 1936 году у Танка вырабатывается критическое отношение к творчеству «молодняковцев», представителей самого массового в советской Беларуси литературного объединения, ставившего перед собой задачу создания нового пролетарского искусства. Критическое отношение формирует оценку поэтом всей современной ему белорусской литературы.

«При оценке литературных произведений у нас существует две мерки: одна — белорусская, вторая — европейская. Согласно первой — все выдающиеся, все классики. Согласно второй… Второй пока что некого и измерять. Можно было бы написать на сборник Н. краткую рецензию: читать советуем только тем, у кого в жизни есть несколько лишних часов», — иронически пишет он. Путь, по которому должна развиваться литература, для Максима Танка довольно ясен и определен. *«Поэзия наша все еще развивается в какой-то самоизоляции ото всех современных авангардистских направлений, которые отказались от старых рифм, докучливой мелодичности, канонической логики развития образов…* — констатирует Максим Танк. Однако в то же время он предостерегает и от слепого заимствования, подчеркивая свои идейно-эстетические расхождения с польскими авангардистами: *«Только мне кажется, что представители авангарда слишком мало внимания уделяют идейной стороне. Может, наша история воспитала нас такими «ограниченными», но для нас настоящая авангардная литература прежде всего должна быть революционной»*.

Важно, что Максим Танк в своем восприятии авангардной поэтики постоянно подчеркивает момент, актуальный не только для его творчества, но и для всей белорусской литературы. Во-первых, определенную «заземленность» ее, обусловленную общественно-социальными проблемами национального развития. *«У нас очень сложно стать писателем, известным зарубежному читателю, хоть есть такие таланты, которыми мог бы гордиться любой народ — маленький или великий. Дело в том, что каждый из нас должен биться над разными, оставленными проклятым наследством вопросами — вопросами, которыми давно уже перестали интересоваться на Западе»*. Тем не менее, в своем творчестве Максим Танк до конца жизни ориентировался на творческий поиск и эксперимент. Его излюбленной поэтической формой оставался верлибр, а поэтика многочисленных книг поражает широтой художественных символов и ассоциаций, неординарностью мировосприятия.



АДАМ МАЛЬДИС

История, закодированная в названиях

Бывают такие напряженные дни, когда вяло реагируешь на нечто постороннее, а тем более раздражающе необычное, даже сенсационное. Так было и в тот момент, когда в мой рабочий кабинет зашел моложавый человек, представился бизнесменом и предложил статью, посвященную топонимии земли Новогрудской, конкретнее, озеру Свитязь и его окрестностям. Мол, там, как и в иных местах Беларуси, закодировано в названиях послание «высшим» цивилизациям от наших предков-язычников перед их духовной гибелью, то есть принятием христианства. Я на ходу начал искать слабые места в концепции гостя: при крещении ведь изменялись имена, а не географические названия. И вообще, при принятии христианства общество вступало в высшую, «письменную» фазу своего развития…

Первые топонимические загадки

Попрощались мы довольно сухо, не обменявшись даже адресами. Поначалу все сказанное мною казалось правильным; да и топонимия, в частности названия населенных мест, — это не моя сфера интересов. Но вечером, когда немного освободился, одолели сомнения насчет названных гостем топонимов. С Новогрудком более или менее было ясно: в основе — «новый городок». Только форма теперь полонизированная — в древности было Новогородок. Однако «новый» — по сравнению с чем? С Новгородом Великим? Нет, здесь не просматривается связь. Тогда — с Полоцком? Может, оно и так, хотя вроде не было причин для их сопоставления... Одно название — а столько исторических проблем.

А Свитязь? Это название у меня стихийно ассоциировалось с белорусскими словами «світанак», светлая вода, освещенная утренней зарей... Но вдруг «Свитязь» в сознании стало связываться с балтской «Ятвезью». Что на этот счет подскажет литовско-русский словарь? Почти то же самое: «швитулис» — это светлячок, а «швитурис» — это маяк, подающий световой сигнал кораблям. «Световой»? Очевидно, послание иным цивилизациям тоже должно было бы, наверное, передаваться светом, со скоростью света. Значит — первоначальный сигнал: «Внимание, выхожу на связь!» Но передаваться каким образом и кому? Может, не фантастическим инопланетянам, а нам, потомкам? Может, это были наши зашифрованные, наши первоначальные этнические гены?

Генетический код нации

В древности, во времена Полоцкого, Туровского, Гродненского княжеств, Великого Княжества Литовского на первых этапах его развития к названиям городов, местечек, сел относились как к чему-то данному свыше. В топонимах отражалась история, экономическая, политическая и культурная: кто здесь проживал (вспомним частые названия Русаки, Литва, Казаки, Шведы), чем занимался (Бондари, Ковали, Рыбаки), каково было местоположение селений (Городище, Заболотье, Залесье, Поляны), имя основателя или первого владельца (Петровщина, Петрики, Петрополь). Содержалась прямая или искаженная историческая

информация (Вобчае как поселение на общественной земле, Вулька как место, где жили «льготники»).

В топонимических названиях отражались, как в зеркале, значительные события и повседневная жизнь. Часто случалось так, что само селение исчезало, а его письменное отражение жило столетиями. И даже после Люблинской унии, в составе I Речи Посполитой, ситуация оставалась по традиции той же — до конца XVII столетия, пока «писарь» продолжал писать «по-русски».

Нарушения гена

Но вот после законодательного решения 1696 года «писарь» был уже обязан писать «по-польски». И — начинаются изменения в белорусской этнической топонимии. Сначала они касались только воеводских и поветовых центров (Миньск вместо Менска, Гродно вместо Городни, Новогрудэк вместо Новогородка и так далее), в которых жили и служили эти самые «писари». Однако польским языком они хорошо не владели, при записи допускали разного вида ошибки, до разделов Речи Посполитой и еще даже после них часто писали по старинке. Ситуация почти не менялась вплоть до 1840 года, когда перестал действовать Литовский статут. Царские власти также не были замечены в массовых или нарочных заменах белорусских названий селений — правителям было достаточно, что они в большинстве своем воспринимались как «западнорусские».

Первый существенный удар по белорусским географическим именам был нанесен на территории II Речи Посполитой после Рижского договора 1921 года. И дело здесь заключалось не только в целеустремленной полонизации, но и во вроде бы нейтральных законах польского языка, где ударение не подвижное, как в белорусском и русском, а застывшее — на предпоследнем слоге слова. Это изменяло его произношение — оно оставалось будто бы понятным, но иным, чем того требовала этническая традиция: уже не «Глыбокае», а «Глэнбоке», не «Каралеўшчына», а «Крулевшчызна». Все это увеличивало разрыв между официальной, письменной формой и устной речью местных жителей.

И вот парадокс. После 1939 года это инородное произношение не исчезло, а закрепилось уже в кириллическом написании. Здесь (при составлении географических карт, различных документов) действовали чиновники, не знавшие особенностей белорусского и польского языков, не сверявшие данные с местной традицией. Иначе они не написали бы, к примеру, «Міоры» вместо «Мёры», «Ліозна» вместо «Лёзна», «Радашковічы» вместо «Радашкавічы».

Третий и самый мощный удар по национальному топонимическому гену был нанесен в 1964—1968 годах вроде бы с благородной целью: убрать чуждые народу и неблагозвучные названия, заменить их оптимистическими и высокоидейными. Однако на практике, без четких и научно обоснованных критериев, переименование превратилось в трагикомедию. Мне еще понятно, почему «чистильщикам» не понравились «Манастыр», «Божы Дар», «Гаспода», «Маёнтак», «Халуі», «Сабакінцы». А вот почему были отвергнуты такие исторически обоснованные названия, как «Ліхтэрня», «Стары Майдан» (майданами у нас раньше звались печи для обжига кирпича), «Іван-Бор» и десятки подобных, понять не могу. Тем более что на их месте появились топонимы вроде «Атраднае», «Красны Багатыр», «Магучы Партызан», «Пражэктар», «Трактар» и даже кем только не высмеянная «Сірэнеўка». Порой непонимание доводило до абсурда: к названию «Морач» (темное болото) прибавлялось слово… «Савецкая», к слову «Алёс» (ольховое болото) присоединялось прилагательное… «Чырвоны». Люди не понимали, как такие искусственные топонимы употреблять, склонять, образовывать от них прилагательные. Все решалось волевым порядком преимущественно на районном уровне.

Если полистать справочники разных времен, приходишь к выводу, что больше всего «чистильщики» поусердствовали в Гомельской области. Там появилось

целых 106 «Красных» селений (вроде «Краснага Пахара»), 54 «Новых» и 16 «Чырвоных». В некоторых случаях названия дублировались, лишались всякого смысла, не восстановленного до сих пор.

Таким образом, в результате трех столетий правления наших свояков-соседей белорусы к началу нового, важнейшего периода своей истории — построения и развития независимого государства — пришли с **серьезными нарушениями своих топонимических генов**, которые нуждались во вдумчивом восстановлении, системном упорядочении. Одним словом — в заботливом лечении. Понимание, что такие процессы необходимы, приходило постепенно.

Ген становится державным

В 1990-е годы белорусский топонимический генофонд наполнился новым смыслом. Оставаясь этническим и национальным, он приобрел еще более важное, государственное значение.

За два последних десятилетия мы постепенно пришли к пониманию, что в нынешнем, глобализированном мире нам всем (прежде всего, дипломатам и пограничникам, картографам и нотариусам) нужно, чтобы не потеряться в нем, четко определить свои имена собственные — фамилии, названия населенных пунктов. А поскольку у нас два государственных языка — на обоих. Но с чего начинать, что признать первичным, а что вторичным, как избавиться от искаженных генов?

Опыт других стран, ставших раньше, чем Беларусь, на путь собственного государственного развития, учил, что прежде всего надо критически, требовательно подходить к себе самим — названиям титульной нации.

К счастью, это хорошо понимали ученые и государственные деятели, которые на переломе тысячелетий сконцентрировались вокруг Топонимической комиссии при Совете Министров Республики Беларусь и Республиканской топонимической комиссии при Национальной академии наук Беларуси. Сюда вошли специалисты, работающие в государственных учреждениях — Комитете по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь, Институте языка и литературы имени Якуба Коласа и Янки Купалы НАН Беларуси, других учреждениях. Указующий перст и финансирующая рука принадлежали в этом научном и деловом сплаве председателю Комитета и председателю Топонимической комиссии СМ РБ Георгию Кузнецову. Координационную работу осуществляла консультант отделения картографии и информационных систем Госкомимущества, секретарь Топонимической комиссии при Совете Министров Республики Беларусь Наталья Авраменко, она же постоянный участник заседаний Группы экспертов ООН по стандартизации географических изданий, представляла наши интересы в России, Украине, Латвии, Болгарии. Душой же обеих комиссий (членом первой и председателем второй) стала доктор филологических наук Валентина Лемтюгова. В этом году исполнилось 50 лет, как Валентина Лемтюгова начала работать в академическом Институте языка и литературы (прежде — языкознания), защитила в нем кандидатскую и докторскую диссертации, издала (монографически и коллективно) ряд фундаментальных работ по ономастике (науке о собственных именах) и ее подразделениях топонимике и айконимике, в 1987 году была избрана заведующей отделом лексикологии и лексикографии в Институте языкознания. Приобрела признание в стране и за рубежом как член комиссии по ономастике Международного комитета славистов. Руководила подготовкой молодых топонимистов.

А еще здесь хотелось бы сказать доброе слово о многочисленных волонтерах. Они были и есть в каждой области, каждом университете, при каждом райисполкоме. Они ездили по сельсоветам, сопоставляли записи с устным произношением.

Первый успех

Из шести книг нормативного справочника «Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь» труднее всего далась первая, посвященная Минской области. Не сказать, чтобы работа над ней началась на голом месте. До этого уже был шеститомник, составленный по областям Евгением Рапановичем, были белорусские карты и энциклопедические издания, но все они — одноязычные. А здесь — сразу двуязычные перечисления, а к ним еще требовалось третье написание — латинским шрифтом.

Вот тут-то и таилась мина замедленного действия. Список латиницей мог быть двоякий: сделанный путем перевода или транслитерации. Но с какого языка? Русского или белорусского? Мировой опыт подсказывал: только с языка коренной нации и только путем транслитерации. Большая распространенность русского языка, столетия безгосударственности, а также консервативность толкали здесь нашу молодую державу на более легкий путь, ведущий, однако, в тупик.

В 2001-м, более десяти лет назад, в прессе, прежде всего в газете «Звязда», статьей Валентины Лемтюговой началась активная дискуссия, посвященная лечению топонимического гена. Пересказывать ее не буду, скажу только, что некоторые высказанные тогда мысли остаются актуальными до сегодняшнего дня, их надо учесть при дальнейшей работе.

В начале нынешнего века порой казалось, что традиционалисты возьмут верх. Нашлись уверенные в себе лица, которые брали у Валентины Лемтюговой белорусский список населенных пунктов Минской области и пробовали все переделать наоборот. Но у них ничего не получилось. А отпущенное на подготовку справочника время убегало быстро. Тогда традиционалисты пришли к ученой покаяться. И они не просчитались. После выхода в 2003 году в издательстве «Тэхналогія» первой книги справочника вместо прежних претензий в Национальную академию наук стали приходить благодарственные письма. Так было и после следующих томов, выходивших по степени готовности. Скромные, внешне незаметные, но серьезные по своему научному уровню, они подняли рейтинг белорусской топонимики в мире, ускорили ее латинизацию.

Свой вариант латиницы

В августе 2007 года Группой экспертов ООН по географическим названиям в Нью-Йорке было принято решение под заглавием «Республика Беларусь. Национальная система романизации (т. е. латинизации. — *Авт.*) географических названий». В сем документе говорится, что в результате длительных стараний белорусских специалистов разработана Инструкция по транслитерации географических названий Республики Беларусь буквами латинского алфавита, утвержденная решением Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь от 23 ноября 2000 года (№ 15) и зарегистрированная в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 2001 года (№ 3/4488). А далее сказано: «Основой для настоящей латиницы послужила исторически апробированная традиционная белорусская латиница, которая использовалась в периодических научно-популярных и художественных изданиях XIX — начала XX вв. параллельно с кириллицей». Отсюда следовало, что в соответствии с этим решением экспертов ООН мы должны перейти от разнобоя (знаю английский язык — использую английский вариант латиницы, знаю польский — использую польский, знаю чешский — использую чешский вариант) перейти к национальному, нормативному для всех нас варианту, который успешно использовывался еще Дуниным-Марцинкевичем и Богушевичем, а позже Купалой и Коласом, Горецким и Ластовским. В ооновский документ вклю-

чены разработанные и принятые в Беларуси «Инструкция по транслитерации названий… (Сфера действий общеобязательная)» и приложенная к ней «Таблица транслитерации…»

Белорусский вариант «Инструкции» на уровне ООН был признан образцово-показательным (в частности, для украинцев, которые такого исторически апробированного варианта латиницы не имеют). В знак поощрения в Минске решено было провести одно из заседаний экспертов. В кабинетах авторов «Инструкции» стали раздаваться звонки из стран СНГ с просьбой поделиться опытом.

Кладезь информации

И вот в конце прошлого года увидела свет последняя книга нормативного справочника, посвященная Брестской области. Я ее поставил на полку рядом с предыдущими томами и почти ежедневно заглядываю туда как в наиболее авторитетный на сегодня белорусский топонимический справочник. А поскольку в нем рядом с основными написаниями по-белорусски, по-русски и латиницей указываются и вариантные, а в конце есть список исчезнувших названий (в результате войн, Чернобыльской аварии, а также сселений), часто удается разгадать такие ребусы, которые представляют собой широкий интерес и для науки (например, при установлении для других, уже энциклопедических справочников, места рождения того или иного нашего деятеля — писателя, соотечественника).

Месяцы и годы такого знакомства привели к выводу, что под общей редакцией Валентины Лемтюговой появился давно ожидаемый нормативный справочник, востребованный на научном и бытовом, национальном и государственном уровнях, представляющий собой историческую ценность и нуждающийся, по моему глубокому убеждению, в общественном поощрении.



ТАТЬЯНА ОРЛОВА

Разговоры с Регимантасом Адомайтисом по дороге в Висагинас

Мы едем из Вильнюса в молодой красивый город атомщиков Висагинас, продолжить работу в жюри симпатичного театрального фестиваля «Атепиндес» — в переводе с литовского означает «Отражение». Мы из пяти стран: Литвы, Беларуси, Франции, Украины, Армении. К нам позже присоединятся актеры Германии, Польши, Косово, Мордовии, Москвы и Вологды. В чудесном «Интернационале» нет переводчиков. Мы объясняемся словами из всех возможных языков и бурной жестикуляцией. Но основной язык русский.

Адомайтис сразу же при знакомстве предложил называть себя «Реги» («У нас труднозапоминаемые имена») и легко обходился без спасительной фразы («Не знаю, как это сказать по-русски»). Говорит свободно, почти без акцента, не испытывает никаких националистических чувств и гордится тем, что более 25 лет является Народным артистом СССР.

По левой стороне дороги свежие руины. Машины вывозят кирпич, обнажая огромную бетонную площадку.

— Это наша бывшая Литовская киностудия. Строилась после войны. Делали хорошие фильмы. Сейчас Литовское кино никому не нужно. Понадобится — снимут где-нибудь в других местах.

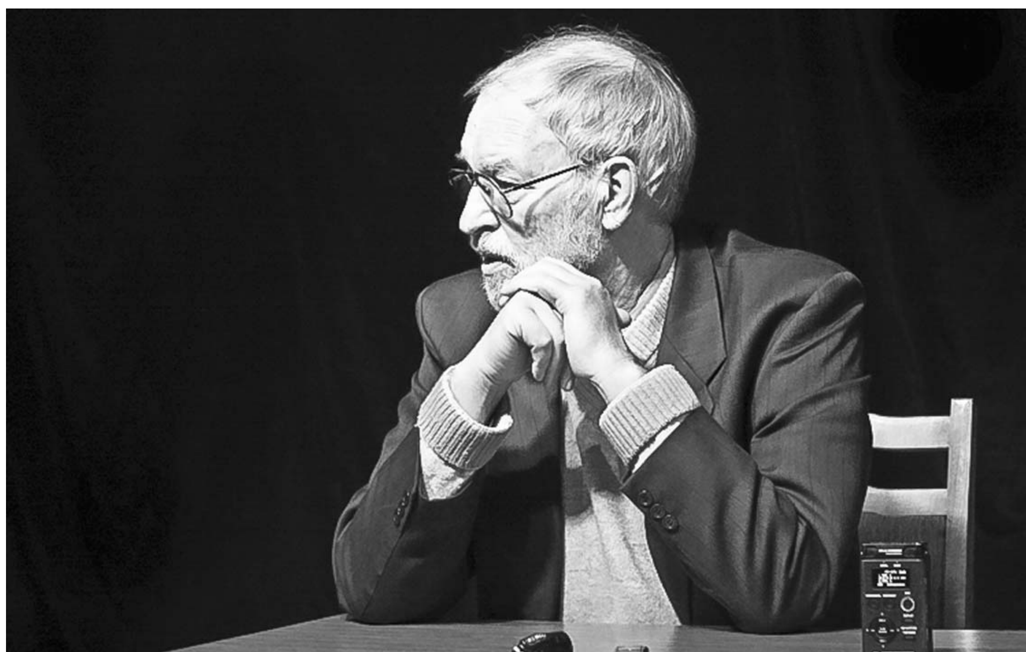
В словах Адомайтиса нет боли и темперамента. Он констатирует факт, и, видимо, этот факт давно и многократно обсуждался. Все перегорело. Красавец-литовец, в которого были влюблены все женщины Советского Союза, не испытывает никаких комплексов падающей звезды. Фильмов уже не осталось, но есть спектакли. Через неделю с Владасом Багдонасом и Юозасом Будрайтисом поедет в Питер играть чеховскую «Чайку». В театр Балтийского Дома их, трех литовских богатырей, пригласили соответственно на роли Тригорина, Сорина, Дорна.

— Удивительно, за пределами Литвы хорошо помнят советское кино. В Москве и Санкт-Петербурге узнают на улицах. Мы оказываемся в центре внимания. А дома молодые нас уже не знают.

Тема «дома» как-то сама собой переходит на наболевшее. Регимантас называет опасным вирусом желание молодых литовцев покидать Литву.

— Одна треть населения уехала за пределы страны. Это болезнь. Вирус. Мои сыновья через эту болезнь прошли. Один живет в Америке. У него автомобильный бизнес. Второй все время колеблется: уехать — не уехать. Хотя бы третий пока дома. Не понимаю, как можно жить в другой стране. Приезжать — да. Но навсегда невозможно.

Сейчас у Адомайтиса трудный период. Он стал вдовцом. Ушла из жизни жена Эугения, с которой прожита счастливая жизнь. Сгорела буквально за месяц от страшной болезни. Когда-то для него пожертвовала успешной карьерой. Родила трех сыновей. Им дали королевские имена: Витовт, Гедеминас, Миндаугас. Теперь у них свои семьи, своя жизнь. Регимантас думал, что никогда не останется один в старомодной квартире с мебелью семидесятых годов прошлого века, с холодными окнами. Самое смешное, что он рекламировал по телевидению евро-



Регимантас Адомайтис на творческой встрече.

окна. Полученного гонорара не хватило, чтобы поменять старые окна на новые, а заказчик-хозяин не догадался помочь известному актеру. Его лицо и его авторитет были необходимы для продвижения продукции, но денежки врозь. Зимой за отопление приходится отдавать целую пенсию. Хорошо, что сыновья помогают, да и сам пока не отказывается от любой актерской работы. Ничего другого делать не умеет. Он давно не знает, что сколько стоит в магазинах и как добывать визу для поездок. Не знает, как включить электрические батареи и приготовить себе завтрак. Главное: он не знает, как теперь жить без Эугении. Она только отпраздновала свое семидесятилетие и ушла навсегда.

Рассказывая, он постоянно уходит в себя, замолкает, преодолевая явно депрессивное состояние. Адомайтис принял предложение работать в жюри фестиваля с радостью. Все же удастся отвлечься и в течение недели увидеть актерскую школу разных стран.

— В школьной самодеятельности я играл гангстеров. Продолжал их играть, когда учился на физико-математическом факультете. Кино закрепило это мое неожиданное амплуа. Не понимаю, почему меня все видели в этих разбойничьих ролях. Актерству стал учиться довольно поздно. Окончил актерское отделение нашей консерватории в 25 лет, и сразу же пошли роли в кино.

Мы едем по узкому шоссе, окруженному чистым лесом. Адомайтис смотрит в окно, долго молчит. Потом начинает что-то напевать своим баритональным басом. Я заметила, что он это делает часто. Просто короткая мелодия без слов.

— Это тренаж. У меня долго были проблемы с голосом. Я его часто срывал, потому что не умел им пользоваться на сцене. У меня не было хорошей профессиональной школы. Многие мои коллеги учились в Москве. Им повезло.

Однажды я прочитал статью в журнале «Театр» и был ошеломлен. Мне открылась простая истина. Я попробовал, как советовали в журнале, и пошло, пошло. Там писали: на сцене надо делать так. Представь, что ты читаешь газету. Выбери в зрительном зале объект. Читай именно ему, не форсируя голос. И, читая, помни о том, что именно хочешь сказать. Как просто! Как гениально! Почему нас в консерватории этому не учили? Я получил в зрелом уже возрасте бесценную подсказку.



Сцена из спектакля «Чайка» — Регимантас Адомайтис (Дорн) и Юозас Будрайтис (Сорин).

Прошу Адомайтиса разрядить серьезный профессиональный разговор, рассказать что-нибудь веселое.

— Однажды я снимался в ГДР на студии ДЕФА и играл, если можно так сказать, «благородного бандита». Это была историческая личность, реальный человек, даже коммунист по убеждениям. Правда, его в финале утопили при загадочных обстоятельствах. Во время той съемки в Германии произошел один случай, который надолго отвратил мой интерес к такому напитку, как пиво.

Идут съемки. На столе расставлены бокалы с пивом. Стоят час-другой. Никто из актеров к ним не притрагивается. Я подошел. Взял бокал. Пью и чувствую: что-то не то. Все же дотянул до донышка и еле успел выскочить из павильона. Оказалось, чтобы пена была естественной, туда налили шампунь. В кино на съемках застолий всякое случается. Немцы накроют шикарный стол и обольют какой-нибудь гадостью, чтобы артисты все раньше времени не съели. Они знали, а мы — нет.

Я много снимался в Германии. За фильм «Дом с тяжелыми воротами» даже получил Национальную премию ГДР. К сожалению, немецкий язык так и не выучил. А было нужно. Вы же знаете, сколько иностранных врагов мы, литовские актеры, играли в кино, в том числе на «Беларусьфильме». Моего товарища Альгимантаса Масюлиса даже прозвали «заслуженным эсэсовцем Советского Союза». В некоторых фильмах он только менял фуражки и погоны. Образ менять было не нужно. Лицо уж очень убедительно зверское. А в жизни совсем другой: заводной и добрый. Мы как мушкетеры — Банионис, Будрайтис, Масюлис и я. Впервые встретились в фильме «Никто не хотел умирать». Потом той же командой участвовали в разных проектах. С Альгимантасом Масюлисом снимался в фильме «Это сладкое слово — свобода». С Будрайтисом — в «Мужском лете». Не помню уже, кажется, и в «Короле Лире», и в «Американской трагедии» встречались.

Позже я решила проверить этот рассказ. В энциклопедическом кинословаре в очень коротенькой статье «Литовская кинематография» они стоят рядом: «Большой вклад в развитие литовского кино внесли актеры Банионис, Адомайтис, Будрайтис, Масюлис».

Адомайтис продолжает вспоминать.

— Всех талантливых литовских актеров сделал Юозас Мильтинис. Он работал и жил в Паневежисе. Я не был его учеником, потому что живу в Вильнюсе. Но я играл и продолжаю играть с его учениками. С Донатасом Банионисом. У нас есть спектакль про Генделя и Баха. Эти композиторы жили в одно время, фактически ровесники, но были такими разными, как Моцарт и Сальери. Гендель был ревнив и самолюбив. Ему славы не хватало. Вы же понимаете, раз отрицательный, то Генделя играю я. А Бах с его огромной семьей, которую надо кормить, не интересуется политикой, интригами, без конца работает. Ну это, конечно, наш мягкий и добрый Банионис. Ему сейчас больше восьмидесяти лет, и он верит этике, заложенной Мильтинисом, как мальчишка. После каждого спектакля что-то записывает. Недовольный. Говорит: здесь я неверно играл, там неправильно произнес. Знаете, я завидую ему. Я не напрягаюсь. А он постоянно анализирует, исправляет, уточняет свою работу. И говорит, что не хочет подвести Мильтиниса, котрый там, с небес, как режиссер его контролирует.

Я хвастаюсь Адомайтису, что успела в далекое юношеское время побывать в Паневежисе, познакомиться с Мильтинисом, увидеть его работу и восхититься ею. Адомайтис меня слегка охлаждает. Феномен Мильтиниса не так прост. Да, его в семидесятые годы прошлого века считали гением, главной фигурой театрального мира. Он создал уникальный театр в провинции, куда ездили учиться из всего Советского Союза. Мильтинис вырастил плеяду замечательных литовских киноактеров.

— Но Мильтинис был страшным диктатором. В последние годы он доходил до садизма. Сажал в зрительном зале с собою рядом собаку и разговаривал с нею, иронизируя над тем, как репетирует актер. Такого многие не могли вынести. Уходили из театра. Терпение Баниониса удивляет. Для него Мильтинис был богом. Он и сейчас не позволяет сомневаться в этом. Наверное, все правильно: у гениев свои чудачества. Жалко, что у молодых сегодня нет таких учителей в плане этики профессии. Они рано сгорают, повторяются, все время спешат и ничего не успевают.

Мы едем в город атомщиков Висагинас. Атомщики-специалисты его давно покинули, потому что закрылась Игналинская атомная электростанция. Небольшой, стоящий среди сосен город как модель сегодняшней Литвы. Коробки недостроенных пятиэтажек. Подъезды и окна первых этажей заложены кирпичом. Одни уезжают. Другие приезжают. Рассказывают, что пожилые вильнюсцы покупают здесь квартиры, чтобы пожить в тишине и грибном, ягодном раю. Экономят, жалуются на дороговизну. И продолжают жить своей привычной жизнью, в которой находится место для красоты, развлечений, культуры и соблюдения законопорядка.

Здесь прижились три международных фестиваля: моноспектаклей, кантри-музыки и национальных культур. В согласии живут люди 40 разных национальностей. Это город технической интеллигенции, входящий по уровню образования в первую тройку городов Литвы. А еще он занимает первое место в стране по уровню рождаемости. Наш театральный фестиваль — под личным патронажем мэра города Дайле Штропайте. Она говорит приветствия не по бумажке и находит поэтические слова и время, чтобы общаться с артистами и смотреть спектакли.

Наш фестиваль называется «Отражение», и мне хотелось рассказать о сегодняшней Литве, ее людях как отражении нашей жизни.

Адомайтис давно не был в этом городе. Его с благоговением встречали. Он, кажется, оттаял. Хочется, чтобы ему было тепло долго, долго.

***Фото* www. festival-panorama.by**

Театр, в который отговаривают покупать билеты

В Харьковсковском авторском театре «Котелок» с вами может произойти все что угодно. В ответ на просьбу продать билет вам могут посоветовать сходить не то что на другой спектакль, а в другой театр. Слова, сказанные зрителем на обсуждении после постановки, могут заставить режиссера изменить ее уже к следующему показу. А самые преданные театралы и почитатели новой драмы могут выйти на сцену, чтобы исполнить роль в репертуарном спектакле.

Об экспериментах и освоении современных текстов с актерами и режиссерами театра «Котелок» Владимиром Снегурченко и Аленой Самойленко мы разговариваем за 700 километров от Харькова — в Кишиневе. Между показами и творческими мастерскими Международного молодежного театрального форума, который этим летом провела в Молдове Международная конфедерация театральных союзов под эгидой и при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств. Спектакль Владимира Снегурченко «Июль» по пьесе Ивана Вырыпаева, показанный в рамках форума, будет удостоен специального приза жюри под председательством известного режиссера Адольфа Шапиро (а белорусский спектакль «Офис» по пьесе немецкого драматурга Ингрид Лаузунд, который поставила в Национальном академическом театре имени Янки Купалы режиссер Екатерина Аверкова, увезет домой Первый приз и приглашение на Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова). Но это будет потом. А пока мы разговариваем одним фестивальным утром, пораньше, чтобы успеть на мастер-класс, который будет проводить для съехавшейся со всего постсоветского пространства театральной молодежи педагог и режиссер Виктор Рыжаков.

Фестивальный показ спектакля «Июль» уже прошел. И то, что увидели зрители в Кишиневе, очень отличается от того, что видели зрители в Харькове, когда работа над этим материалом только начиналась. «*«Июль» прошел этапы от просто читки, потом блиц-спектакля и до полноценного спектакля. «Июль» имеет право на жизнь, пока будет продолжаться поиск*», — рассказывает Владимир Снегурченко со страниц фестивального буклета.

— А что такое блиц-спектакль?

Владимир Снегурченко: Это полуспектакль-получитка. Работа над ним обычно укладывается в пять-шесть репетиций. В блиц-спектакле уже есть какой-то замысел, режиссерское решение. Т. е. это такая проба: выживет на сцене этот текст или нет?

— И если выживет, то превратится в полноценный спектакль?

В. С.: Ну вот «Июль» — удачный пример. Где-то год я читал текст с листа, а потом блиц стал спектаклем. Но элемент блица — текст в руках — я все-таки оставил (хотя пьесу уже знаю): это создает эффект отстранения от персонажа, не погружения в него, а отстранения. Мы давно играем «Июль». Многое уже поменялось в спектакле. Было два охранника, два парня, потом

мы их сняли. Героиня Алены (персонаж, который в начале спектакля выносит герою амулет, а в конце забирает, как бы подчеркивая этим ритуальность действия. — *Е. М.*) появилась тоже не с самого начала. На первом блице на сцене сидели две девушки и кушали гранат, а я читал.

Первое чувство, которое вызывает пьеса Ивана Вырыпаева «Июль» у неподготовленного зрителя, — омерзение. Монолог пожилого человека, убийцы и каннибала, в котором персонаж описывает свой путь в Смоленский дурдом. С кровью и вонью. Но неожиданно в этом монологе обнаруживается двойное дно, и умный зритель понимает, что эта пьеса вовсе не о том, как один человек взял и убил другого, расчленив на мелкие кусочки, а о жизненном пути человека, его заблуждениях, поисках истины и, как ни странно, о любви…

У драматурга Ивана Вырыпаева с этим текстом странные отношения. Недавно он закрыл «Июль» для постановок, несмотря на успех пьесы. Во время мастер-класса в Минске Иван Вырыпаев рассказал, почему принял такое решение. Работая над пьесой, драматургу важно представлять, для кого он ее пишет. И когда Вырыпаев работал над «Июлем», он представлял в зале трех человек: именитого режиссера, модного критика и простую девушку. Пьеса действительно была хорошо принята театральной элитой и экспертами. А вот «простые девушки», обыкновенные зрители, постоянно поднимались на традиционных для новодрамных спектаклей обсуждениях и спрашивали создателей спектакля: зачем они показывают этот ужас? В какой-то момент Вырыпаев осознал, что такого происходить не должно, что пьеса транслирует в зал негативную энергию, и закрыл ее для постановок…

— Скажите, а в Харькове поднимается со своего места в зале простая девушка и говорит вам, что это ужас?

В. С.: Поднимается. Пятьдесят на пятьдесят обычно получается. Половина зала говорит, что это беспросветно. А половина — что в пьесе никакого убийства нет: все события происходят в человеческом воображении.

— А насколько этот материал деструктивен лично для вас?

В. С: Что значит деструктивен?

— Я думаю, что в «Июле» все-таки заложено позитивное начало. А вы находите его? Для вас этот материал гармоничен?

В. С.: Для меня — да. Я не вижу там никаких убийств. Нельзя сказать, что персонаж — это только человек. Это, может быть, что-то большее, некое существо, которое чистит землю. Описание этого процесса — конечно, крайность, но я сейчас говорю о сути. Или это человек совсем другой Вселенной, как Парфюмер Патрика Зюскинда, у него другие ценности. Просто так он ничего не делает — он за что-то наказывает. И в конце его ведь награждают: он встречает любовь. Просто так судьба бы его не наградила? Это такой неоднозначный материал. И мне кажется, что тема убийства в нем — это тупиковая для режиссерского решения тема. А еще ритм у Вырыпаева в пьесе очень красивый.

Ритм — это первая ловушка, в которую может попасть исполнитель «Июля». Все тексты Ивана Вырыпаева очень музыкальны. И подчинить ритм текста своей манере повествования непросто: есть опасность превратиться в клон Вырыпаева. Владимир Снегурченко — музыкант. Он и на режиссерском факультете Харьковской государственной академии культуры очутился из-за музыки: хотел научиться управлять рок-группой «Четвертый реактор», лидером которой он является. Группа, кстати, успешно существует и по сей день. Владимир Снегурченко закончил академию, работает в театре. А симбиоз музыки и режиссуры позволил ему сохранить музыкальность «Июля» и представить его зрителям в своей собственной «аранжировке».

Еще одна опасность этого текста — авторская ремарка: пьесу должна читать женщина. В московском театре «Практика», где поставлена одна из самых известных версий «Июля» (режиссер Виктор Рыжаков), это условие было соблюдено — текст читала утонченная

Полина Агуреева, актриса театра Петра Фоменко. Для чего Иван Вырыпаев обозначил в начале пьесы пол исполнителя, в принципе понятно: чтобы обезопасить создателей спектакля от излишнего натурализма, который, скорее всего, появится, как только «Июль» прочтет мужчина. Но Владимир Снегурченко пошел нехоженой тропой отчуждения от персонажа, о которой часто говорит Иван Вырыпаев, но которой редко следуют те, кто берется за его тексты. Снегурченко рассказал июльскую историю, очень ясно обозначив ее ритуальный концепт: я шаман, я проводник, я рассказываю вам о чужой жизни, которая никак со мной не связана, мне просто хочется о ней рассказать.

— Почувствовали ли вы сопротивление вырыпаевского текста, приходилось ли вам что-то преодолевать?

В. С.: Мы до сих пор преодолеваем. Например, никак не получается сделать целостной вторую часть пьесы. Не удается пока найти такой же сильный эквивалент сюжету, как в первой части.

Алена Самойленко: Очень сильно контрастируют первая и вторая часть текста.

В. С.: Но, может быть, вторую часть не всем надо слушать. В пьесе же написано: «Кто пойдет дальше, а кто…»

Кто пойдет дальше, тот обязательно окажется в числе главных героев, потому что главный герой в театре-лаборатории «Котелок» — это зритель. Его регулярно знакомят с новинками драматургии. То, что говорит зритель после спектакля на обсуждении, внимательно слушают. В конце концов зрителю предлагают выйти на сцену и прочесть текст самому. И не в процессе импровизации на одном из спектаклей, а на равных с актером, с репетициями, по всем театральным правилам.

— Расскажите о вашей работе с современными текстами.

В. С.: Мы стараемся читать как можно больше современных пьес. Каждый понедельник устраиваем читки, куда могут прийти все желающие. Наш театр организовывал фестиваль негосударственных театров «Курбалесия»,



«Июль».

правда, в последний раз его организовывала только дирекция, которой надоела новая драма, и там сказали: будем делать нормальный хороший театр (т. е. без новой драмы и без мата).

— А как ваши спектакли, блицы, читки воспринимают зрители?

В. С.: Зрителей к нам приходит немного, хотя мы единственные в Харькове, кто работает с новой драмой. Но все же еще живут в этом мифе хороших, красивых театров.

— В Минске в Центр белорусской драматургии, который работает с современными текстами, на читку в среднем приходит человек пятьдесят.

В. С.: В Харькове — человек двадцать-тридцать (население Харькова около 1,5 млн. человек. — *Е. М.*). Есть постоянные зрители, которые приходят десять, пятнадцать раз, чтобы посмотреть «Июль» или «Кислород». Читки, блицы, спектакли у нас проходят регулярно. А в Доме актера, кстати, где «прописано» и несколько других театров, к нам достаточно негативно относятся. Вплоть до билетерш, которые шепчут зрителям: «Вы в этот театр лучше не ходите, лучше вот в этот билет купите».

— Я знаю, что на блицах вы читали и белорусских драматургов.



«Июль».

В. С.: Да, читали. «Трусы» и «Поле» Павла Пряжко, например. Но это было давно…

А. С.: Обычно мы читаем пьесу, как только она выходит. Читаем что-то каждый понедельник. Потом обязательно устраиваем обсуждение. После всех спектаклей «Котелка» мы тоже устраиваем обсуждения со зрителями. Кто хочет уйти, у кого нет желания говорить, тот может уйти, но многие остаются и обсуждают — пьесу, режиссуру. Иногда мнение зрителя может изменить спектакль. Бывает, что предлагают очень интересные вещи.

В. С.: Мы делаем блицы с участием зрителей. Вот сейчас Алена выпустила спектакль «Вий. Докудрама» Натальи Ворожбит, и у нее там ни одного артиста нет — все из зрительного зала.

А. С.: Мне нравится работать с непрофессионалами. У них есть драйв, нет актерских канонов, они не «замылены», они настоящие, и у них есть удивительное желание играть. Это совсем по-другому, чем с артистами.

В. С.: Другое дело, что мы не знаем, как этот спектакль будет жить и развиваться. Но на первых порах очень интересно.

— Это первый такой опыт для вас?

В. С.: Нет.

— А как все начиналось?

В. С.: С обсуждений после блицев. Иногда делали несколько блицев подряд, и тогда требовалось много людей. Начали привлекать активных зрителей.

— А как они мотивируют свое желание поучаствовать? Это же разные вещи: когда человеку восемь лет и он выходит играть зайца, и когда человеку 25 лет и он выходит читать новодрамный текст.

В. С.: Вот вы бы вышли?

— Не знаю.

А. С.: Мои ребята говорят, что сначала страшно, а потом внутри просыпается что-то нереализованное. Нелегко, конечно, но на такого актера не сваливается ответственность, ему просто дают попробовать что-то сделать.

В. С.: Им всем интересно. А если еще у тебя начинает получаться, если тебя еще отобрали для участия…

А. С.: Драйв, экстрим.

— Какие у вас остались впечатления от работы с непрофессионалами?

В. С.: Другой язык. С ними надо по-другому общаться. Я думаю, что блиц с ними сделать проще, а как Алена выпустила с непрофессиональными актерами спектакль — я не знаю.

— И этот спектакль будет идти в репертуаре?

А. С.: Да. В зале, кстати, мне никто не верит, когда после спектакля я говорю, что на сцене нет ни одного профессионального актера.

В. С.: Но в нашем театре нет такой практики: сделали спектакль — и больше к нему не прикасаемся. Постановка постоянно дополняется, репетируется, перед каждым показом нужно найти что-то новое.

А. С.: Новые образы, мизансцены. Может и замысел немножко измениться. Так что работа над этой постановкой продолжается. Недавно у меня был предпремьерный показ «Вий. Докудрама» для своих, а через месяц премьера, — и мне кажется, что это два разных спектакля.

В. С.: Но существует опасность — эти ребята творчески растут до определенного момента, а потом могут начаться сложности.

А. С.: У нас в репертуаре есть спектакль по пьесе Дороты Масловской «Двое бедных румын, говорящих по-польски». Там два человека из зрительного зала и два профессионала. И даже если что-то барахлит — есть актеры, которые могут вытянуть на себе спектакль. А работать с полностью непрофессиональным составом мы пробуем впервые. Пока все очень здорово, а как они будут работать через год-полтора, я еще не знаю.

— Ваш опыт позволяет выделить причины, из-за которых с непрофессионалами легче работать над новодрамной пьесой, чем с профессионалами?

А. С.: У них текст начинает жить, потому что им это близко. А актер начинает задавать вопросы «почему?», «зачем?». Людям, которые не учились быть актерами, все понятно без этих вопросов. Им не нужен разбор, у них интуитивная мотивация.

В. С.: Но если ты захочешь обсудить с ними эти вопросы, то у тебя ничего не выйдет — им сразу становится скучно.

А. С.: Для них текст естественен, а актерам часто тяжело браться за новодрамный текст. На фестивале «Курбалесия» один режиссер позвал прочитать текст актеров из академического театра. И сразу же началось: «Ну как это можно читать? Здесь же театр! А это что за пьеса?!»

В. С.: Мы же работаем со зрителем не только потому, что хотим привлечь людей с улицы на сцену. А еще и потому, что студенты к нам после института не идут. Им там вбили в голову, что новая драма — это чернуха, мат и этого всего не надо.

— А с каким-нибудь другим материалом, кроме новой драмы, вы работаете?

В. С.: В «Котелке» не работаем, но если надо, то без проблем.

А. С.: Володя участвовал в блиц-турнире на фестивале «Homo ludens» в Николаеве. Сначала разговор шел о современном тексте, а на месте директор предложил сделать пьесу Алексея Толстого «Царь Федор Иоаннович». И за неделю сделали блиц для большой сцены. Все равно, какой текст брать — было бы с кем и материал интересный.

Если интересного материала нет, значит нужно его придумать. Кроме всех прочих творческих занятий Владимир Снегурченко еще и драматург. Признается: писать начал, потому что нечего было ставить. Такая универсальность характерна для многих участников современного театрального процесса. И обусловлена она скорее необходимостью, чем желанием режиссеров писать, а драматургов ставить: работать с современным текстом сегодня умеют немногие, эта область по-прежнему остается экспериментальной. Для Владимира Снегурченко работа с современной пьесой не ограничивается пространством «Котелка». Два своих текста — «Северное сияние» и «Времени нет. За стеклом» — в этом году он поставил в Киеве, в Центре современного искусства «ДАХ». И из



Афиша спектакля «Вий. Докудрама».

«Времени нет. За стеклом» Владимир сделал рок-спектакль. Научил артистов петь и играть на музыкальных инструментах и положил текст на музыку. «Северное сияние» он вообще поставил случайно. Ехал делать один спектакль, а в итоге получилось два.

— В Украине ваши пьесы легко попадают в репертуар экспериментальных театров?

В. С.: У нас экспериментальных сцен почти нет…

А. С.: В Украине сложная ситуация с новой драмой. Своих не хотят ставить. Даже Наташу Ворожбит, которую очень хорошо ставят во всем мире. Наш театр делал ее «Демонов». В этом году я поставила ее «Вий». Но у нас постановок по ее пьесам мало. Сейчас она пишет за рубеж. Но пишет ведь для нас и хочет, чтобы ее ставили. Но в Украине своих не ставят. Пока Володя сам не сделал спектакли по своим пьесам, они мало кого интересовали.

В. С.: О репертуарных театрах речь вообще не идет, о том, чтобы попробовать пробиться на их сцену. Но с другой стороны — пьесы ведь экспериментальные… Мне кажется, у вас в Беларуси такая же ситуация.

Снегурченко прав. Пьесы Павла Пряжко с аншлагами идут, например, в Москве и в Питере, вызывая дискуссии среди критиков и зрителей, но не в родном для Пряжко Минске. В России он получает главный приз на престижном «Конкурсе конкурсов», который проводится в рамках российской Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска». Анатолий Смелянский говорит о новаторстве языка драматурга. В Беларуси большинство режиссеров не видит новаторства, не понимает, как работать с таким текстом, или не желает «ложиться костьми», чтобы протащить Пряжко в репертуар.

Новая драма приживается в современном театральном процессе болезненно (от «я не буду это ставить/играть» до «не покупайте билет на этот спектакль»), но в ее жизнеспособности сомнений ни у кого не возникает. И появление текстов Ворожбит, Пряжко и иже с ними на родных театральных площадках — дело времени. Во всяком случае, оптимизма театральные новаторы не теряют. В «Котелке» продолжают «вариться» экспериментальные пьесы, а Владимир Снегурченко поднимается на сцену, чтобы получить приз на престижном театральном форуме.

Елена МАЛЬЧЕВСКАЯ,
***фото* www.teatr-kotelok.at.ua**



Полынь пахнет по-белорусски

В творческом багаже Ганада Чарказяна три романа. Это немало для писателя, работающего на два «цеха», на два крыла — прозу и поэзию.

Роман не пишется, как стихотворение, за один присест. Его долго вынашивают, прежде чем потом «родить» на бумаге. Как-то выписал для себя высказывание Льва Николаевича Толстого: «Я давно уже думал, что эта форма отжила, не вообще отжила, а отжила как что-то важное. Если мне есть что сказать, так я не буду описывать гостиную, закат солнца и так далее, как развлечение, не вредное себе и другим, — да, я люблю это развлечение. Но раньше на это смотрел как на что-то важное: это окончилось».

Так сказал гений! Видимо, неинтересно стало создавать подобие жизни. Куда интересней сразу, «без предисловий», говорить дневниковую правду. Тогда и критики не будут спорить: «Могло ли быть подобное или не могло, правда это или ложь». И не только к себе обращал Толстой слова: «не сочинять, а рассказывать». «Рассказывать» — это прежде всего говорить правду. У романиста всегда задача одна из самых трудных. Прежде всего нужно воссоздавать время, иногда далекое от автора. Необходима большая сила воображения. Одновременно требуется и большая психологическая работа, чтобы лепить характеры, воссоздавать людские судьбы. Нужен прежде всего большой жизненный опыт.

Думая и размышляя о времени, писатель должен думать и о своем читателе. Ведь за письменный стол наверняка он садится с мыслью: «Будут ли меня читать?» Сегодняшний читатель избалован остросюжетностью. В угоду ей чаще всего появляется схема, только контурная обрисовка характеров. А сама глубина исчезает. Все это понимает и учитывает и Ганад Чарказян. В романе «Багровый закат» устами своего героя Андрея Храброго писатель рассуждает так: «По большому счету, от каждого писателя остается немного. То действительное новое и выстраданное, что он явил миру. Проблема в том, что люди мельчают, теряют потребность в простых и вечных ценностях, а значит и в литературе, что испокон была их хранителем. Им вполне хватает рекламы по телевизору. Куда же делось поколение романтиков, веривших в лучшее будущее для всех людей? Неужели мы прожили жизнь впустую?»

В сюжете романа много неожиданных ходов и как будто нет второстепенных героев, есть свой трагизм в судьбе почти каждого персонажа. Самые разные темы затрагивает автор. Взволнованно пишет он о Чернобыльской зоне, куда попадает в начале романа его герой Артур. Убедительно, совсем не сгущая краски, показывает и здешнюю природу, ее унылость: «Такой крапивы Артур никогда не видел, она стояла грозной стеной, чувствуя себя не случайной и назойливой гостей, а полноправной хозяйкой всего, что она заполнила вокруг. Такое соседство также усиливало чувство защищенности, хотя чуть заметно раздвинутая и кое-где пригнутая крапива еще хранила следы его проникновения. Стороннему взгляду могло показаться, что просто ветер прошелся в зарослях. Завтра к утру трава распрямится, сомкнет свои нарушенные ряды, и никто не догадается, что кого-то приютила эта заброшенная банька. Как тихо. Ни петушиного пения, ни стука топора, ни визга пилы. Заповедник тишины. Так бы и сидеть в этом укромном местечке, растворяясь в этой тишине, слушая шелест листвы, шорохи трав. И ничего не знать о том большом и жестоком мире, где творит

свои дела самое страшное животное на земле…»

Его произведения — и стихи, и рассказы, и даже чаргави (четверостишия) — внутренне как будто связаны одной общей нитью, все в них перекликается, взаимодействует, подводит и уводит, соединяет в единое целое и тут же ветвисто разъединяет. Есть своя внутренняя и даже сюжетная взаимосвязь и в его романах. Вот и предыдущий «Не умирай раньше смерти» (другое название «Опередить смерть») как будто подготавливает нас к новому, возможно, более важному действу, которое будет совершаться уже по другим законам жизни.

Много самых разных мыслей возникает сразу по прочтении этих двух романов, но самое главное, они заставляют задуматься о времени, в котором мы живем. В непростом, скажем прямо, времени. Иногда кажется, что все войны, катастрофы, неурядицы и недоразумения происходят не где-то в каких-то отдаленных точках земли, а в сердце каждого из нас. Всевидящий глаз телевизора показывает нам слишком много печального и страшного, но вот в душу человека он по-прежнему заглянуть не может. Но существует такой глаз, который пытается подобное делать, и часто ему это удается. Я имею в виду всепроницающий взгляд писателя. Настоящего писателя.

Поколению Ганада Чарказяна довелось быть свидетелем самых разных жизненных потрясений, конфликтов, необычных перемен. На его глазах рушилась некогда могущественная и непоколебимая держава, приходили к власти одни правители и уходили другие. Самые непредсказуемые события и имена мелькали, словно в ускоренной киносъемке. Но это так кажется, когда смотришь издали, с расстояния десятилетий. На самом деле время двигалось своим обычным шагом.

Я не спрашивал у Ганада Чарказяна, сколько времени забрал у него роман «Горький запах полыни». Думаю, что немало. Почти два десятка лет его главный герой Глеб Березовик провел в афганском кишлаке, пока, наконец, не вернулся в родную деревеньку на Пуховщине. А самому автору потребовался взгляд куда более широкий и глубокий, чем его герою. Уже с первых страниц романа убеждаешься в том, что Ганад Чарказян хорошо знает тот жизненный материал, который ему надо преподнести читателю. Он отлично ориентируется на местности, которую изображает, глубоко чувствует душу афганского народа. Видно, что ему близко и знакомо то, что приходится переживать его героям. В конце концов всеми их поступками, замыслами и мыслями движет он, писатель, который не хочет изменять исторический, общеизвестный фон событий. И главный герой его совсем не обыкновенный. Он приходит на чужую землю не завоевателем, а спасителем. Однажды у пруда он спасает жизнь маленькому Ахмеду, которого укусила змея. Высосал яд из раны мальчика, едва при этом сам не поплатился жизнью.

Все события романа «Горький запах полыни» происходят на земле Афганистана, где Глеб Березовик однажды очутился с контингентом Советских войск. Но основа романа — белорусская, ибо Глеб — белорус. Вот и имя ему автор дает наше, заземляя его на нашей «глебе». Через самые неожиданные испытания проводит Ганад Чарказян своего героя, его жизнь всегда висит на волоске. Он находится все время под прицелом, смерть вглядывается в него своим пристальным взглядом. В конце концов эта чужая земля становится ему родной. Но все же, и в мыслях, и наяву, он упорно ищет свою тропку возвращения на родину, рассуждая иногда следующим образом: «Неужели для того встретились мои мать и отец, чтобы я добавил немного своей крови к уже немерено пролитой на этой земле? И только для того, чтобы сделать алые маки еще немного алее. Или расплатиться за эту чужую кровь, что пролилась здесь в какой-то мере и по моей вине. Именно я и был тем человеком с автоматом, гранатометом, с минами и реактивными снарядами, бездумно — как и положено солдату, выполняющему приказы, что несли смерть всему живому в этих горах и долинах. Но сказать сегодня, что это чужая земля, чужие долины и горы, — я уже не мог. Ведь здесь я

оставил не только свою молодость, лучшие годы жизни, но и самое дорогое, что у меня было». Вот так судьба поворачивается иногда к человеку совсем неожиданной стороной. Хорошая это или плохая сторона в нашем случае — сказать трудно. Все как будто и благополучно складывается в отношениях Глеба с семьей Сайдуло, но внутренний голос говорит нашему герою обратное. Он не дает ему сна и покоя, настойчиво зовет домой в родную Блонь. Все эти мучительные годы — почти два десятилетия, — и есть нелегкий путь возвращения на родину. Не долгая, а слишком долгая дорога домой!..

Судьба… Это слово неоднократно повторяется почти в каждом произведении Ганада Чарказяна. А вот и авторское рассуждение относительно нее: «Так что же такое судьба? Результат нашего осознанного или интуитивного выбора? Или наоборот — готовности принимать все, что прибивает к нашему берегу? Правда, часто мы просто лишены возможности выбирать. Большие события захватывают нас и уносят. Накладываются на судьбу и случайности природных катаклизмов. Выбирать себе судьбу может только человек с феноменальным нюхом. Да и то оказывается часто у разбитого корыта. Обычный человек не дергается — спокойно, далеко не заглядывая и ничего не просчитывая, принимает все, что сваливается на него. В лучшем случае выбирает меньшее зло из тех нескольких, что предлагаются ему. Или вообще уклоняется от выбора, пуская все на самотек, чтобы потом, в случае особенной неудачи, только тяжело вздыхать и повторять это магическое и завораживающее слово — судьба».

Жанр романа позволяет писателю конкретизировать и даже обобщать то, что часто штрихами намечалось в его стихах и малых рассказах. И даже описывая отдельный случай, он стремится как можно больше сказать о судьбе человека, используя при этом и соответствующие детали. Автор ищет свои приемы углубления в психологию человека, у него свое видение человеческой натуры, острое ощущение природы, почти мифологическое проникновение в ее загадки.

Сама тропа, на которой и прочерчивается судьба человека, — один из самых ярких образов романа. И даже размышления главного героя привязаны именно к ней: «Я шел по узкой каменистой тропе, где столетиями ходили люди, занятые своими мыслями и проблемами. Какими были их мысли — одному Аллаху ведомо. Узкая извилистая тропка — вот и все, что осталось от тысяч людей, протоптавших ее. Теперь и я вношу свою лепту в сохранение этой вековой и, несомненно, нужной людям тропы. Да и что остается от всех нас? Только малые дорожки, которые мы топчем. И поэтому они никогда не кончаются. Правда, некоторые из них превращаются в дороги. Но это исключение. Да и в том, что остается после тебя малая, но все-таки заметная тропинка, есть высшая справедливость. Тропа — скромный путь от человека к человеку, от отца к сыну, сохраняющий живой отпечаток души идущего. Дорога же безлична и бездушна. По ней не идут, но катятся в такое же безличное и пресное будущее».

Безусловно, герой каждого произведения почти всегда идет той тропой, по которой ведет его автор. Верный этот путь или ошибочный, но выбирает его только автор. Высшая сила здесь только он. Ну а высший суд и высшая справедливость?.. Эти роли всегда отведены читателю. Если последний поверил автору — значит замысел удался и труд был не напрасный. Путь домой Глеба Березовика мог бы быть значительно короче, но вряд ли он удовлетворил бы читателя, уже сразу настроившегося на долгое «хождение по мукам». Путь герою отмерен в самом деле мученический. Выбор у Глеба Березовика один: жизнь или смерть. Смерть — самый простой выход. Оступился малость — и внизу пропасть. Она, пропасть, всегда перед глазами. Смерть, как говорил мой армейский старлей, — это выход из положения, но положение, из которого нет выхода. Значит надо хвататься за жизнь, даже если она висит на одном тонком волоске. Но дадим слово самому герою: «Я впервые почувствовал, как жизнь может делать с человеком все что захочет. И только смерть запретит ей это своеволие. Но готов ли я умереть для того, чтобы остаться только Глебом Березовиком? Тем более, что

уже давно стал для всех окружающих Халебом (так называют его в кишлаке. — *К. К.*). Путь к другому человеку наполовину пройден. «Нет, — вынужден был честно сказать себе самому, — я не готов умирать только для того, чтобы сохранить привычное и простое единство личности. Значит, я должен принять те условия, которые мне диктует возможная жизнь. Единственное, что в моих силах, — постараться как можно дольше растянуть принятие этих условий. Кто знает, что может произойти. Вдруг какая-то неопределенная случайность из этой беспощадно гнущей реальности. Но ведь главное — это не дать ей меня сломать, уничтожить, развеять прахом в этой всепоглощающей афганской пыли». А «случайностей» на спасительной тропе Глеба Березовика слишком много. Но он уже принял иные правила игры. «Я умер и снова воскрес, — признается Глеб. — Умер для прошлой жизни и родился для новой». Как много испытаний стоит за этим неожиданным признанием! Сомнения, обиды, унижения, поиски выхода из трудной жизненной ловушки не унижают, не сгибают почти отчаявшегося простого деревенского парня, а наоборот, придают ему еще более уверенности в себе. Если что-то еще и спасает героя в этой немыслимой ситуации, так это сильное чувство родины. Оно сильнее, может быть, всех других чувств, присущих человеку. И хоть о нем почти нигде автор не говорит открытым текстом, всем своим содержанием чувство вырастает в тему, звучание которой с каждой страницей становится все ощутимей. А переживания и раздумья главного героя только усиливают ее звучание.

Внимательно вчитываясь в страницы романа «Горький запах полыни», я вдруг вспомнил давние стихи Ганада Чарказяна, очень созвучные этому произведению. Может, тогда уже было у поэта предчувствие будущего романа? Вот строки из стихотворения «Родина — заграница»:

Счастливо жить и спокойно трудиться
под крылышком Родины, малой, большой,
и оказаться вдруг за границей
с кровоточащей душой!..

Нет, не понять человеку простому,
как, почему вдруг теперь,
чтобы добраться к дому родному,
надо чужую взламывать дверь?!

Дверь, за которой очутился Глеб Березовик, была надежно-железной. Эту дверь с какого-то времени Глеб начал ощущать в себе. В нем давно уже началась внутренняя борьба двух личностей — жалкого несчастного раба и счастливого, заново родившегося человека, но уже с чужим лицом и паспортом. Он понимал, что характер его зависит не столько от генного начала его родителей, но и от характера родной, нежной и неповторимой белорусской природы. Но теперь перед ним чужая природа, «потрясающие рассветы и закаты». Их великолепие и мощь примиряли человека с чужим и неведомым ранее миром и делали его своим. Свою немаловажную роль сыграла и любовь, которая с такой необычной силой разгорается тут, на чужой земле: «Я понимал, что так незаметно может пролететь и десять, и двадцать, и тридцать лет. И даже вся жизнь, которая безвестно успокоится потом под острым камнем, хотя все еще надеялся на какие-то повороты в моей судьбе и спасительные случайности. Надежды эти становились просто привычным аккомпанементом к простой и понятной песенке моей жизни. Иногда, особенно по ночам, накатывало отчаяние. И казалось тогда, что песенка моя спета, а в том, чтобы повторять ее незатейливый мотив, нет никакого смысла. Но приходило утро, звучало знакомое «Хале-еб!», лучились счастьем глаза Дурханат, и появлялись ямочки на ее упругих щечках. И сердце отзывалось на ее улыбку, оживало, снова надеялось и ждало».

Простота, доверительность, непринужденность авторского повествования как-то незаметно создают впечатление документальности материала и располагают к себе читателя. Это именно тот случай, когда писатель не сочиняет, а рассказывает. Ну а если уж касаться стиля, то он тоже особенный, похожий на медленную, даже усталую ходьбу, может, потому, что автором всегда руководит

присутствие дороги и горной местности. И сама интонация повествования почти мелодичная, в неторопливом ритме движения. В стиле чувствуется характер самого писателя, как и должно быть в настоящем произведении. Ганад Чарказян одинаково увлеченно описывает природу белорусских равнин и непривычных нам гор и ущелий. Но краски у них разные. Здесь, в Беларуси, они более мягкие и тихие, там же, на земле афганской, у них оттенок более суровый и яркий. Но когда мы смотрим на них глазами автора, в каждом изображении видим свою привлекательность. Сами пейзажи — только фон, они не играют, а подыгрывают действию. Впрочем, в прозе, которую пишет поэт, всегда присутствуют поэтические приемы. В размышлениях и раздумьях героев, в самих пейзажных зарисовках это всегда чувствуется. Ну а самое главное, пожалуй, в том, что все изображаемое автором цементируется на суровой правде. Нет здесь каких-то ускользаний от темы, недомолвок. Когда-то Герцен сказал: «То, о чем не осмеливаются сказать, существует наполовину». У иного писателя и «половину» такую отыскать невозможно. Я не говорю здесь о так называемой смелости, о которой часто любят спорить пишущие люди. Вся писательская смелость видится тогда, когда ты сумеешь уговорить перо свое быть послушным своему сердцу.

Но кроме всего существует и оно, «веленье Божье». Вот о чем необходимо всегда помнить.

Да, роман «Горький запах полыни» очень динамичный, насыщенный событиями, которые очень органически вплетаются в его сюжет. Ганад Чарказян мастерски, в деталях описывает все то, что случается с его героями, он умело пользуется диалогом, не отягощая его морализаторством. В диалогах, как и в стихах, автор по-восточному краток, мудр и точен. В романе очень много впечатляющих сцен. Но самой поразительной мне показалась та, которая предстает перед нами в самом начале романа. Это — сцена казни американского летчика. Сама сцена очень трагическая, в то же время очень зрелищная. И выписана автором психологически точно. Летчику, который недавно бомбил мирный кишлак, устраивают публичное судилище. Кратко, но очень убедительно описывает автор моральное состояние виновного: «Раньше я думал, что выражение «побелел как мел» просто фигуральное выражение, словесное украшение. Но лицо рыжего действительно стало белым, а веснушки почти черными — как будто на лист белой бумаги сыпанули горсть гречки. На какое-то время летчик потерял дар речи. Потом схватил меня за руки и с трудом выдавил: «Деньги, много, очень много денег! Скажи им».

Деньгами откупиться несчастному и виновному не удается. Суд старейшины рода неумолим. Автор передает нарастающее напряжение зрелища, гнев самой толпы, которая вершит самосуд: «Испытывая все нарастающее отвращение к этому зрелищу, я все же не мог оторвать от него взгляда. Словно действовали некие силы противостояния, которым невозможно сопротивляться. Каждый в этой толпе — и я в том числе — ощущал себя не только убийцей, но и жертвой. Это давало такой всплеск ощущений, с которым ничто не могло сравниться. Я впервые понял, что, убивая другого человека, ты убиваешь самого себя. И получаешь от этого какое-то опустошающее, но все-таки удовольствие. А то, что ты делаешь это вместе со всеми, как будто смывает и прощает твой грех — убийство себе подобного. Ведь оно всегда есть, нарушение главной заповеди человеческого общежития — «не убий». Даже тогда, когда мы убиваем и самого убийцу.

Но вот напряжение начало спадать. По мере утоления праведного гнева толпа стала терять монолитное единство. Кто-то делал только небольшой шаг в сторону, кто-то отходил в близкую тень и уже оттуда наблюдал за происходящим. Кровавый спектакль подходил к концу. Такие крупномасштабные сцены писателю всегда даются трудно — ведь фокусный взор на происходящее должен рассредотачиваться. И при этом важно, не потерять отдельных, характерных и может быть, определяющих деталей. Все, конечно, зависит от мастерства и таланта художника. Писателю ни в коем случае не следует быть созерцателем, свидетелем действия. Он должен быть его активным

соучастником, как это и есть в романе «Горький запах полыни». Автор убедительно, словно вдумчивый исследователь, показывает нам настоящую суть и психологию толпы, все ее взрывные возможности, опасность и непредсказуемость. В нашем случае ведь никто не нажимал на спусковой крючок, не целился. Люди убивали себе подобного теми самыми мотыгами, с которыми потом уходили обрабатывать землю и добывать хлеб для продолжения жизни.

В романе не найдешь авторских отступлений, все обобщения и выводы, которые напрашиваются после подобных сцен, автор вкладывает в уста своего главного героя. И то они часто кончаются вопросительным знаком. Надо всегда дать возможность поразмыслить и самому читателю. Его соучастие писатель никогда не отрицает. Вот каким раздумьем оканчивается вышеупомянутое действо: «Стоя на здешнем кладбище среди острых вертикальных камней без всяких опознавательных знаков, под которыми нашли последний приют мученики этого мира, я думаю о справедливости безымянности. Ведь мы приходили из неизвестности и уходили тоже в нее. Мы только капельки могучего, не иссякающего, постоянно обновленного потока. Ведь солдаты могущественной страны, где стоимость жизни точно определена страховкой, обращаются со своей жизнью точно так же — легко и бездумно, всегда готовые рисковать ею. Они словно играют в рулетку. Это тот единственный смысл, который им понятен. И какова же подлинная цена жизни. Цена смерти? Кто же дает и назначает ее?»

Смерть — само по себе страшное слово, но оно совсем легко произносится многими из нас живых, особенно людьми молодыми. Вопрос жизни и смерти все время остро стоит перед героями романа. Ведь действие его происходит в стране, и прошлое и настоящее которой окрашено пламенем не одной войны, где слова «жизнь», «кровь», «месть», «смерть» ни на минуту не исчезают из разговоров.

Ценен роман Ганада Чарказяна и в смысле познавательном. Увлеченно описывает автор обычаи, культуру древнего народа. Глазами белоруса смотрит на здешние праздники, часто сравнивая их со своими, находя и здесь что-то похожее или даже общее. Вот как, например, говорится о празднике наврузе: «Афганский навруз — в переводе «новый день» — похож на нашего Ивана Купалу. Он связан с древним культом Солнца и его гениальным пророком Заратуштрой. Но только мы уже прощаемся с солнцем, когда оно только начинает уходить с небосклона, а там радостно встречают его первую победу — день весеннего равноденствия. Пусть тьма и свет пока уравновешены, но солнце с каждым днем прибывает, дарит живущим новые плоды и новую жизнь. Как и наш Иван Купала, навруз тоже сопровождается прыжками через огонь — семь прыжков очищают от всех грехов. Ведь огонь — это тоже маленькое солнце, сжигающее всю нечисть».

Свою оценку дает Ганад Чарказян и афганской войне, в которой наши солдаты оказались в качестве «непрошеных» гостей, даже захватчиков: «Именно на территории Афганистана и кровью его наивного и воинственного народа велась глубокая разведка боем. Отыскивались слабости противника, испытывалось новое оружие, отрабатывались стратегия и тактика горной войны». Но у героя романа есть свое, белорусское восприятие событий. Часто автор делает и для себя, и для нас совсем неожиданные открытия: «Помню, что первый прилив неожиданной гордости я испытал, когда после уничтожения группы моджахедов нашел в бункере убитого главаря одного из отрядов книгу «Партизанская война в Белоруссии». Оказалось, что Саид-хан лет десять назад окончил строительный факультет нашего минского политехнического института. Но построить, видимо, ничего не успел, а вот воевал довольно успешно отчасти и потому, что использовал наш героический опыт в войне с фашистами.

Тогда мне впервые пришло в голову, что нас тоже могут воспринимать как непрошеных гостей, даже захватчиков. Ведь почему-то явно не глупый парень все же воевал с нами. Значит, чувство благодарности за высшее образование

перевешивалось какими-то другими чувствами, более сильными. Почему-то не стал он и на сторону революции, которая дала землю крестьянам».

Противоречия в стране, как показывает автор, иногда зависят от противоречий, которые происходят в самом человеке. Правильный взгляд всегда верен и виден только на расстоянии. В минуты же непредвиденные, неожиданные человек иногда поступает опрометчиво, необдуманно. Сама обстановка и мгновение, которое отпущено человеку в данной ситуации, не дают шанса на взвешенность и единоправильность поступка. Все эти бесспорные вещи старается учитывать в своем творчестве Ганад Чарказян.

Мое чтение романа затянулось, ибо он печатался в двух номерах журнала «Нёман». Но произведение захватило, захотелось его перечитать. Я посоветовал прочесть этот роман своим знакомым и близким. Действительно, ничего подобного в нашей литературе я не читал. По своему художественному воплощению известных событий афганской войны роман можно поставить в ряд лучших достижений мировой прозы. Читателя все время не покидает ощущение некой документальности событий. Да, случаи, которые описывает автор, или похожие имели место в той памятной войне. И само конкретное название местности — деревни Блонь неподалеку от Марьиной Горки на Пуховщине, где я не однажды бывал и совсем недалеко от которой находится моя дача, — тоже заставляют поверить в подлинность описываемых событий и в существование конкретного героя.

— С кого вы это все писали? — именно такой вопрос часто задают автору. Не ушел от этого и я сам.

— Что, и в самом деле существует такой человек, с которого ты писал своего Глеба Березовика? Если да, тогда все понятно, — сказал я как-то Ганаду.

На это Ганад Бадриевич только усмехнулся, а потом, помолчав, сказал примерно так:

— Да нет же, никакого конкретного человека на самом деле нет. Все это я списывал у войны…

Роман написан его рукой, кровью и правдой войны, а еще его сердцем и воображением. А образ Глеба Березовика, конечно же, обобщенный и собирательный, автор лепил во многом из глины своей души, что-то черпая из рассказов очевидцев, из прочитанного, что-то домысливая. Как признался мне Ганад Чарказян, помогали ему в его работе и те же солдатские дневники, о которых мы упомянули выше. Видимо, оттуда взят и трагический случай в горах. Я даже подчеркнул это место в романе: «Патрон в патроннике — классическая ошибка новичков или полусонных солдат. Джафар забыл, что загнал патрон в патронник, когда ткнул меня дулом в живот. А проверить не догадался. Арман, дернувший что есть силы, скользнул пальцем по курку. А так как присутствовала и вторая ошибка — автомат был снят с предохранителя, — то случился выстрел. Шомпол пробил Джафара насквозь и вошел наполовину в старинную стену». Выстрел, надо пояснить читателю, случился во время чистки Джафаром оружия. Шомпол вдруг застрял в давно не чищенном стволе. Доставая его, и погиб Джафар.

Об этом трагическом случае я впервые услышал от Ганада несколько лет тому назад. Он произошел в части, где когда-то служил писатель. И вот засел в памяти. Теперь пригодился. Писатели часто пользуются в своем творчестве дневниковыми записями, наблюдениями. Это все из того арсенала, что не придумывает человек, а подбрасывает ему сама жизнь.

В своем предисловии к роману Алесь Карлюкевич предполагает: «Думаю, что у романа должно быть продолжение. Ведь герой вернулся домой, на родину». Все действительно похоже на то, что автор самим возвращением подводит нас к новой главе жизни своего героя. Но это продолжение будет совсем нелегким, ибо в памяти Глеба Березовика прочно сидит афганское прошлое. А там и рабство, и жизнь под прицелом смерти, и любовь, его погибшая жена, его дети, и многое-многое другое, что было в прошлой жизни на чужой земле.

Так будет ли продолжение? Такого вопроса автору я не задавал. Придет время — он сам обо всем скажет.

Казимир КАМЕЙША

Про любовь

Итак, про любовь. Для зачина непридуманная сценка, свидетельницей которой мне случайно довелось стать прошлым летом на одном из минских базаров. Дородная женщина, уже давно перешагнувшая не только первую, но и вторую с третьей на пару молодость, замедляет шаг у книжного лотка, возле которого толкусь и я в поисках нужной мне книжки. Какое-то время женщина нерешительно переминается с ноги на ногу. По всему видно, что две тяжеленные авоськи, доверху нагруженные базарной снедью, больно оттягивают ей руки. Но вот она ставит одну из сеток прямо на землю и неожиданно с каким-то почти детским простодушием вопрошает у лоточника:

— А про любовь что-нибудь есть?

Тот мгновенно разворачивает веером перед потенциальной покупательницей целую стопку книжонок в разноцветных бумажных обложках и с гордостью в голосе сообщает:

— Вот, пожалуйста! Все про любовь!

Надо же, мысленно удивляюсь я, посматривая искоса на предложенный ассортимент. Мало им бесконечных сериалов, которые все как один, «про любовь». Им еще и книги «про любовь» подавай!

И невольно в памяти всплывает забавный эпизод из наилюбимейшего моего фильма времен далекого детства «Весна на Заречной улице». Помните? Главный герой далеко за полночь застает младшую сестренку за чтением стихов Александра Блока и грозным тоном вопрошает у девочки:

— Про что пишет?

— Про любовь.

— Ах, про любовь! Я вот сейчас тебе покажу «про любовь»!

Что ж, сегодня если кто кому и показывает, то только в прямом смысле этого слова. Ведь на любовь «нонче» повышенный спрос, особенно в издательском бизнесе. И вот уже полчища известных и безызвестных авторов и их переводчиков денно и нощно кропают свои любовные нетленки или трудятся над их переводами на радость потребителю, истово жаждущему погрузиться всем телом и душой в придуманный мир любовных фантазий. Сотни, тысячи золушек кочуют из романа в роман, и каждая в обязательном порядке получает в финале своего принца. Вот бы и в жизни так!

С этими мыслями я берусь за чтение нового романа Валентина Маслюкова «Тайна переписки», вышедшего в минувшем году в белорусском издательстве «Книжный Дом». Яркая обложка (только твердая), украшенная кокетливым сердечком с надписью «Любовный роман», вполне укладывается в стереотипы того, что книгопродавцы называют «ходовым товаром». Такую книжку любой лоточник реализует в два счета. Да и аннотация под стать внешнему оформлению: *«Крутой коммерсант, как подлинный хозяин жизни, избалованный вниманием женщин, сталкивается с неожиданным сопротивлением приглянувшейся ему молодой девушки».* Ну, и так далее, в том же духе.

Впрочем, трудно винить издателей в дурновкусии. Ведь знаменитая формула «деньги — товар — деньги» диктует свои правила игры. Товар надобно реализовать, причем *як мага хутчэй*, с тем чтобы вернуть вложенные деньги, желательно с наваром.

Боюсь только, что та наивная любительница любовных историй, встреченная мною на рынке, скорее всего, вольется в ряды так называемых «обманутых вкладчиков», если соблазнится на «обманки» внешнего оформления. Ибо нет в романе Маслюкова никаких золушек, а потому и принцы не предлагаются к ним в качестве обязательного

довеска. Это делается понятным уже с первых страниц книги: то есть как бы любовь, да только не та. Не такая!

Совсем не похожа рассказанная автором история на те романтические бредни, с которыми так усердно знакомят нас многочисленные авторессы дамских романов, расплодившиеся в последнее время, как грибы после дождя. Наверняка уверовали в свое высшее литературное предназначение и искренне надеются, что именно ими и будет сказано новое слово в мировой литературе.

Нет, не будет. Потому что новое слово сказать очень трудно. Всегда и во все времена. Точно так же трудно, почти невозможно придумать и новый сюжет. Ведь все житейские коллизии за несколько минувших тысячелетий мирового литературного творчества уже тысячи раз лицованы-перелицованы, описаны-переписаны. Как это там у Экклезиаста? *«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем».*

Но писатели — народ отважный. Нет, не делалось такого до меня, думает каждый из них, приступая к очередной работе, и по мере сил и собственного таланта пытается повернуть старый как мир сюжет новыми гранями, расцвечивая его подробностями собственной фантазии.

А потому скажу так: хотя роман «Тайна переписки» некоторыми своими сюжетными линиями лично у меня сразу же вызвал в памяти знаменитую пьесу Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак», ассоциации эти весьма приблизительные и, быть может, даже спорные. Начнем с того, что место действия, конечно же, не Франция, а наша с вами страна, Беларусь, а еще точнее, город Минск. И время действия — не какой-то там XVII век, а «волнительные» девяностые прошлого века: начало начал новой жизни на постсоветском пространстве. Да и тройка основных героев тоже претерпела существенные метаморфозы: вместо поэта-вольнодумца Сирано — молодой журналист и начинающий писатель Саша Красильников. Вместо прекрасной дамы по имени Роксана — милая современная девушка Люда, вместо невыразительного и скучного барона, однополчанина Сирано, в которого без памяти влюблена юная аристократка…. Вот-вот! Вместо!

Ибо именно с этого момента и начинаются самые принципиальные, я бы даже сказала, коренные, различия с классическим сюжетом. Потому что на роль героя-любовника, если определять амплуа героев по театральным меркам, назначен не красавец мушкетер, а хозяин той самой новой, нарождающейся жизни, преуспевающий бизнесмен, владелец многопрофильного автотранспортного предприятия, *«непробиваемый человек»*, как написано о нем, некто Трескин. Говорящая фамилия, ничего не скажешь. От таких вот «непробиваемых» Трескиных не только вся наша прежняя жизнь затрещала по швам, но и до сих пор треск стоит от их многотрудной работы на благо собственного кармана.

А теперь представьте себе коллизию. Избалованному вниманием женщин богатому мужчине юная архитекторша сказала «нет». Героиня не купилась на все предложенные красивости «красивой» жизни, и герой придумывает весьма нетривиальный ответный ход. Он нанимает молодого писателя, который за очень скромные деньги (впрочем, ему они кажутся огромными) начинает строчить любовные письма для своего работодателя. Иными словами, Саша Красильников, «хороший парень», как характеризует его автор и тут же многозначительно замечает, что вряд ли следует ожидать от его героя *«чего-нибудь сверх того, что должно ожидать от заурядного хорошего парня»*, так вот, этот хороший парень сочиняет самый настоящий любовный роман в письмах. И неожиданно для самого себя влюбляется в придуманный им же образ. Этакий новый Пигмалион, слепивший свою Галатею исключительно в собственном воображении. Недаром он же сам назвал ее *«возлюбленной воображения»*. И правильно ему в пылу ссоры сказала секретарша Аллочка, по совместительству любовница Трескина, ведущая свою, очень

тонкую игру по завоеванию не столько сердца, сколько кошелька босса: *«Любите-то вы ее за то именно, что никогда не видели и ничего про нее не знаете. За это и любите»*.

Люда. Центр мироздания двух ее воздыхателей, героиня, на которой завязаны все узелки сюжета. Хорошо сказано про ее невесомую поступь. И про чувственность тоже. *«...Но чувственность эта была иного рода — не от широких бедер, а от гармонии свободного в движении тела»*. Но при всех многочисленных плюсах героини лично у меня эта девушка почему-то не вызвала душевного отклика и сочувствия. Наверное, потому, что слишком уж сконцентрирована Люда на самой себе. Честно говоря, валютная проститутка Натали, которая, как остроумно заметил автор, работала *«сама собой»*, мне гораздо симпатичнее и своей открытостью, и своей женской незатейливостью.

Письма. Любовные письма. Конечно же, им далеко до сердечных излияний пылкого Сирано. Они слишком рассудочны, как мне кажется, и в них слишком мало иррационального, то есть всего того, что во все времена было свойственно влюбленному сердцу. Впрочем, не многого ли я требую от начинающего писателя, живущего в наш рациональный век и сочиняющего свои вдохновенные эпистолы за деньги? Как это там его укорила все та же неуемная Аллочка? *«А ты душу наизнанку вывернул за копейку...»* Правды ради стоит сказать, что когда Саше все же удается воспарить над рационализмом века, то и действительно вдруг обнажается его душа и тогда все получается очень хорошо. *«Ты мне нужна. Стало невыносимо грустно. Мне кажется, что тебя нет»*. Хорошо! Просто и хорошо.

О положительном. Лично для меня основное и неоспоримое достоинство нового романа Маслюкова — это его очень яркий, выпуклый видеоряд. Помнится, когда читала, то все время ловила себя на мысли, что я не столько читаю, сколько «смотрю» невидимое постороннему глазу кино. А еще иные наши кинорежиссеры (грех им!) жалуются, что у них нет под рукой хороших киносценариев. Дескать, нечего снимать. И не о чем. Так вот же вам, дорогие мои, отличный материал для сценария будущего фильма или даже телесериала. Все характеры четко обозначены. Прописана внешность каждого героя. Живая речь, масса трогательных, забавных и даже смешных эпизодов, узнаваемые житейские мелочи.

О недостатках. А как же без них? Все же бросается в глаза некоторая шероховатость стиля, порой граничащая с неряшливостью. Обидно! Понимаю, у автора в процессе работы глаз «замыливается» и иные свои небрежности он видеть просто не в состоянии. Но редактор обязан видеть все. Видеть и убирать недрогнувшей рукой подобные перлы: «откладывая последовательную мысль на потом», «переживая развитие мысли», «она научилась избегать мыслей о Трескине». Ну, знаете ли! Трескин — это не вселенная, о которой надобно размышлять, пытаясь постигнуть законы мироздания. Да героиня научилась просто не думать о своем поклоннике, только и всего. И еще про мысли: «с поразительным отсутствием мысли Саша следил...». Следил себе бездумно и следил, но почему «с поразительным отсутствием»? Явный перебор. Далее: «она имела надежду» (а почему не просто надеялась, замечу я в скобках), «прониклась сложным чувством снисходительного презрения». И что уж такого сложного усмотрели вы, Валентин Сергеевич, в презрении? Ведь оно уже изначально предполагает снисходительность к тому, кого презираешь. Презирает-то всегда тот, кто выше, кто действительно снисходит. Иное дело — любовь! Или ненависть! Вот здесь уже целый клубок эмоций и переживаний, порой взаимоисключающих друг друга. Помните Катулла? *'Odi et amo'* (Люблю и ненавижу). Вот это действительно сложно! Думается, при последующих переизданиях романа такие вот досадные мелочи следует убрать. От этого книга лишь выиграет.

И последнее. Почему-то я все время думаю о продолжении, о дальнейшем развитии событий, о том, что случилось с героями через двадцать

лет, какими они стали и что делают сейчас. Разумеется, требовать от автора продолжения романа нельзя. Он поставил финальную точку там, где посчитал нужным. А потому я рискну предложить собственные вариации на тему «Двадцать лет спустя». Но какие варианты я ни прокручиваю мысленно, все выходит у меня совсем не благостно. Почти как у Антона Павловича Чехова с его ненаписанным романом, от которого, как известно, сохранились лишь коротенькие пометки в записных книжках писателя. Он и она встретились, полюбили друг друга, поженились, а потом были несчастливы всю оставшуюся жизнь. Вот так, скорее всего, получится и у Саши Красильникова с Людой. Если эти двое поженятся, то ничего хорошего их в будущем не ждет. Любовная лихорадка пройдет, чары развеются, и на смену им заступят суровые будни. Увы-увы!

Вряд ли Саша сможет стать коммерчески успешным писателем, он для этого слишком честный. Едва ли из него выйдет бойкий журналист, готовый работать по принципу «чего изволите». И что тогда мы имеем в сухом остатке? Да ничего хорошего. Весьма скромное, если не сказать полунищенское существование, самые разные комплексы, как следствие нереализованных амбиций, разлад в семье и чем дальше, тем чаще тревожащие мысли о напрасно прожитой жизни.

Что же до Люды, то она, дожив до пресловутого среднего возраста, вполне возможно, уже не раз горько пожалела о том, что была в молодости слишком разборчивой и категоричной. Юношеский максимализм, он ведь хорош только в книгах, не так ли? А в жизни Люде наверняка хочется всего того, что есть у Аллочки, захомутавшей-таки, в конце концов, своего шефа. Ведь Трескин уже наверняка дотопал до статуса олигарха. Быть женой олигарха — это ли не предел мечтаний героинь многочисленных любовных опусов? Да и в жизни порой так хочется перестать считать эти несчастные рубли и просто «пожить красиво». Так что я вполне пойму Люду, если у нее вдруг появятся подобные крамольные мысли.

Но автор оставил своих героев там, где оставил. Воистину, как в Священном Писании, *«в чем застану, в том и сужу»*. У нас, правда, получается, «когда застану», то есть в ненавистные (лично мне!) девяностые годы прошлого века. *«У каждой минуты есть своя правда»*, — справедливо замечает Маслюков. Очень хорошо сказано! И это на самом деле так. А потому, подводя черту под своими медитациями, скажу: правду того непростого времени писатель не только уловил, но и предельно честно отразил на страницах своего романа. И за это ему большое спасибо.

Зинаида КРАСНЕВСКАЯ



Память о героях ратных подвигов вечна

В 2011 г. в Могилеве в областной укрупненной типографии им. Спиридона Соболя увидела свет художественно-документальная повесть известного в Беларуси и России поэта Ивана Пехтерева «Небесные братья».

Это произведение автор посвятил «светлой памяти погибших за свободу и независимость Родины в боях Великой Отечественной войны».

Герои этой повести — летчики. Автор пишет: «Они летали в небе самой большой из войн, которые знало человечество. Сражались в небе с первых дней Великой Отечественной, воевали сначала порознь, а потом на одном самолете ИЛ-2 и погибли 18 августа 1943 года при освобождении Донбасса от гитлеровских захватчиков. Это был день авиации, которой ребята посвятили свои жизни. Они оба были белорусами: командир экипажа младший лейтенант Георгий Ковалевский и стрелок-радист гвардии младший сержант Аркадий Хруцкий».

Георгий Ковалевский родился на окраине Витебска, а Аркадий Хруцкий в деревне Горбовичи, что в Чаусском районе на Могилевщине. В тридцатые годы в полет просились сердца многих тысяч юношей и девушек страны Советов. В числе этих мечтателей-романтиков были Жора Ковалевский и Аркаша Хруцкий. Оба занимались в аэроклубах: Жора — в Витебске, Аркаша — в Могилеве. А затем первый поступил в Харьковскую школу пилотов, второй — в летную школу в городе Алсуфьево Орловской области.

Ковалевский из школы пилотов писал матери Феодосии Прохоровне: «Родимая! Я не ошибся, что выбрал авиацию, думаю, что выбрал на всю жизнь».

Увлечен был своей профессией и будущий воздушный стрелок Аркадий Хруцкий, о чем он не раз писал в деревню Горбовичи отцу Захару Ивановичу и матери Ксении Семеновне. А младшему брату Генке советовал после окончания школы выбрать военную службу, чтобы верно служить Отчизне.

Когда начался 1941 год, у Георгия и Аркадия закончилась учеба. Оба успешно сдали экзамены и получили назначение по службе: Георгий — в истребительный полк в городе Бовшево в Западной Украине, Аркадий — в полк тяжелых бомбардировщиков под Оршу. Ковалевский летал на истребителе И-153, а Хруцкий — на бомбардировщике ТБ-4. Автор повести приводит ряд ярких эпизодов первых боев в начале войны, в которых наши летчики проявили небывалое мужество и отвагу. В одном из воздушных боев с фашистскими летчиками Жора Хруцкий стал свидетелем того, как ведущий младший лейтенант Леонид Бутелин из деревни Родня Климовичского района срезал немецкого «мессера». В пылу боя он израсходовал боекомплект. И вдруг заметил «юнкерс». Бутелин винтом своего самолета отрубил хвост бомбардировщику. Немецкий самолет вошел в пике и понесся к земле. Но и «чайка» с разбитой грудью пошла вниз. Тогда ни сам Леонид Бутелин, ни все, кто видел его подвиг, не знали, что он совершил первый таран в истории Великой Отечественной войны.

В повести много эпизодов, где описываются подвиги советских летчиков, в том числе Георгия Ковалевского и Аркадия Хруцкого. Читатель с интересом прочтет страницы о воздушных боях с немцами под Бобруйском, Могилевом и на Березине. В бою под Могилевом Георгий Ковалевский, сбив вражеский самолет, спас жизнь Аркадию Хруцкому. Тогда они еще не были знакомы друг с другом.

Позже Аркадию Хруцкому пришлось воевать на Сталинградском фронте. К его медали «За отвагу» при-

бавился орден Красной Звезды. После ранения в одном из боев и лечения в госпитале он получил назначение в 504-й штурмовой полк, тоже стрелком-радистом, к Георгию Ковалевскому.

— Здорово! И я из Белоруссии, — ответил он на приветствие Хруцкого. — Из Витебска. Земляк. Давай сразу на «ты»: мы же как родные. Небесные братья!

Аркадий Хруцкий рассказал Георгию Ковалевскому, что он видел Буйничское поле под Могилевом, увидел, как солдаты рыли траншеи и окопы, а в июле сорок первого читал очерк Константина Симонова о том, как наши на поле у деревни Буйничи за один день подбили 39 фашистских танков и бронемашин. А еще прочитал в газетах, что Могилев называют Мадридом на Днепре. Наш полк, уже обновленный, участвовал в Смоленской операции, а Могилев все еще стоял.

После того как советские летчики разгромили танковую дивизию Гота, шедшую к Сталинграду на выручку Паулюсу, 504-й штурмовой полк участвовал в боях в Украине, а весной был переформирован в 74-й отдельный штурмовой авиаполк. Ему было присвоено звание «гвардейский». Летчики этого авиаполка участвовали в боях по освобождению Донбасса. 12 июля 1943 года на поле у деревни Прохоровка состоялось невиданное до этого танковое сражение. Фашисты были остановлены, но укрепрайон на реке Миусе держался, хотя штурмовики делали в день нередко до пяти боевых вылетов.

И последний вылет. 18 августа Ковалевский и Хруцкий вылетели на штурмовку высоты около деревни Мариновка. Трижды атаковали ее. Клубы дыма и огня на земле говорили о том, что штурмовики хорошо поработали. Но зенитный огонь поджег самолет Ковалевского и Хруцкого. Прыгать с парашютом они отказались, потому что на земле — немцы, плен, муки и смерть. Летчики направили горящий самолет на высоту, на немецкую боевую батарею, и огненно-черный фонтан взрыва взметнулся в небо. Летчики-белорусы, летчики-братья погибли героической смертью.

В повести читатель найдет страницы, посвященные освобождению Беларуси от фашистких захватчиков в июне—июле 1944 года, а также — службе в армии брата Аркадия — Генки Хруцкого, о судьбе их детей, родственников. В послесловии автор поведал о том, каким ныне стало семейное древо Хруцких и о деревне Горбовичи. Книга иллюстрирована двенадцатью фотографиями, на которых лица героев произведения, их родителей и потомков, а также виды на деревню Горбовичи.

Повесть Ивана Пехтерева «Небесные братья» читается на одном дыхании. Это высокопатриотическое художественно-документальное произведение предназначено школьникам среднего и старшего возраста, но его с интересом прочтут и взрослые, все, кто увлекается историей и краеведением. Ибо память о героях ратных подвигов бессмертна, она вечна для белорусского народа, для наследников победителей фашизма во всем мире.

Виктор АРТЕМЬЕВ



Строительство личности

Биографическая литература, если она не предназначена для массового читателя, — чтение непростое, требующее определенной подготовки. Особенно в том случае, если очерк или книга посвящены ученому, оставившему свой след в естествознании. Книга Радима Горецкого и Валентина Оноприенко «Гавриил Иванович Горецкий» (К.: Информ.-аналит. агентство, 2012. Научно-биографическая литература) посвящена жизненному пути, научным изысканиям человека поистине легендарного. Сегодня он хорошо известен в Беларуси. Но было время, когда ученый не мог жить на родине. Впрочем, несколько штрихов к биографии выдающегося геолога-четвертичника, основателя новой отрасли геологической науки — палеопотамологии (история развития рек и речных долин) Гавриила Ивановича Горецкого. Родился он 10 апреля 1900 года в деревне Малая Богатьковка Мстиславского уезда Могилевской губернии. В 1914—1919 гг. родной брат писателя Максима Горецкого был студентом Горецкого землемерного агрономического училища. Затем — землемер-агроном и инструктор по землеустройству Уфимского губземотдела, корреспондент газеты «Известия» Уфимского губернского ревкома. Учится в Уфимском институте народного образования. Последующие годы — в Москве. Работает инструктором по социалистическому землеустройству в Центральном Народном комиссариате земледелия. Учится на экономическом факультете Петровской (Тимирязевской) сельскохозяйственной академии. В 1923—1925 гг. — преподаватель экономической географии Коммунистического университета национальных меньшинств. В 1924—1928 гг. — сотрудник, аспирант Научно-исследовательского института сельскохозяйственной экономии Тимирязевской академии. И тогда же, в 1925—1927-м, Гавриил Иванович работает заведующим кафедрой сельскохозяйственной экономии и экономической географии, является членом правления Белорусской государственной академии сельского хозяйства в Горках. В апреле 1927 г. Горецкого выбирают членом Президиума и Научного Совета Института Белорусской культуры. 28 декабря 1928 г. ученого утверждают действительным членом (академиком) Белорусской академии наук. 24 июля 1930 г. Гавриила Ивановича арестовали, а в декабре того же года вместе с Вацлавом Ластовским, Владимиром Пичетой, Язэпом Лёсиком, Степаном Некрашевичем, Александром Дубахой исключили из состава академии, «лишив их звания академиков, как врагов пролетарской культуры». Началась новая непростая жизнь.

Гавриила Горецкого приговорили к высшей мере наказания, которую затем заменили на лагерь сроком на 10 лет. Фактически с нуля Гавриил Иванович начал работать геологом. Вот как пишут о том времени авторы книги: «...был принят на работу помощником младшего техника. Этот день — 19 сентября 1931 года стал для Гавриила Ивановича одним из самых счастливых, днем перелома в специальности и жизни.

Вскоре послали Горецкого описывать керн из скважин, пробуренных для изучения инженерно-геологической ситуации в зоне будущего Беломорско-Балтийского канала. Он с энтузиазмом и большим упорством начал овладевать геологией и достаточно скоро работал не хуже настоящих геологов. Через некоторое время он стал изучать и описывать выемки и обнажения по трассе канала близ пос. Повенец («Повенец — свету конец»). Здесь уже было настоящее творческое геологическое исследование: найдены новые неизвестные ранее

геологические слои, новые ископаемые раковины моллюсков и т. д. Работал с утра до позднего вечера, да так успешно, что в конце сентября его перевели научно-техническим сотрудником Геолбазы, а еще через полгода — старшим инженером-геологом Геологического отдела. Молодой академик-экономист стал юным инженером-геологом. Канал ББК — колыбель геологической специальности Г. И. Горецкого».

Радим Горецкий и Валентин Оноприенко подробно рассказывают обо всех мытарствах человека, попавшего в обстоятельства, в которых многие опускают руки, жалеют самих себя, живут одними воспоминаниями. Гавриил Иванович проявил силу воли, сумел остаться личностью, сохранить достоинство. Желание утвердиться в своей нравственной, моральной составляющей, жить по законам созидания, справедливости постоянно подталкивало Гавриила Ивановича к движению, развитию. Потому вскоре заметили его уже как талантливого геолога, ученого, обладающего исследовательскими навыками. Горецкий проявил и свои аналитические способности. Уже в первые годы работы он сделал целый ряд важных отчетов и работ по геологии изучаемых им районов: написанное касалось поиска различных строительных материалов, гидрогеологии, фильтрационных и физико-механических свойств грунтов. Выступает вчерашний академик-экономист и со статьями в различных научных, специализированных изданиях. Названия говорят о характере интересов исследователя: в 1937 году Горецкий печатает статьи «Некоторые данные о неолитических стоянках Кольского перешейка», «Новые неолитические стоянки в г. Кеми, в Карелии».

8 мая 1938 года ученого вновь арестовали. Обвинения — по старому делу, главное — по статье 58-6 (шпионаж в пользу польской и немецкой разведок). Читаем в главе «Новые аресты в «Архипелаге «ГУЛАГЕ»: «В деле Горецкого значилось, что он не только сам работал на польскую и немецкую разведку, но и завербовал таких известных политических деятелей, как Н. Н. Голодед и А. Г. Червяков. Когда сравнили цифры сроков событий, то выходило, что он завербовал их после того, как эти деятели были уже мертвыми (один покончил жизнь самоубийством 21 июня 1937 года, а другого расстреляли в июне 1937 года). Сразу стало видно, что обвинение надуманное и сфабрикованное. Горецкого отправили назад в Медвежью Гору с предложением освободить, что и было сделано 22 июня 1939 года.

Группу заключенных, в которую вначале входил и Г. Горецкий, тем временем расстреляли. Если бы не те обстоятельства, что принудили послать его в Москву, и не очередная замена одного наркома НКВД на другого, очень вероятно, что среди расстрелянных в урочище Сандармох под Медвежьей Горой был бы и Г. И. Горецкий...»

Продолжая напряженно заниматься практической работой, в 1945 и 1946 годах Гавриил Иванович защитил кандидатскую и докторскую диссертации в области геолого-минералогических наук. В 1958 году ученого реабилитировали: «дело за отсутствием состава преступления прекращено».

Но драма его жизни еще не окончилась. Тогда, в 1958 году, Гавриил Иванович еще не мог вернуться домой. А ведь уже весь научный мир знал его как выдающегося ученого. В 1964 году вышла объемная монография Горецкого «Аллювий великих антропогеновых прарек русской равнины. Прареки Камского бассейна». Только в 1965 году Совет министров БССР принял постановление, отменившее исключение из состава членов Белорусской академии наук Горецкого Гавриила Ивановича. 28 сентября того же года Президиум АН БССР принял постановление: «...считать в составе Академии наук Белорусской ССР в Отделении химических наук академика Горецкого Гавриила Ивановича...» В 1968 году — наконец-то долгожданное возвращение в Минск. Умер «дважды академик» 20 ноября 1988 года. За эти два десятилетия, что еще отмерила ему жизнь, Гавриил Иванович успел сделать немало. И обо всем этом с большой любовью, подробно рассказывают авторы книги.

Серьезным дополнением к биографии, созданной Радимом Горецким и Валентином Оноприенко, являются воспоминания коллег по науке, статьи, посвященные отдельным исследованиям Гавриила Ивановича Горецкого. Книга впечатляет. Несомненно, прочитать ее следует всем молодым людям, кто начинает путь в большой науке. Повествование о Гаврииле Горецком — это и необходимое чтение для тех, кто занимается историей белорусской литературы, изучением жизни и творчества классика белорусской литературы Максима Горецкого. Писателя, чье место в «изящной словесности» Алесь Адамович оценил следующим образом: «Место это — одно из важнейших: место классика белорусской литературы. Рядом с Купалой, Коласом, Богдановичем».

Сегодня многие белорусские издатели активно занимаются выпуском биографической литературы. На протяжении нескольких лет выходит серия «Жыццё знакамітых людзей Беларусі». В рамках этого проекта увидели свет книги, посвященные Ивану Шамякину, Владимиру Короткевичу, Владимиру Мулявину, Александру Медведю, Николаю Чергинцу... Будем надеяться, что в этой серии придет к читателю и документальное повествование о замечательном геологе, основателе палеопотамологии Гаврииле Ивановиче Горецком.

Кирилл ЛАДУТЬКО



Да здравствует Dignis!

По случаю публикации книги Анатолия Стецкевича-Чебоганова «Я — сын Ваш: Стецкевичи, Сацкевичи-Стецкевичи герба "Костеша". Карафа-Корбуты герба "Корчак"».

…Среди высших гражданских доблестей римляне едва ли не на первое место ставили достоинство, или, по-латыни, dignis. Dignidad — это, по-видимому, как раз именно то, что больше всего инстинктивно нравилось самым красивым в мире женщинам в тех же самых испанских, хотя бы, кабальеро, или в английских джентельменах и что (увы!) не так часто встречается в наше время.

Однако налицо исторический, цивилизационный, вызов, налицо явная общественная потребность, которую книга, что я теперь имею в руках, во многом и удовлетворяет!

…«Что есть благородное дворянское достоинство? — задалась вопросом императрица Екатерина Великая в таком далеком уже 1785 году. — Дворянское название есть следствие, истекающее от качества и добродетели начальствовавших в древности мужей, отличивших себя заслугами, чем обращая самую службу в достоинство, приобрели потомству своему нарицание благородное». Итак, например, Стецко Петрович, войт могилевский и слуцкий. Господарский дворянин! То есть, приближенный его королевской милости Казимира Старого, который в XV в. являлся одновременно также и великим князем литовским. Что такое королевские дворяне, современная молодежь представляет себе очень хорошо благодаря Александру Дюма. Правда, его Атос, Портос, Арамис и д'Артаньян — представители уже XVII столетия, то есть, практически, современники Богдану Стецкевичу, каштеляну Новогрудскому.

…Невольно взгляд «цепляется» за его портрет. Древняя-древняя гравюра. Мужественное, даже суровое лицо воина. Под плащом пластинчатые доспехи, рука лежит на эфесе меча:

И вновь завизжала сабля,
И вновь стремена зазвенели,
Над шлемам взлетели перья!
И снова воина панцирь
От удара копья спасает…

Почему тогда с этого портрета глядят такие глаза, умные и грустные? Почему ниже надпись: «Богданъ Стецкевичъ, ревнитель православія»? Магнат-военачальник, он строил церкви, основывал монастыри, содержал типографии. Чтобы ветер духовного раскола не погасил лампаду святой дедовской веры!

«…Ответственность наша должна простираться и в глубину всего рода, дабы научаться у предков подвигу любви и веры», — отметил Высокопреосвященнейший Владыко Филарет в предисловии к книге «Я — сын Ваш…».

Представитель древнего рода Стецкевичей, автор этой книги, достойный продолжатель духовного подвига своих предков.

При активном участии Анатолия Стецкевича-Чебоганова в Слуцке сооружен скульптурный образ святой праведной Софии, княгини Слуцкой; в селе Семков Городок Минского района воссоздается храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Интересен тот факт, что в древности Семковым Городком владел упомянутый уже Богдан Стецкевич…

Анатолий Васильевич Стецкевич-Чебоганов награжден православной церковью орденами Святой праведной княгини Софии Слуцкой, Святого равноапостольного князя Владимира, Святителя Кирилла Туровского.

Взяв на себя огромную ответственность перед предками и потомками, стараясь с фактологической точностью представить читателям как живущих ныне, так и ушедших представителей многих древних белорусских родов, Анатолий Васильевич Стецкевич-Чебоганов в 2011 году основал издательскую серию «Летопись белорусской шляхты», став ее первым автором.

Вообще, его книга потребовала лично от меня, как бы это поточнее выразиться, доверительного подхода. Сначала я собирался писать стандартную научную рецензию: дескать, «в первой главе говорится.., во второй…», и т. д. Но поскольку это в определенном смысле откровение, обращенное к предкам, совсем не хочется разбирать детально такую книгу. Думаю, любой мало-мальски внимательный читатель сам поймет и разберется, что здесь к чему. Отмечу только, что автор смог дать читателю больше, чем, возможно, рассчитывал сам. Так иногда случается, но только у хорошего автора. Например, им опубликованы оттиски очень интересных личных печатей XVI в., — Ивана, Валентия и Яна Стецкевичей. По-видимому, это очень интересный дополнительный материал по истории нашей персональной сфрагистики.

…Представляется очень символичным, что эмблема в гербе «Костеша», которым пользовался, в том числе и род Стецкевичей, называлась «Стрела спасения». В самом деле, полет также и этой серебряной гербовой стрелы пробовали остановить. Однако попробуй поймай ее руками!

11 ноября (по новому стилю) 1917 г. ВЦИК и Совнаркомом издают декрет «Об уничтожении сословий и гражданских чинов». «Всякие звания (дворянина, купца, мещанина, крестьянина и пр.), титулы (княжеские, графские и пр.) и наименования гражданских чинов (тайные, статские и проч. советники), — говорилось в этом ленинском декрете, — уничтожаются и устанавливается одно общее для всего населения России наименование граждан Российской Республики». Этот торжественный слог сопровождает один курьез. Отменяя прежде всего именно дворянское достоинство, отменить одновременно также и дворянские гербы большевики как-то позабыли. И стрела спасения летит!

…На 51-м Национальном конкурсе «Искусство книги», проходившем в Минске в 2012 году, первый том серии «Я — сын Ваш: Стецкевичи, Сацкевичи-Стецкевичи герба “Костеша”. Карафа-Корбуты герба “Корчак”» А. Стецкевича-Чебоганова отмечен Дипломом I степени в номинации «За вклад в сохранение духовного наследия».

Сергей РАССАДИН,
профессор, доктор
исторических наук.



Выбор Сергея ЮРЬЕВА

Изданное в РИУ «Литература и Искусство»

Алена БРАВО.
Имя тени — свет. Повести и рассказы.
Мн.: «Літаратура і Мастацтва», 2012.

Есть писатели, книги которых, прочитав, не хочется ставить на полку. Оставляешь на столе и нет-нет да открываешь отдельные страницы. Хочется перечитать то, что задело тебя с первого раза. Западает в душу такое, например: «Но хитрая природа не позволяет октябрю прийти раньше апреля: она впрыскивает тебе под кожу наркотик любви, поит вином иллюзии, пока еще может использовать тебя для нее, природы, божественных детских игр. Но как только с этим кончено — одним холодным утром ты внезапно просыпаешься на обломках своей фертильности, лишенная всех роз и радуг, просыпаешься той бесполой «тварью», которая «ревела от сознания бессилья» в гениальном стихотворении Гумилева». Я цитирую из книги Алены Браво «Имя тени — свет», из повести «Рай давно перенаселен». Еще четыре повести и несколько рассказов присоединила Елена Валерьевна к раю, в который нет входа. Но и они такие же. Не по сюжетам, нет (за малым исключением), а по раскаянию героини в прежних своих поступках, слепоте сердца. Вот как случилось, что студентка ВУЗа («Комендантский час для ласточек») влюбилась в кубинского парня, учившегося рядом с ней, согласилась выйти за него, пожить вместе в каморке общежития, родить девочку и уехать на Кубу? Причем навсегда. И, приехав, вскоре начала чуть ли не физически чувствовать, как растет в глубину души «корень страха». А как не бояться, если кругом нищета, голод, жилье, что на вокзале, безработица, дух ограниченности привыкших обходиться наименьшим, охладевший к белоруске муж, ушедший служить, чтобы самому питаться порегулярнее… Не выдумано все это, героиня-то повести — сама Елена Валерьевна. Наверное, столько пережила, что в рассказе «Ясным утром в Пинар-дель-Рио» возвращается к жизни на Кубе, слегка изменив имена и ситуации людей, которых не может забыть. В других вещах книги боль прожитого на Кубе перестала проситься на бумагу, но Алене Браво и родная земля белорусская дала истории, страстно рассказывая которые, берет читателя в объятия то поэта, то философа, то интереснейшего научного работника.

Васіль ГІГЕВІЧ.
Крах цывілізацыі. Аповесці.
Мн.: «Літаратура і Мастацтва», 2012.

До чего вовремя вышла эта книга известного писателя-фантаста! Почти сразу после ее публикации весь мир, можно сказать, не сводит глаз с Марса. Конечно, американского марсохода, только что приземлившегося на красной планете после нескольких лет полета к ней, через атмосферу не увидишь. Зато по телевидению нет-нет и транслируется продробно, чем занимается на чужом грунте земной посланец. А вдруг он подтвердит то, о чем пишет Василь Гигевич в повести «Марсіанскае падарожжа», включенной в его очередную книгу о космонавтах? Не зря, видно, и «Нёман» успел напечатать в 8-м номере «Любовную историю» Рэя Брэдбери, случившуюся на далекой планете. Василь Гигевич увлекает не только путешествием на нее людей, согласившихся навсегда попрощаться с родиной, не только драмой осознания их поступка. И в этой вещи, и в повести «Карабель» писатель прибегает к науке, которая до сих пор не поставила точку на многом, что связано с космосом и возможностью жизни на звездах существ, людей превосходящих.

В литературе не было еще сюжета, предложенного и разработанного Василем Гигевичем относительно взрыва тунгусского метеорита. Его художественная версия — возвращение на огромном корабле, годы летящем к звездам, на Землю, потому что командир корабля не смог подавить в себе любовь к ней. Не метеорит, а корабль разбивается в Коми на берегу реки Вашки. Автор приводит высказывание в пользу этой теории не только известных ученых, но и дает поразительно точное описание найденных после взрыва и долго замалчиваемых от прессы предметах не-метеорита.

И как девочка-неандерталка или малышка позднего человеческого рода высекает из кремня огонь для племени («Страчанае шчасце»), так и писатель-фантаст придает жизнестойкость своим мифам. У Василя Гигевича в каждой повести мигает такой огонек, разведенный для читателя.

М. П. КУЗЬМІЧ, М. І. СЦЕПАНЕНКА.
«Імёны, асобы, лёсы».
Ураджэнцы Віцебшчыны ў далёкім і блізкім замежжы.
Мн.: «Літаратура і Мастацтва», 2012.

Это одна из очень интересных книг, которые… нельзя читать залпом. В этом утверждении сразу два парадокса. Во-первых, слова «одна из» здесь весьма сомнительны. Хоть я и старый книжник, а таких фолиантов (составлен он только из биографий более чем 600 людей) никогда не встречал. Во-вторых, существуют, оказывается, книги, от которых, кажется, не оторвешься, однако не прочтешь больше нескольких страниц сразу. Потому что любая биография берет за ум и трогает сердце. Например, чуть больше листочка посвящено Жоресу Алфёрову, великому физику, лауреату Нобелевской премии. Всего лишь считанные строки отведены Алексею Антапенко, прожившему только тридцать лет. Морской летчик воевал при Халкин-Голе, на фронтах советско-финляндской, во Второй мировой. На боевом счету 11 немецких самолетов, сбитых над Ленинградом. Сейчас в Санкт-Петербурге есть улица его имени. Немного дольше прожил еще один герой — Петр Михайлович Козлов. Погиб генерал-лейтенант в 1944-м уже в звании Героя Советского Союза. В Пятигорске назвали улицу в его честь, в поселке Горячеводске Ставропольского края стоит памятник. А у нас? Будет и у нас в Глубоком, на родине мужественного человека. По поручению и на деньги Министерства культуры над ним уже работают скульпторы. И не только над ним. Вскоре Витебский комбинат «Мастацтва» изготовит бюсты авиаконструктора, дважды Героя Социалистического Труда Павла Осиповича Сухого, гениального Элиэйзера Бен-Иегуды, сумевшего оживить древний, мертвый иврит, ныне государственный язык в Израиле. Лягут цветы и к памятникам основоположника белорусского театра Игнатия Буйницкого; художника, философа, путешественника Язэпа Дроздовича и некотрых других, не успевших пока попасть в книгу Михаила Кузьмича и Михаила Степаненко. Значит, и у нее будет продолжение, и загорятся такой же кропотливой, важной работой исследователи других областей Беларуси.

М. П. ПАЗНЯКОЎ.
Слоўнік беларускіх эпітэтаў.
Мн.: «Літаратура і Мастацтва», 2012.

Каждое слово в словарях синонимов или эпитетов напоминает родственника среди его близкого сословия. И чем больше членов такой семьи, тем богаче любой из них. Ведь его приглашает к себе взыскательный глаз журналиста, литератора, переводчика, преподавателя, научного работника или студента. И все они знают: если не дается объяснения хотя бы одному населяющему большую семью, значения других сожителей вполне характеризуют и его. Об этом думаешь, читая только что вышедший второй том «Слоўнік эпітэтаў беларускай мовы» Михаила Позднякова. Он один из составителей еще двух книг, и сегодня активно служащих читателю. Это «Русско-белорусский словарь» и «Беларуска-рускі слоўнік». Академические усилия известного поэта впечатляют высоким профессионализмом ученого, прекрасно знающего свой язык.

Заметки краеведа

Князь Болконский из Могилева

Каждый, кто читал роман-эпопею «Война и мир» великого русского писателя Льва Толстого, вне всякого сомнения, обратил внимание на следующий волнующий эпизод — прощание старого князя Болконского с сыном, идущим на войну: « — Теперь слушай: письмо Михаилу Илларионовичу отдай (Кутузову. — *В. А.*). Я пишу, чтоб он тебя в хорошие места употреблял и долго адъютантом не держал: скверная должность! <…>Коли хорош будет, служи. <…> Помни одно, князь Андрей: коли тебя убьют, мне, старику, больно будет… Он неожиданно замолчал и вдруг крикливым голосом продолжал: — А коли узнаю, что ты повел себя не как сын Николая Андреевича Болконского, мне будет… стыдно! — взвизгнул он».

Но далеко не каждый, наверное, знает, что есть основание полагать — фрагмент этот Лев Николаевич взял из действительно имевшего место события, которое произошло в городе Могилеве еще в последней четверти XVIII века. С 1782 по 1790 годы в этом городе правителем могилевского наместничества был Николай Богданович Энгельгардт — бывший помещик Духовщинского уезда Смоленской губернии. Достаток имел он малый, всего 80 душ крепостных, но брак с Надеждой Петровной Бутурлиной несколько поправил его состояние: жена принесла ему в приданое 700 душ.

Человек не богатый, но строгих правил чести, Николай Богданович был не из тех, кто, используя связи, умел делать карьеру. Он состоял адъютантом при графе Петре Ивановиче Шувалове, когда был организован дворцовый заговор против императора Петра III. Гвардия желала посадить на трон жену Петра Екатерину. Братья Орловы находились с Николаем Богдановичем в коротких приятельских отношениях, но, зная честность его, не посвящали его в заговор, и он, едва ли не единственный из адъютантов Шувалова, о заговоре не знал. Поэтому дворцовый переворот 1762 года был для него неожиданностью. Потом Николай Богданович не искал ни случая, ни покровительства уже всемогущих Орловых. Он сумел сохранить свое имя незапятнанным и, не оставив сыну Льву наследства, внушил ему высокие понятия о чести и долге перед отечеством. К моменту рождения сына Николай Богданович был полковником в отставке: военная служба была ему не по карману. Продолжалось это недолго, до 1774 года, когда после смерти тещи он забрал Левушку с собой в Витебск, куда сам был послан воеводой.

Через пять лет, в 1779 году, он был переведен в Полоцк, на должность председателя гражданской палаты. В этом же году его сын Лев был записан в Преображенский полк сержантом, как и многие другие дворянские дети, а потом еще год учился в Шкловском кадетном корпусе, называвшемся тогда, в начале своего существования, просто училищем. Вскоре Николай Богданович сделал большое продвижение по службе: он «был пожалован вице-губернатором в Могилев». Это было назначение почетное и выгодное, а главное, оно предоставляло возможность, не проявляя искательства, входить в общение с людьми, занимавшими самое высокое положение в государстве. Но, пожалуй, самой впечатляющей встречей осталась у Николая Богдановича аудиенция у императрицы Екатерины Великой. Она хотела узнать от самых лиц, коим вверены казенные имущества, а это были вице-губернаторы, о доходах каждой губернии и отчетах и обстоятельствах пространной своей империи, видеть и узнать каждого, кому поручены ее финансы.

В первом часу дня Николай Богданович был позван в кабинет государыни. Императрица, пожаловав ему поцеловать руку, спрашивала о его службе, и когда он сказал, что был капитаном в полку у Мельгунова, то она заметила: «Так мы с вами знакомы, вы были караульным капитаном в Петергофе, когда я вступила на престол, я вас помню». Продержав Николая Богдановича наедине более двух часов, Екатерина II снова пожаловала ручку и сказала: «Я бы желала, чтобы всех нашла таковых вице-губернаторов, хотя память ваша и хуже моей; доказательство тому, что я вас вспомнила, и будьте уверены и впредь о вас буду помнить».

И действительно, спустя три года она вспомнила о Николае Богдановиче Энгельгардте и назначила его Могилевским гражданским губернатором.

В 1787 году началась турецкая война. «Когда полк получил повеление идти в поход, — вспоминает сын Николая Богдановича Лев, — почтенный мой отец, благословляя меня, сказал: «Уверен, что ты не обесчестишь род наш своим недостойным поступком, и лучше я хочу услышать, чтобы ты был убит, нежели бы себя осрамил, а притом приказываю тебе: ни на что не напрашиваться, а чего требовать будет долг службы, исполняй ревностно, усердно, точно и храбро». Тут мы оба прослезились; поцеловав его руку, с восхищением сел я на коня и с полком выступил, делая планы отличиться геройски, и строил воздушные замки».

Лев Николаевич выполнил мудрые наставления отца. Они вскоре с лихвой окупились: за боевые заслуги он был награжден шпагой с аннинским крестом, получил генерал-майорский чин и командорство ордена св. Иоанна Иерусалимского с тысячей рублей годового дохода. В конце ноября 1799 года Лев Николаевич подал в отставку. Жил он с семьей в стороне от столиц, тихо, неспешно, домовито.

С выходом в отставку взгляды и вкусы Льва Николаевича Энгельгардта начали меняться. Брак его дочери с известным русским поэтом Евгением Баратынским и литературный круг, в котором он оказался благодаря этому браку, как бы окончательно довершил происходившие в нем перемены. К концу жизни он отдавал уже явное предпочтение перу перед шпагой. После 1826 года Лев Николаевич начал писать записки, в которые он и включил эпизод расставания с отцом перед отправкой на войну. Лев Энгельгардт успел написать только первую часть своих записок. 4 ноября 1836 года он умер.

Долгое время судьба этих записок была неизвестна. Однако через двадцать с лишним лет их отыскал второй зять Льва Николаевича Николай Васильевич Путята, который и опубликовал их в 1859 году в журнале «Русский вестник». Именно по журнальному варианту с «Записками» Энгельгардта познакомился Лев Толстой, работавший в то время над романом «Война и мир». И, очень похоже, под их влиянием включил этот волнующий эпизод в свою эпопею.

Что касается дальнейшей судьбы Николая Богдановича Энгельгардта, то она не известна. Последнее упоминание о нем в «Записках» сына относится к 1796 году. «Вскоре по объявлении и торжества мира, — пишет Лев Николаевич, — взял я отпуск и отправился в Могилевскую губернию к отцу моему, получившему отставку, причем пожаловано было ему по смерти восемьсот душ в Белоруссии, куда он на житье и переехал».

Видимо, здесь где-нибудь, в нашем крае, и закончил свой жизненный путь Николай Богданович Энгельгардт.

Вячеслав АФАНАСЬЕВ

Заметки краеведа

«Король адвокатов»

Дореволюционные юристы расточали похвалы адвокатуре за то, что она буквально со дня своего рождения — вторая половина 60-х годов XIX века — изобиловала талантами, но не особенно вдавались в объяснения этого примечательного факта. «Точно благословение божие пало на вновь вспаханную ниву русского суда», — удивлялся юрист М. М. Винавер. Однако истинная причина была более земной и реальной, чем божье благословение.

Подъем демократического движения 60-х годов, рост общественной активности русской интеллигенции — вот что привлекло образованных и талантливых людей в адвокатуру, — хотя и относительной, но все-таки большей, чем где бы то ни было из легальных институтов, а с первого впечатления казавшейся абсолютной гласностью.

Люди свободомыслящие, но не настолько передовые и активные, чтобы подняться на революционную борьбу против деспотизма и произвола, шли в адвокатуру с расчетом использовать дарованную ей свободу слова для изобличения пороков существующего строя. В результате русская адвокатура 60—70-х годов XIX века стала средоточием судебных деятелей, которые могли соперничать с любыми европейскими знаменитостями.

Первые в России 27 присяжных поверенных были утверждены 17 апреля 1866 года, в день торжественного открытия новых судов, что означало ввод в действие судебных уставов 1864 года. Многие из них ради адвокатуры оставили выгодную государственную службу, а семеро ушли из прокуратуры: товарищ обер-прокурора уголовного кассационного департамента Сената П. А. Александров, товарищи прокурора петербургского окружного суда А. И. Урусов, С. А. Андреевский, А. Л. Боровиковский, А. А. Герке, прокурор московского окружного суда М. Ф. Громницкий, товарищ прокурора владимирского окружного суда А. Я. Пассовер. Вскоре агентура III отделения с беспокойством доносила: «Лучшая (разумеется, на жандармский взгляд. — *К. С.*) часть общества тревожно и крайне неодобрительно смотрит на то обстоятельство, что более даровитые представители прокуратуры мало-помалу, покидая свою деятельность, переходят в сословие присяжных поверенных…»

Больше всех выступал тогда на политических процессах 1866—1895 гг. самый именитый из адвокатов, вступивший в сословие присяжных поверенных 31 мая 1866 года, белорус Владимир Данилович Спасович. Современники единодушно признали его «королем адвокатуры». «Талант из ряда вон, сила», — отзывался о нем Ф. М. Достоевский, который, кстати, адвокатов терпеть не мог. Крупный ученый, криминалист и литературовед, доктор прав, бывший профессор Петербургского университета, Спасович как никто другой, умел разбить и низложить любое обвинение, полагаясь не столько на краски острословия, сколько на силу логики и научного анализа.

Родился Владимир Данилович Спасович 16 января 1829 года в городе Речица Минской губернии в семье медицинского работника. Учился в Минской гимназии. После окончания юридического факультета Петербургского университета в 1849 году, он в 1851 году защитил магистерскую диссертацию на кафедре международного права и с 1857 по 1861 годы был профессором криминального права Петербургского университета. В знак протеста против суровой расправы над участниками студенческого выступления в 1861 году покинул университет и перешел в Училище правоведения. В 1863 году Владимир Данилович выпустил в свет «Учебник криминального права», за который ему была присуждена ученая степень доктора права. С середины 60-х годов Спасович стал адвокатом. Он снискал популярность в передовых кругах общества как блестящий оратор, искусный защитник деятелей гонимых и преследуемых властями. М. Е. Салтыков-Щедрин ставил ему в заслугу то, что он «не допускает чувствительности и бесплодных набегов в области либерального бормотанья». Вместе с тем, Владимир Данилович был и вдохновенным оратором, виртуозом колоритного, часто «неправильного», далеко не элегантного, но всегда меткого и образного слова. Такой адвокат был страшным противником для любого обвинителя. В дни процесса «нечаевцев», в июле 1871 года, небезызвестный журналист и агент III отделения И. А. Арсеньев доносил шефу жандармов: «Без преувеличения можно сказать, что в одном Спасовиче больше ума и научных сведений, чем во всем составе суда и прокуратуры».

По своей общественной репутации Владимир Данилович в 70—90-е годы был едва ли не самой влиятельной фигурой в русском судебном мире. «Вся администрация — министры, сенаторы и прокуроры, — вспоминал С. А. Андреевский, — поневоле смотрели на него снизу вверх». Немудрено, что выступления Спасовича на уголовных и особенно на политических (гласных) процессах приобретали большое общественное звучание. Власти следили за этими выступлениями, боялись их. Специальные агенты заблаговременно доносили в III отделение о том, какие козни против сильных мира готовит знаменитый адвокат: то Спасович намеревается взять на себя уголовный иск к герцогам Лейхтенбергским и придать делу широкую огласку (октябрь 1870 г.), то он подкапывается под графа Д. А. Толстого и «желает учинить скандал министерству народного просвещения» (июнь 1876 года). В самом начале, когда правительство еще не начало кромсать права адвокатуры и были еще живы все иллюзии первых адвокатов, Владимир Данилович имел все определенные основания заявить от имени своей корпорации: «Мы до известной степени рыцари слова живого, свободного, более свободного ныне, чем в печати; слова, которого не угомонят самые рьяные, свирепые председатели (суда. — *К. С.*), потому что пока председатель обдумает вас остановить, уже слово ускакало за три версты вперед и его не вернуть».

В. Д. Спасович был последовательным либералом. В своем письме редактору — издателю журнала «Вестник Европы» М. М. Стасюлевичу от 25 августа 1906 года, за полтора месяца до смерти, он так

сформулировал свое кредо, которому был верен всю жизнь: «За всякий прогресс, но легальный, за всякую эволюцию, но не революцию, за установление порядка по соглашению всех партий на арене парламента — без кровопролития и убийств…» Однако, не в пример другим либералам, Владимир Данилович был смел и стоек в своих убеждениях, непримирим к произволу и мракобесию. «Я антицерковник, антинационалист и антигосударственник», — публично заявлял он о себе.

Близкий друг Зыгмунта Сераковского и почитатель П. Л. Лаврова, Спасович горячо симпатизировал подсудимым революционерам, осуждал правительственные репрессии и наиболее реакционных членов правительства. В речи на собрании петербургских адвокатов 27 апреля 1880 года он произнес темпераментную отходную графу Д. А. Толстому и анафему М. Н. Каткову, но помянул добрым словом Г. В. Бардовского — адвоката, близкого к революционному подполью, который в июле 1879 года был арестован и в заключении сошел с ума.

В правительственных кругах Владимир Данилович слыл «неблагонадежным». Его учебник уголовного права в 1863 году был запрещен. III отделение бдительно смотрело за ним. Слежку вела целая группа агентов, был подкуплен домашний слуга Спасовича. Но собрать улики, достаточные для того, чтобы учинить расправу над столь видной фигурой, так и не смогло.

Владимир Данилович выступал защитником на десяти крупных политических процессах: нечаевцев, долгушенцев, «50», «193», «20», «17», «14», польской партии «Пролетариат», «21-го», «22-х», не считая малых, например, в августе 1871 года он защищал П. Н. Ткачева, преданного суду за перевод книги Э. Бехера «Рабочий вопрос» и за примечания к ней.

Следует сказать, что некоторые подсудимые революционеры недолюбливали В. Д. Спасовича, предпочитая ему других адвокатов, за то, что он в целях смягчения участи своих подзащитных часто принижал размах и значение революционного дела. Так, организацию «москвичей» он сравнивал с муравейником, задавшимся целью разрушить Монблан, а деятельность долгушенцев, по его словам, походила на то, «как если бы человек 20—30 отправились на берег Невы и стали дуть на воду с тем, чтобы произвести волнение и всколыхать водяную поверхность».

Но такие примеры невыгодной для революционного лагеря защиты на политических процессах в 70—80-е годы XIX века были исключением из правила. В целом деятельность Владимира Даниловича приносила революционерам большую пользу. Именно в эти годы в истории русской буржуазной адвокатуры была пора наивысшей активности и влияния. Только в ту пору и мог Спасович публично и гордо заявить от имени сословия присяжных поверенных: «Мы не искали крестов, мы не получали медалей за храбрость, но мы кое-что сделали, не щадя живота, о чем можно судить индуктивно по тому вою целых стай шакалов, которые тоскуют о вырванной из их пасти добыче. Мы пришлись не по нраву всей фарисейской синагоге, мы стали костью в горле не одной высокопоставленной особе, эти особы охотно бы съели нас, но не лезет — удавиться!»

Помимо адвокатской деятельности Владимир Данилович активно занимался публицистикой и историей культуры и литературы. Сотрудник либерального журнала «Вестник Европы», основатель польских периодических изданий «Атенеум» в Варшаве в 1876 году и «Край» в Петербурге в 1882 году, Спасович писал в основном на русском языке. Занимался историей русской и зарубежной литератур. Вместе с А. И. Пыпиным участвовал в создании «Обзора истории славянских литератур», который вышел двумя изданиями в 1865 и 1879—1881 годах в 2-х томах. Характерен устойчивый интерес Владимира Даниловича к польской литературе и творчеству видных ее представителей старшего поколения, таких как наш соотечественник Адам Мицкевич, а также писателей конца XIX — начала XX века — С. Выспяньского и С. Жеромского, польско-русским литературным связям посвящена, в частности, статья о князе П. А. Вяземском.

Необходимо заметить, что Спасович был большим знатоком польского средневековья, он перевел с латинского языка на русский рукописное сочинение польского историка XVI века Свянтослава Ожельского «Восемь книг Бескоролевия от 1572 по 1576 гг.». Немало сделал Владимир Данилович для сближения русской и польской культуры. Русским читателям он обстоятельно рассказывал о польской литературе, в польских кругах пропагандировал русскую литературу, русскую книгу. Умер он 26 октября 1906 года в Варшаве, где и похоронен.

Константин СЛАВИН

Страницы литературной дружбы

Письмо Максима Танка Кериму Курбаннепесову

В Беларуси завершилось издание 13-томного Собрания сочинений народного поэта Беларуси Максима Танка. В конце минувшего, 2011 года вышел 12-й том, вобравший в себя эпистолярное наследие классика белорусской поэзии. Максим Танк долгие годы, с 1966-го по 1990-й, возглавлял Союз писателей Беларуси, активно занимался общественной деятельностью. Много ездил по республикам Советского Союза. Хорошо знал туркменскую поэзию.

В Ашхабаде вышел сборник стихов Максима Танка на туркменском. Переводчик — Сапар Ураев. Одно из стихотворений Максима Танка перевел на туркменский и народный поэт Туркменистана Керим Курбаннепесов (1929—1988). Произведение вошло в антологию переводов Курбаннепесова из мировой поэзии «Букет дружбы».

А в 12-м томе Собрания сочинений Максима Танка — письмо белорусского поэта Кериму Курбаннепесову от 18 августа 1978 года. Приведем его полностью:

«Дорогой друг Керим!

Сердечное спасибо за Ваше поздравление с присуждением мне Ленинской премии. Разрешите и мне крепко пожать Вашу руку — руку собрата по оружию — чудесного поэта, на родине которого мне выпало счастье однажды побывать и незабываемое воспоминание о котором я свято храню в своем сердце.

Я очень рад, что книга моих стихов понравилась Вам и что строки из стихотворения «Красива ли ты» стали эпиграфом Вашего стихотворения, получившего широкое призвание туркменских читателей. Я знаю, что часто эпиграф, как эхо в горах, может вызвать (как в Вешча горах) целую лавину, значительно превосходящую его звучание. С любовью и братским приветом

Максим Танк».

Короткое письмо, но сколько в нем важных составляющих: и осознание равенства в главном — поэтическом труде, и любовь к Туркменистану, где Танк был всего один раз, и понимание значительности чужих поэтических открытий.

Знакомство с письмом белорусского литератора, адресованным Кериму Курбаннепесову, наводит на многие вопросы, связанные с эпистолярным наследием, а значит — с историей литературы, культуры в целом. И конечно же — с историей литературных связей. Сегодня можно только догадываться, какие тайны, просто факты хранит неизвестная нам, осевшая в частных архивах эпистолярия, связывавшая короткое или длительное время тех или других белорусских и туркменских писателей. В разные годы в Туркменистане бывали белорусские писатели Олег Лойко, Рыгор Бородулин, Аркадий Мартинович, Павел Мартинович, Бронислав Спринчан, Василь Ткачев, Алесь Жук, Алесь Емельянов, Янка Сипаков, Алесь Адамович, Любовь Филимонова, Николай Калинкович, Виктор Шимук… Наверное, я назвал далеко не всех. А ведь были еще и переводческие контакты, когда литераторы Беларуси и Туркменистана переписывались, не встречаясь друг с другом. Однозначно, интерес для исследователей могли бы представлять письма Николая Калинковича. Конечно же, он переписывался с Керимом Курбаннепесовым, Наркылычем Ходжагельдыевым, Курбаном Чолиевым, Какалы Бердыевым, возможно, с другими литераторами, работавшими в 1980-е гг. в туркменской литературно-художественной периодике, туркменских книжных издательствах. Где-то в архиве Керима Курбаннепесова — письмо Миколы Аврамчика, переводившего стихотворения туркменского поэта на белорусский язык. Не исключено, что Берды Кербабаеву, Тоушан Эсеновой, Каюму Тангынулиеву писала белорусская поэтесса Евдокия Лось. Ведь у нее есть стихотворение, посвященное этим литераторам. Микола Чернявский долгие годы дружил с Пирнепесом Овизлиевым, Азатом Рахмановым. Думаю, что и здесь не обошлось без переписки. Переписки настоящих друзей, творческих личностей, стремящихся к объединению культур, торжеству дружбы и гуманизма.

Алесь КАРЛЮКЕВИЧ

Память

Протагонист[*] Виктор Тарасов

Случается, что судьба расщедрится и даст человеку все. Красоту — открытую, добрую, понятную каждому. Голос — бархатный баритон, богатый такими обертонами, такими яркими нюансами, так умеющий выразить тончайшие движения души, что и сегодня, когда слышишь его по радио, сердце замирает. Обаяние (или харизму, как сказали бы сейчас), действующее как гипноз. И самое главное для актера — такую сценическую заразительность, которая, переливаясь через рампу, просто затопляла зал. Все это судьба подарила народному артисту СССР Виктору Тарасову. Особенное обаяние Тарасова успели зафиксировать на кинопленке, в радиозаписях. Но вот оказаться в «затопленном» переживаниями зале сегодня, к сожалению, нельзя. Театр — ускользающее искусство: спектакли исчезают ежевечерне, а с уходом актера — пропадают навсегда. Остаются только воспоминания.

В Минск из Барнаула 14-летнего Виктора привезли родители. Обычный мальчик учился в обычной школе. Но ассистенты режиссера, подбиравшие юношей для массовки в опере «Князь Игорь», не смогли пройти мимо такого красивого парня. Так в кольчуге и доспехах воина дружины Игоревой Виктор очутился в чарующем свете рампы на оперной сцене. А тот, кто попал однажды в этот волшебный мир, уже не может от него отказаться. Пленил он и Тарасова. Юноша переходил из одной массовки в другую, из спектакля в спектакль. И жадно смотрел все постановки. А летом узнал о наборе в театральный институт. Благо, и институт тогда находился тут же, в оперном. Надо было только подняться выше двумя этажами…

Народная артистка Беларуси Мария Захаревич вспоминает, как Тарасов не только поступил сам, но и помог ей:

— Я приехала из своих Новоселок поступать в театральный. Страшно робела и боялась всего. Набирал курс Константин Николаевич Санников, а принимал экзамены Дмитрий Алексеевич Орлов. Он предложил мне какой-то этюд. Я сделала, но, видно, не очень хорошо. И он мне дает второй этюд, говорит, чтобы я вышла в коридор, подумала и снова зашла выполнять задание. Я поняла, что провалилась. Выскочила за дверь, слезы рекой, реву в голос. И тут ко мне подходит парень, который уже сдал. Это был Виктор. Расспросил. Стал меня утешать. Посоветовал, что сделать. И буквально втолкнул меня в аудиторию. Сама я ни за что второй раз не вошла бы. А так сделала то, что он сказал, и прошла на второй тур. Выходит, попала я в театральный благодаря Виктору Тарасову.

В тот год на курс Санникова, прекрасного режиссера и педагога, поступили очень талантливые ребята. В 1957 году после окончания института четверо из них получили приглашение в лучший театр страны — Государственный академический театр им. Янки Купалы. Все они стали украшением этой труппы, получили самые высокие звания: народные артистки Беларуси Мария Захаревич и Галина Толкачева, народные артисты СССР Виктор Тарасов и Геннадий Овсянников.

Первая роль Виктора Тарасова в театре — Яков в спектакле «Двадцать лет спустя» по пьесе Михаила Светлова. Герой Тарасова человек мужественный, собранный, сильный. Актер наделил его своей сердечностью, искренностью, обаянием. Роль имела успех. И началось… Обычно актеры ждут ролей годами. А тут предложения посыпались как из рога изобилия: Мясников («Дни нашей жизни» Ивана Мележа), Саша Кузьмин («Люди и дьяволы» Кондрата Крапивы), Булатов («Хозяин» Игоря Соболева), Валерик («Третья патетическая» Николая Погодина). И все молодые, все обаятельные, симпатичные, и как ни старался начинающий актер избежать самоповторов, но уж слишком одноплановыми были герои, юные, славные, положительные…

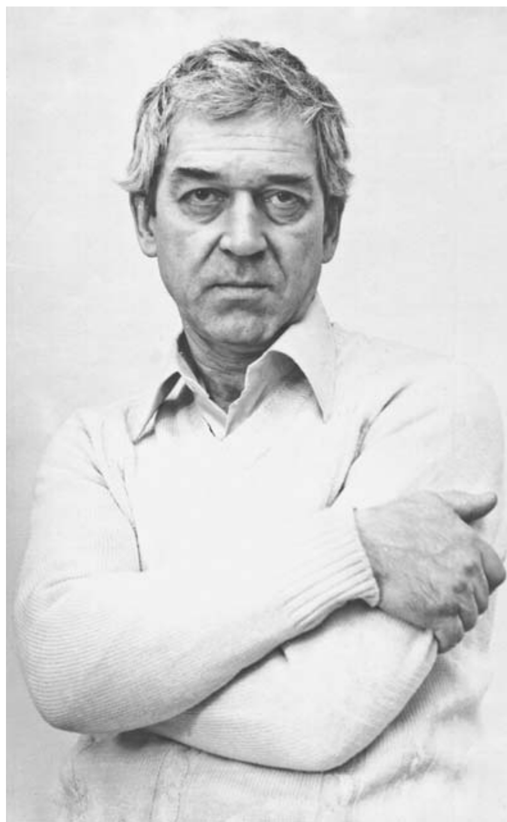
Спасением стала роль шофера Жорки Цуканова в спектакле «Любовь, Надежда, Вера» Петра Василевского. Болтун, гуляка, пижон с тоненькими усиками в сверхмодных шмотках (замшевая курточка, пестрый шарфик, кепочка). Но все его фразерство и бахвальство — просто бравада, а на самом

[1] Протагонист — первый актер, в древнегреческом театре исполнитель главной роли.

деле это сильный, душевный и очень интересный человек. Актер сумел интуитивно выбрать из всех средств внешней выразительности самые точные — ничего лишнего. Выстраивал роль как мелодию, не столько умозрительно, сколько интуитивно. А интуицией он обладал просто нечеловеческой. И, конечно, это выделяло его среди других молодых актеров. Его полюбил зритель. На Тарасова — ходили. И уже в 1963 году ему было присвоено звание заслуженного артиста БССР.

Как раз летом 1963 года, после окончания Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, я приехала в Минск. И поскольку рабочее место мне было определено как «театр на телевидении», сразу после открытия сезона я поспешила в Купаловский. Шел спектакль «Друзья и годы» по пьесе Леонида Зорина. Хорошая, добротная постановка. И вдруг на сцене появился лейтенант Лялин, работник военной прокуратуры. Это был Виктор Тарасов. И все, с его появлением уже не существовало сцены с ее условностями. Это была сама жизнь. А от актера нельзя было оторвать взгляд. И образ был таким значительным. Необыкновенной доброты и кристальной честности человек, Лялин в исполнении Тарасова был не только по-человечески безупречен, он был понастоящему публицистичен. Его диалог с народным артистом СССР Леонидом Рахленко, талантливым мастером, опытно выстроившим свою роль, — задевал за живое каждого сидящего в зале. Это был разговор о принципиальности человека, о его предназначении, о его месте в жизни. И что удивительно, если Рахленко был убедителен, то Тарасов просто завораживал. Верилось в его доброту, сердечность, в каждом его слове, жесте сквозил глубокий, а главное, доброжелательный ум. От него просто невозможно было отвести взгляд. Были в нем значительность, тайна и своеобразный магнетизм.

Сорок лет своей журналистской судьбы я отдала театру, работая в литературно-драматической редакции Белорусского телевидения, видела тысячи спектаклей. Но только еще раз посчастливилось встретить актера со столь редким даром. Это был Валерий Ивченко, тогда актер Киевского театра им. И. Франко, которого вскоре переманили в Ленинградский БДТ к Товстоногову.



У хорошего актера играет все: жесты, пластика, голос, каждая часть тела, глаза. Даже дрожание ресниц — мизансцена. А сколько мы знаем артистов, носящих даже самые высокие звания, которые только что на авансцене «рвали страсть в клочья», а отвернулись — и все. Спина не дрогнет, не закричит, ей все равно. Она не играет, потому что актер «отбыл номер». Он не живет в образе. У Тарасова на сцене работало все. Но о его невероятных «играющих руках» заговорили после «Чудака» по пьесе Назыма Хикмета. В этом спектакле актер выходил на подмостки в роли адвоката Ахмеда Резы, человека талантливого, справедливого, честного и принципиального. Он защищал невинных, разоблачал фальшь и обман, скрупулезно препарировал преступления. И ценя этот талант, его, конечно же, хотели бы подкупить, привлечь на свою сторону богатые проходимцы и преступники. Но с первого же появления на сцене мы ощущаем его инакость, непохожесть на тех, кто рядом. Он будто отъединен от них невидимой преградой. Он стоит такой красивый, стройный, как-то по-особому приподняв ладони, будто отталкивает бесчестные предложения Реджеб-бея. А как взлетают, как парят эти руки, когда появля-



Виктор Тарасов в роли Ухватова (слева).

богат, но в душе пустота. Он делает последнюю попытку удержать былые ценности и вызывает Нихаль в низкопробный, подозрительный кабачок. Ей бы не приходить, но она пришла, и он показывает ей свою чековую книжку. Увидев сумму со множеством нулей, Нихаль согласна вернуться. И тогда Ахмед понимает, что нужен ей не он. Медленно-медленно, как в рапидной съемке, он вытягивает из рук Нихаль чековую книжку. Вот и любовь рухнула. В душе — зияющая рана. В роли адвоката Резы Тарасов показывал такие резкие сломы судьбы, такие контрасты настроений, что достигал поистине трагических высот.

Виктор с сокурсниками пришел в Купаловский в то время, когда живы были все великие старики, основатели театра, народные артисты СССР Лидия Ржецкая, Борис Платонов, Глеб Глебов, Леонид Рахленко. Было на кого равняться, было у кого учиться, было кого любить. А еще театр был теплым и уютным, как родной дом. Молодых опекали,

ется его любимая Нихаль (артистка Зинаида Броварская), как поникают они, будто сломанные крылья, когда она называет его никчемным и жалким со всеми этими его честными чудачествами. И добавляет, что не она одна так считает. Он ошарашен, оглушен, растерян. И когда она уходит, остается стоять, как изваяние. Из этого состояния его выводит приход Абдурахмана. Взволнованно, торопливо объясняет Ахмед произошедшее. Абдурахман в шоке, что коллега отказался от таких огромных денег. Ну нет, в таком случае он сам доведет это дело до конца.

И вот тогда Тарасов каменеет лицом. Он трясет головой, будто хочет стряхнуть это наваждение. Бессильно опадают руки. В нем происходит страшный слом, и мы все это читаем на его лице. Ахмед кричит: «Все, я больше не чудак! Я подал в отставку!» — и это такой надрывный крик, что у зрителей останавливается дыхание.

Ахмед принял условия, по которым живет этот мир, где правят деньги. Он теперь

направляли, учили. С интересом в театре обсуждали спектакли и роли, говорили комплименты. Тарасов восхищался народной артисткой БССР Ириной Жданович, ее элегантностью и женственностью, ее трепетным отношением к театру, как к Храму. Им довелось тесно общаться, когда Борис Платонов, ее муж, некогда легендарный исполнитель роли Константина Заслонова, помогал Тарасову в работе над этой ролью. Спектакль «Константин Заслонов» был возобновлен на Купаловской сцене в 1967 году. В октябре того года Виктору Тарасову было присвоено звание народного артиста БССР. А ему в это время не исполнилось и 34 лет. Невероятно рано он был оценен и встал в один ряд с замечательными мастерами-купаловцами. Стал им достойной сменой.

Виктор Тарасов проработал на Купаловской сцене без малого полвека и почти не играл в классических пьесах. На его долю доставались в основном творения современ-

ных авторов. А современная пьеса и пьеса талантливая не всегда оказывались синонимами. Хорошо, что посчастливилось сыграть в пьесе Андрея Макаенка «Погорельцы». Ему досталась роль Ухватова, тупой никчемности, вознесенной на самый верх бюрократической лестницы. Тарасов показал, как ошалел его герой от этого назначения и как быстро сообразил, что надобно скрыть свою некомпетентность, а заодно и «деловую хватку» своих коллег-сообщников. И он придумал «карусель», попав на которую, посетитель будет ходить из одного кабинета в другой и нигде не найдет разрешения своей проблемы. А пройдя этот круг несколько раз, выйдет из него измочаленным и уже не похожим на человека.

Во втором действии Ухватов, вышедший на пенсию, обращается в свою организацию с каким-то мелким вопросом. И его бывшие коллеги с наслаждением запускают его на «карусель». И он, жалкий, согбенный, в руке авоська с пустыми молочными бутылками (все-таки какая-то копейка), шаркающей старческой походкой начинает ходить из кабинета в кабинет. Растерянный, обескураженный, униженный, и его становится жалко…

Пьесы Виктора Розова, Александра Володина, Александра Вампилова — драматургов, которые глубоко и проницательно отражали болевые и болезненные процессы нашей действительности, не очень часто шли в Белоруссии. Сегодня Олег Табаков поставил памятник этим драматургам у входа в театр «Табакерка». Три фигуры в человеческий рост разговаривают о чем-то своем… А тогда на наши сцены их пьесы пробивались с большим трудом. Провинциальные чиновники от культуры всегда стремились быть «святее Папы Римского», и потому «Традиционный сбор» Розова, поставленный на Купаловской сцене молодым Борисом Луценко, стал событием. Тарасову поручили роль Сергея Усова. Его предала любимая, отдав предпочтение более преуспевшему в карьерном росте однокласснику (опять любимая Агния — артистка Зинаида Броварская, опять, как в «Чудаке», — предательство). И теперь, приехав на встречу одноклассников, Агния с болезненным любопытством допытывается, кем же он стал. Он называет себя то начальником грандиозной стройки, то ведущим хирургом, то засекреченным специалистом, и не выдержав в конце концов, с невероятной болью, со своей неповторимой тарасовской интонацией восклицает: «…да кому же тогда просто Человек нужен?!»

Будучи ведущим актером академического театра, загруженным в репертуаре, народный артист БССР Тарасов с удовольствием откликнулся на приглашение режиссера Валерия Анисенко поучаствовать в самостоятельной работе. Актеры из разных театров — Валерий Филатов, Любовь Румянцева, Павел Кормунин — взялись сыграть «Утиную охоту» Александра Вампилова, пожалуй, самую сложную из его пьес. На главную роль Зилова позвали Тарасова. Зилов — мужчина, раздавленный мелочным бытием и невозможностью хоть что-либо изменить. Тесная квартирка, жалкая зарплата инженера, которой не хватает семье на жизнь, мелкое и лживое окружение. И потому жгучая потребность хоть раз в год вырваться на утиную охоту. Этой мечтой живет он одиннадцать месяцев, приготавливая снаряжение, палатку, ружье. Для него — это побег на свободу. Вырваться, вырваться из этого замкнутого круга на природу, где не надо притворяться, лицемерить. И Зилов-Тарасов пытается быть искренним каждую минуту, беспощадно искренним, разоблачительно искренним, и потому кажется циничным и жестоким…

Виктор Тарасов никогда не просил себе ролей. А мог бы сказать, что хочет сыграть Отелло, Раскольникова или князя Мышкина. И руководство театра, учитывая его талант и положение, и пьесу бы в репертуар поставило, и режиссера бы отыскало. Но он никогда этого не делал, не просил. Скромность, граничащая с гордыней, эдакая аристократическая сдержанность. И потому ролей в классических пьесах досталось ему немного.

Одна из ярких — Вадим Дульчин в спектакле «Последняя жертва» по пьесе Александра. Островского, поставленная режиссером Тихоном Кондрашовым. Был Тарасов в этой роли потрясающе красивым — во фраке и цилиндре с изящной тросточкой в руках. Безусловно, Дульчин нравился женщинам и бесстыдно этим пользовался. Это был бессовестный пройдоха, обаятельный светский хлыщ, гуляка и мот, большую часть жизни проводящий за карточным столом. Ему требовались деньги, и он нисколько не задумывался, ценой каких душевных мук и унижений достаются они любимой женщине. Да и любимой ли, коль он с такой легкостью предавал ее.

Да, это никчемный враль с блестящими аристократическими манерами. Но Тарасов не был бы Тарасовым, если бы

представил своего героя лишь плоским негодяем. Актер наделил Вадима и гибким умом, и даже своеобразной глубиной души. Да, этот баловень судьбы, конечно, хищник, но он и жертва обстоятельств, среды. Да, это человек без принципов, без сердца, то есть — недочеловек, потому он и вызывал сочувствие. Вместе с народным артистом СССР Леонидом Рахленко в роли Прибыткова, где актер играл не грубого купчину, но европейски образованного человека, не покупающего Юлию, а любящего и спасающего ее, они составили блестящий дуэт: один терял эту великолепную женщину, другой обретал ее.

И еще одного аристократа, но утратившего человеческий облик, представил Тарасов — Барона («На дне» Максима Горького). Вот уж где актер показал чудеса перевоплощения, где использовал все возможности грима. Его Барон — самый жалкий из всех обитателей ночлежки. Весь какой-то замшелый, с потухшим взглядом. У всех прочих (а ансамбль в спектакле был потрясающий: Бубнов — Леонид Рахленко, Сатин — Роман Филиппов, Актер — Геннадий Гарбук, Клещ — Степан Хацкевич) была мечта, надежда, и только у Барона впереди — ничего, все в прошлом. Работая над ролью, актер нашел много точных, красноречивых деталей и сумел виртуозно свести в единое целое ошметки светскости своего персонажа и ничтожество его нынешнего существования. Вот, воодушевясь перед уходом в кабак, Барон меняет одну донельзя изодранную шляпу на другую, не менее рваную, но — ВЫ-ХОД-НУ-Ю! Вот он только что, «грассируя», желчно насмехался над придуманной «французской» любовью Насти и тут же покорно подставляет плечи под коромысло с ведрами Квашни, чтобы за копейку нести их на рынок. Это он первым обнаруживает, что Актер повесился, объявляет об этом и быстренько вскарабкивается на нары, спиной к зрителям. Что это — страшное безразличие или он прячет навернувшиеся слезы? У Тарасова не бывало однозначных ответов…

И еще одного обаятельного бездельника сотворил Виктор Тарасов, но уже нашего современника, выпивоху и прогульщика Григория Соловейчика в спектакле «Амнистия» по пьесе Николая Матуковского. Этого своего «работничка» замдиректора и одновременно парторг Божешуткова берет на поруки, чтобы показать силу и мощь коллектива, а заодно и скрыть неблагополучие на фабрике. Да только Соловейчик не так-то прост, видя все их ханжество и очковтирательство, этот «правдолюбец» шантажирует своих спасителей, выдвигает все более наглые требования, иронизирует и веселится, наблюдая, как выкручиваются его благодетели. Актер просто купался в этой роли. Он наслаждался тем, что, наконец, играет не стерильно-показательно положительного героя, а живого человека, и не только разоблачал «порядочки» на фабрике, но поднимался до общегосударственных, общечеловеческих обобщений. Тарасов всегда умел сказать больше, чем написано в пьесе.

Однажды Тарасов рассказал о своих любимых героях. Ему нравились совестливые, болеющие за тех, кто рядом, за то, что происходит вокруг, люди неравнодушные, беспокойные. Те, что живут не для себя, но для других.

Таков архонт Клеонт, верховный судья Эфеса из спектакля «Забыть Герострата» по трагикомедии Григория Горина. Стоял в Эфесе храм богини Артемиды, такой прекрасный, что считался одним из семи чудес света. Был он совершенен, как мечта. Множество талантливейших творцов вложили свою душу в его возведение. Ста двадцатью семью колоннами возносился он к небу и мог удивлять мир веками, но в 356 году до нашей эры мелкий торгаш Герострат сжег это диво дивное, чтобы увековечить собственное жалкое имя. Спектакль стал событием в театральной жизни Белоруссии. Уж очень хорош был Август Милованов в роли Герострата. Его герой поражал своим цинизмом, заносчивостью, наглостью. А противостоял ему только Клеонт. Все другие верховные правители, преследуя собственные цели, готовы были провозгласить Герострата чуть ли не героем. И вот человек, олицетворявший закон, жрец закона, совесть Эфеса, был вынужден преступить закон. Он убивает Герострата, понимая, что закон не может противостоять власти и злодейству. Но какая буря поднималась в душе этого честного и доброго человека, какой чудовищный внутренний конфликт он переживал. Тарасов в этой роли был красив, трагичен, убедителен.

Следующий в ряду любимых — 80-летний старик по прозвищу Мультик. Его Тарасов сыграл, когда ему не было еще и пятидесяти. Зачем сдалась ему эта роль? Но обратимся к интервью, которое актер дал в 90-х годах прошлого века.

«Меня, как человека, прожившего большую часть своей жизни, очень вол-



Виктор Тарасов в роли Клеонта (справа).

нует, что современное общество утрачивает такие «старомодные» ценности, как честь, вера, доброта. Посмотрите внимательно вокруг — и вы увидите по большей части равнодушных, безразличных ко всему людей. Создается впечатление, что люди дошли до определенной точки падения, что они вымотались, устали, потеряли надежду. Но ведь с давних времен в человеке ценилось его умение не пройти мимо чужой беды, умение облегчить страдания, поделиться радостью, подарить надежду на лучшее… Мы только сегодня стали серьезно сравнивать наше прошлое и настоящее и стали замечать, как много ценного было во взаимоотношениях минувших поколений. Я часто спрашиваю себя: сколько времени нам понадобится, чтобы вернуть все эти ценности? В последнее время я не вижу настоящей искренности ни в жизни, ни на сцене. И мне больно думать об этом…»

Вот почему Мультик из пьесы Алексея Дударева «Вечер» был так дорог ему. Их мысли совпадали. Этот простой старик, доживающий свою жизнь в деревне, где осталось всего трое обитателей, оптимист, философ и поэт. Он воспринимал каждый день жизни как настоящий подарок судьбы. Он здоровался с солнцем и говорил с ним, как с живым. Он разговаривал с водой, колодцем, травой, деревьями. И с такой же добротой и пониманием относился к тем, кто рядом, — старухе Ганне (Галина Макарова) и желчному, больному Гастриту (Павел Дубашинский). Простой и мудрый, он понимал, что стоит им залениться, остановиться, перестать работать — вот тут и наступит всему конец. Сколько доброты и мягкого юмора в его диалогах с Ганной. Невероятно тонко были расставлены актером акценты в этой трагикомической роли. И ему даже не приходилось пудрить волосы. Тарасов очень рано поседел.

Однокурсница Тарасова народная артистка Беларуси Мария Захаревич была его партнершей в спектаклях — «Закон вечности» Нодара Думбадзе и «Святая святых» Иона Друцэ. В обеих постановках ее героиню звали Марией. А как еще можно назвать женщину красивую, с чистой душой, но мученицу и страдалицу — конечно, только Марией.

Мария в «Законе вечности» была прекрасна и неустроенна, а потому ее, как вещь, продавали и уступали друг другу богатые и высокопоставленные дельцы. До тех пор, пока не встретила она Бачану Рамишвили, журналиста, писателя,

редактора газеты, который своей любовью очистил ее от всякой скверны и поднял на недосягаемую высоту. С Бачаной, человеком тончайшей душевной организации, мыслителем, философом и истинным интеллигентом, мы знакомимся в больничной палате, где он выживает после тяжелейшего инфаркта. И здесь, на грани между жизнью и смертью, вспоминает всю свою жизнь, встречи, потрясения, потери. Критики единодушно назвали роль Бачаны одной из ярчайших удач актера. Цельный, волевой герой Тарасова был очень сдержан во внешних проявлениях, но в каждом жесте, в каждой паузе ощущалась невероятная внутренняя наполненность. Его непоколебимость, четкая гражданская позиция выражалась в спорах с портным Булико, в размышлениях-дискуссиях со священником Иорамом. И тут, в больнице, открыл он свой «Закон вечности». Оказывается, душа человеческая намного тяжелее тела, и человек не в состоянии нести ее в одиночку. Ему обязательно должен помочь тот, кто рядом. И потому люди, пока живут, должны обессмертить души друг друга: вы мою, я — другого, он — третьего, и так далее до бесконечности. Чтобы смерть человека не осуждала нас на одиночество.

Мария Захаревич вспоминает, что для каждой роли у Тарасова было свое обоснование, свое отношение к этому характеру, к этой судьбе:

— Он был таким правдивым, таким искренним на сцене, что рядом с ним просто невозможно было фальшивить. Если ты его партнер — это счастье, это гарантия того, что роль непременно получится. Он умел так общаться, что захватывал тебя целиком. Он вовлекал тебя, он почти доигрывал за тебя. Лучшего партнера, чем он, у меня не было за все годы работы в театре. Такой партнер — это просто подарок. Я дважды играла его жену — в фильмах «Воскресная ночь» и «Руины стреляют в упор». А когда мы работали над спектаклем «Святая святых», он очень помогал на репетициях. Видел все оплошности. Советовал, что нужно попробовать сделать. От него просто исходила теплая волна добра.

В спектакле «Святая святых» Тарасов играл главного героя — Кэлина Абабия, простого молдавского крестьянина, который и через много лет после окончания войны ходил в солдатских обмотках и шинели. И был бойцом, потому что чувствовал себя не временщиком, а истинным Хозяином родной Земли. Ему до всего есть дело. Он скромен и неприхотлив, но взрывается всякий раз, когда видит жестокость, бессердечие и равнодушие. Он бросается с ружьем на ветеринара, пославшего на убой стельных коров. В его голове не укладывается, как можно убивать лошадей только потому, что они не нужны больше в колхозе. Он защищает их с оружием, ведь они же — живые! И когда видит в магазине варварски проломленные головки селезней, при жизни такие красивые, такие совершенные, опять затевает бешеный скандал. Красота всего живого — святая святых для Кэлина. И его чувство к Марии, которую он полюбил в ранней юности, — святое. Но она выбрала другого, и он молчит о своей любви, только рассказывает о самом главном в жизни, о заветном ее сыну Санду. Взрывной характер Кэлина был смягчен тарасовской добротой и тактичностью, но образ этот был абсолютно близок ему духовно.

Тарасов создал театр романтических современных героев. Свой театр. Режиссеры понимали, что если у персонажа есть несколько положительных черт, то своим талантом и обаянием Тарасов поднимет его на надлежащую высоту, и часто попросту подводили актера. Случилось такое в самом начале творческого пути, когда Виктору довелось играть Нехлюдова в «Воскресении» Толстого. Молодой актер наделил своего героя такой искренностью, такой душевной тонкостью, такими глубокими терзаниями, таким обаянием, что вся критика единодушно вскричала: «Чье это воскресение, Нехлюдова, что ли?!»

Второй раз режиссер Валерий Раевский подвел уже зрелого актера, поманив его необычным прочтением гоголевского «Ревизора». В их трактовке городничий Антон Антонович — человек умный, проницательный, знающий цену всем этим земляникам, ляпкиным-тяпкиным, бобчинским и добчинским. Видел он и обман и подлость жизни подвластного ему города N и ожидал за все это расплаты. А еще был городничий по-тарасовски красив. Никакого грима. Белая распахнутая рубаха, высокие павловские сапоги, почти ботфорты. Да и мундир городничего шел ему чрезвычайно. Но почему же при такой проницательности принял он фитюльку, болтуна Хлестакова за ревизора? Потому что у страха глаза велики? Потому что очень хотелось стать генералом? А как же говорящая продувная фамилия Сквозник-Дмухановский? И при чем здесь Гоголь с его едкой сатирой? Текст же сопротивлялся.

Спектакль не принес лавров ни театру, ни актеру. Это послужило ему уроком…

Став уже признанным мастером, Тарасов сопротивлялся режиссерскому произволу. Был он назначен на роль трагика Несчастливцева в спектакле «Лес» по пьесе Александра Островского. Роль завидная, о которой можно только мечтать. Актер-трагик, богач, аристократ, отказавшийся от всех сословных привилегий и богатства ради сцены. Случай, кстати, нередкий в царской России. И вот от такой роли Виктор Тарасов отказался, поскольку не был согласен с режиссерской трактовкой. Отказался и не сыграл…

Тарасов всегда мучительно размышлял о тех бедах и несообразностях, что происходили в обществе. Но был лишь артистом. А актер — самая зависимая из творческих профессий. И Виктор Павлович стал топить свое несогласие с происходящим в вине. Ролей становилось все меньше. Успех приходил все реже… С Виктором Павловичем Тарасовым случился инсульт. Не самый тяжкий. Болезнь не отняла у актера ни речи, ни возможности двигаться. В театре устроили своему любимцу, своему протагонисту юбилейный вечер по случаю 70-летия. Актер сидел на сцене, перед ним разворачивалось, вилось и шумело праздничное действо, а он был таким отрешенным, таким отъединенным от него… Надо было старательно, настойчиво лечиться, чтобы избавиться от последствий болезни. Тарасов не захотел. Актер умер в феврале 2006 года.

Он создал целую галерею своих, тарасовских романтических героев. Он интересно думал, тонко обобщал. Его способ бытия на сцене был по-настоящему изящным, манера игры — элегантной. Он был непревзойденным мастером говорящей детали.

Мая ГОРЕЦКАЯ
Фото из архива
Национального академического
театра имени Янки Купалы.

ЖДАН (Пушкин) Олег Алексеевич. Родился в 1938 г. в Смоленске (Россия). Окончил историко-географический факультет Могилевского педагогического института и Литературный институт им. М. Горького. Прозаик, драматург, переводчик. Автор многих книг прозы. Живет в Минске.

ЧЕРНЯВСКИЙ Микола (Николай Николаевич). Родился в 1943 г. в д. Буда-Люшевская Буда-Кошелевского района Гомельской области. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета. Поэт, прозаик, переводчик. Автор свыше 30 книг для детей и взрослых. Лауреат Литературных премий имени Я. Мавра, В. Витки и Премии федерации профсоюзов Беларуси. Живет в Минске.

АТРУШКЕВИЧ Александр Михайлович. Родился в 1948 г. в Гомеле. Окончил химико-биологический факультет Гомельского государственного университета. Автор книг «Дорожками старого парка», «Четыре времени трудов», «Роза Азора», «Зори ветра». Живет в Гомеле.

ДОРОШКО Дарья (Татьяна Леонидовна). Родилась в 1977 г. в Гомеле. Окончила Гомельское медицинское училище, филологический факультет Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. Печаталась в коллективных сборниках «Ветвь», «И я живое слово запишу…», «Настрой», «Святло шчымлівай памяці», «Шматгалоссе Палесся», «AURORABOREALIS», в периодических изданиях. Живет в Гомеле.

МОСКАЛЕВ Виталий Иванович. Родился в 1979 г. в Полоцке. Окончил Полоцкий государственный университет. Поэт, прозаик. Печатался в местных и республиканских СМИ, в сборнике «Новая волна» (Санкт-Петербург), а также в нескольких коллективных сборниках полоцких поэтов и прозаиков. Живет в Полоцке.

КРИВИЧАНКА Наталья (Кривец Наталья Александровна). Родилась в 1959 г. в г. Глубокое Витебской области. Окончила Минский государственный педагогический институт им. А. М. Горького. В «Нёмане» публикуется впервые. Живет в Молодечно.

КОЖЕДУБ Алесь (Александр Константинович). Родился в 1952 г. в г. Ганцевичи Брестской области. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета, Высшие литературные курсы в Москве. Автор книг прозы «Гарадок», «Размова», «Лесавік», «Дарога на замчышча» и других. С 1990 года живет в Москве.

ШАШКОВА Любовь Константиновна. Родилась в 1951 г. в д. Василевка Паричского района Гомельской области. Окончила филологический факультет Казахского государственного университета. Автор книг «Пора подсолнухов», «Ты есть я», «Диалоги с надеждой», «Из трех книг», «Луг золотой», «Хранители огня» и др. Живет в Астане (Казахстан).

ДИМИТРОВА Кристин. Родилась в 1963 г. в Софии. Окончила отделение английской филологии Софийского университета. Поэтесса, прозаик, эссеист. Автор книг поэзии на болгарском языке «Тринадцатое дитя Иакова», «Картина подо льдом», «Скрытые фигуры», сборника рассказов «Любовь и смерть под дикими грушами», а также сборника избранных стихотворений на турецком, греческом и английском языках. Лауреат премии Союза болгарских переводчиков. Живет в Софии (Болгария).

КОТТ Георг Освальд. Родился в 1931 г. в г. Зальцгиттер. Изучал диетологию и германистику. Член Союза немецких писателей и ПЕН-центра Германии. Автор 22 книг рассказов, сатир и стихотворений. Живет в Брауншвейге (Германия).